Рассказ



Рассказ 81

Рассказ

81

«Современник», Москва, 1982

Р2
Р24

Составитель Юрий Галкин

Р24 Рассказ-81/Вступит. статья Ю. Галкина. — М.: Современник, 1982.— 302 с.

В сборник включены рассказы русских советских писателей, опубликованные в периодике Российской Федерации в минувшем году.

Р $\frac{4702010200-194}{М106(03)-82}$ 51—82

ББК84Р7
Р2

Юрий Галкин

РАССКАЗЫ И АВТОРЫ

1

Когда читаешь рассказы от случая к случаю — в газете ли, в журнале,— то иной раз ловишь себя на мысли, что многие из них оставляют впечатление нечаянного, необязательного эпизода, картинки, негаданной встречи, мимолетного разговора, пусть даже и занятного, но который тебя ни к чему не обяжет, хотя может досадить пустотой, скукой, как старый анекдот. И когда дочитываешь такой рассказ, то уже знаешь, что не оглянешься ему вслед, не задумаешься, не вспомнишь. «Жизнь брала свое...» — с несокрушимой прямотой и завидной непосредственностью подводит черту автор. Так чего уж тут оглядываться, над чем задумываться, что вспоминать?

А бывает даже, что не всякое художественное сочинение удается дочитать до конца по причине препятствий, которые на твоем, читательском, пути громоздит автор. «В суете набросил на джинсовый костюм дерматиновую куртку...» Через такие «колючие заграждения» по доброй воле продираться очень трудно, потому что ведь это не только признак беллетристической глухоты — и тем более не какой-то тонкий художественный расчет,— это прежде всего уровень мысли, на котором работает автор и который невозможно упрятать ни в словесную цветистость, ни в «живопись».

Видимо, уроков Достоевского и Чехова, так отчетливо показавшего пошлость, которая проникает в нашу обыденную жизнь, было бы достаточно для литераторов, для их ремесла, если бы дело сводилось только к словесному строю. Но ведь лживые, пустые фразы романа Веры Иосифовны Туркиной, который начинался так: «Мороз крепчал...»,— это просто другая сторона пустой, лживой мысли, лживого представления о действительности; это — представление о литературе как о личном, приятном занятии. И когда читаешь многие произведения нашей текущей литературы, то кажется, что некоторые из них написаны быстрой рукой незабвенной Веры Иосифовны: «Шторм крепчал...», «Жизнь брала свое...» Или так: «Квартира отозвалась на звонок дальним, едва, казалось, теплившимся в космосе ее неизвестности присутствием жизни — серебряный прут звонка вошел в живую плоть, отозвавшуюся мышечной судорогой: там, за вытершимся дер-

матином, произошло какое-то мгновенное движение, шорох, почти неразличимый слухом, как послышавшийся, но вдруг усилился многократно, оказался у самой двери, сделался дыханием ли, шарканьем ли подошв, скрипом ли половиц,— и замок щелкнул с легким певучим присвистом...»

Вот такая «художественность» и есть тот литературный ширпотреб, по поводу которого мы нередко говорим и размахиваем руками. Он обладает всеми внешними признаками литературы и подчас небезуспешно копирует творческую манеру того же Достоевского или, скажем, Чехова,— то есть ширпотреб этот похож на подлинную литературу: те же слова, те же знаки препинания,— но эта похожесть такая же, как похожесть трупа на живое тело.

Известно, что читатель учится скорее, чем писатель. И если бы не его извечная доверчивость к книге, которая у читателя воспитывается русской классикой, все было бы не так и страшно. К тому же предполагается, что на страже интересов читателя стоит критика. Да, серьезная критика с успехом выполняет свою роль в формировании и воспитании читательского вкуса. Однако текущая наша критика, особенно ее «малый», так сказать, газетно-рецензионный жанр, далеко не всегда может похвалиться строгостью и принципиальностью в оценках художественных сочинений, и это тоже очень хорошо известно. Стало быть, такая критика и сама только отчасти, только внешне похожа на критику. И по отношению к читателю она не выполняет тех своих гражданских обязанностей, которые на нее возлагаются. Более того, случается, что она даже как бы организует те «щели», через которые начинает поступать к читателю литературный брак.

Вот на заводах существуют отделы технического контроля. Они оберегают интересы людей и государства от явного и скрытого брака. Нетрудно представить, что произошло бы, если бы эти отделы технического контроля работали так, как вышеназванная *текущая* критика.

А ведь, казалось бы, тут и проблемы-то никакой нет. Вот, например, критик В. Шапошников в «Сибирских огнях» (1981, № 6) весьма убедительно доказывает художественную несостоятельность некоторых сочинений А. Кривоносова и А. Курчаткина, спокойно указывает на элементы вторичности в отдельных произведениях В. Тендрякова и Д. Гранина. Однако это отнюдь не перечеркивает все творчество упомянутых писателей и не мешает им писать, а соответствующим журналам и издательствам печатать их сочинения. Подобная критическая откровенность помогает всем: читателю — разобраться в литературе, писателям — совершенствоваться в своей работе и пытаться не повторять общеизвестное, уже бывшее в употреблении. Казалось бы, для всех одно благо. Но беда в том, что статья В. Шапошникова и выступление И. Дедкова «Когда рассеялся лирический

туман», напечатанное в «Литературном обозрении» (1981, № 8), едва ли не единственные «нелицеприятные» критические работы, появившиеся в журнальной периодике, хотя многие критики дружно сетуют на то, что комплиментарность — «болевая точка» сегодняшней критики. Значит, мы продолжаем мириться с тем, что «жизнь берет свое». А неужто с этим так и нельзя ничего поделать?

2

Когда читаешь рассказы в периодических изданиях в рабочем порядке — с целью выбора для ежегодного сборника,— то приходится преодолевать в себе соблазн пристрастного отношения к популярному имени, потому что популярное имя не всегда оправдывает возлагаемые на него надежды. Другими словами, популярное имя не всегда работает на уровне своих лучших сочинений. Но вот хоть и знаешь это, да великое дело — надежда, и когда берешь в руки номер журнала, то первым делом смотришь: кто и что? Ага, думаешь, вот оно! И прежде всего открываешь, конечно, на популярном имени, пропуская имена незнакомые: это, мол, потом, после...

Популярное имя упрощает читательско-критическую работу, оно как знамя, под которое ты, слабый, торопишься поскорее встать. И потому всякое сопротивление такому популярному имени или прочно сложившейся репутации кажется нелепостью, чудачеством или гордыней, вроде той, которой объяснялось некогда отношение Толстого к драмам Шекспира.

Но если популярное имя не гарантирует хорошего рассказа, то весьма успешно может такие рассказы заслонить в глазах критики и читателя. Мы должны быть готовыми к тому, что у иных наших популярных имен давно сложился известный стереотип художественного мышления, ограничивающий свободу поиска, искренность чувства, однако избавиться от которого порой они уже не в силах. Хотя, с другой стороны, это вовсе еще не означает, что новое имя непременно гарантирует хороший рассказ. Просто у необкатанного на литературных перекатах имени больше возможности для выбора собственной интонации, здесь чаще встретишь свежую мысль, душевную раскрепощенность. И это вполне естественно, ибо сочиняют не седины, а разум, как справедливо заметил несколько веков назад Мигель де Сервантес Сааведра.

Хороший рассказ, хорошая проза... Какое это сложное, если подумать, понятие. Есть, разумеется, безукоризненные художественные образцы, но ведь и они не могут быть эталонами на все времена, этакими художественными аршинами. Такие художественные произведения являются как бы ступенями в общем культурном и художественном развитии человечества. Вот почему понятие «хорошей литературы» связывается прежде всего с коренными вопросами человече-

ского бытия, с изображением реального положения современной личности в конкретной социальной обстановке.

Хороший рассказ... Как его высмотреть, определить в этих сотнях ежегодно печатающихся рассказов? Почти все они о современной жизни, о современном человеке. Действительность предлагает писателю массу «живого материала», массу информации, массу всякого рода впечатлений.

Из всего этого богатства писатель-рассказчик выбирает только то, что совпадает с его личными пристрастиями, что удается ему постигнуть в меру своего таланта, интеллектуального развития, что соответствует его личному опыту и желанному образу жизни. И произведение, явившееся результатом такого выбора, пусть и стихийного выбора, будет особо близко и понятно тому кругу читателей, духовный настрой которых, реалии их бытия, надежды и устремления тоже счастливо совпадают с образом созданной автором действительности. Когда же еще и текущая критика поддержит такое согласие, то может показаться, что это и есть то самое хорошее произведение.

Но, повнимательнее приглядевшись, нетрудно заметить, что говорить тут о всей критике нельзя, что речь ведут лишь те критики, направление мысли которых «положительно совпало» с понятиями автора о действительности. Другие же критические перья в этом случае могут и бездействовать; они ждут своего часа и совсем уже по другому поводу заявляют, например, что-нибудь в таком роде: «Пожалуй, никто в современной советской прозе не продвинулся дальше (такого-то имярек) в познании глубинных душевных движений в частной жизни «обыкновенного» человека...» А кому-то, третьему, может показаться даже, что такого вообще нет и быть не может — «частной жизни «обыкновенного» человека», что все это, мол, от лукавого. Однако ведь и не докажешь, как дважды два, что нет никакой такой особой частной жизни. Ты говоришь: нет, а он говорит: есть частная жизнь, видел, знаю, знаю по себе, по своим знакомым, вот Иван Иванович — «обыкновенный» человек, и сыну его пятнадцать лет...

Короче говоря, критические положительные совпадения никак не объяснить только совпадениями художественного вкуса. В основе таких совпадений — если они искренни и глубоки — лежат и совсем иные представления — социальные, политические и многие другие, мало заметные неискушенному читателю. Эти представления налагают на художественную и критическую мысль обязательства, с которыми нельзя не считаться в рассуждениях о том или ином произведении.

3

Когда читаешь рассказы в наших периодических изданиях, то вскоре замечаешь, что вся масса беллетристики распределяется,

образуя некие группы, «созвездия». Рассказы определенного толка как бы тяготеют одни к другим и создают свой образ современной человеческой жизни. Удивительно, как же велика, как многообразна наша действительность!

Эти образы — ни в коем случае не деревенский или городской уклад жизни героев, не поселковое или дачно-курортное жизнеподобие. Конечно, место действия — не пустая формальность, но не оно определяет смысл того образа действительности, какой создают группы подобных рассказов. Этот смысл определяется чем-то более важным, заключающимся в самой личности автора, в природе его сознания.

И вот из одних рассказов складывается образ некой «частной жизни «обыкновенного» человека», которая может свершаться и в Сибири, и на Крымском побережье, и в нечерноземной деревне. И при всей географической разнице смысл такой «действительности» ограничивается частными интересами «обыкновенных» частных лиц. Эти лица тоже могут быть самыми разными, но главным, как бы ведущим здесь является ласковый и воспитанный обитатель, любитель природы и любитель животных, обитатель, который умеет — и с удовольствием этому предается — усиленно рефлексировать по поводу нравственности и выяснения собственных достоинств и недостатков на фоне «окружающей среды».

В других публикациях воссоздан образ такой действительности, которую обживает и завоевывает агрессивное и деловое потребительство, как откровенно наивное, так и стеснительно-интеллектуальное, как бы вынужденное. Этот образ действительности пропитан запахами кофе и сигарет с фильтром, лосьонов и шампуней, проникнут претензиями на духовность; здесь обитатели умеют все объяснить, оправдать, доказать, умеют себя возвести в число, в закон. Изображения такой действительности жизнеподобны и содержат в себе и свои нравственные проблемы, адресованные как бы неизвестно кому. Когда читаешь такой рассказ, то представляется медуза в море: она живет в нем, она и сама как море, она — его часть, но часть, ставшая противоположностью целому. Когда медузы сбиваются в колонии и обживают какую-нибудь удобную и теплую бухточку, то эта бухточка кажется уже не малой и зависимой частью моря, а особым владением, засадой, из которой невинная медуза ведет свое наступление.

Рассказы другого «созвездия» лепят образ действительности страдательной, уязвленной, образ уродливого человеческого существования, где все указывает на зависимость слабого человека от произвола неких высших враждебных сил и стихий. И проницательные авторы совокупно с простоватыми, но себе на уме героями намекают на эти несовершенства бытия так, словно неподалеку есть ведомство, где эти тонкие намеки разбирают, переводят на прямой чело-

веческий язык и, восхищаясь литературной сноровкой авторов, кладут резолюции: виновных наказать, ошибки устранить...

Однако есть немало свидетельств тому, что современного читателя уже не удовлетворяет простая констатация «негативного явления» в нашей действительности. Ведь с человеком, который так видит и так думает, о многом не поговоришь. Он будет распространяться о несовершенстве быта, упирать на недочеты в сельском хозяйстве, поражать какой-либо иной сногсшибательной информацией негативного плана. Но читателю видится во всем этом ограниченное литературное дарование автора либо ораторский прием — и больше ничего. Ведь впечатление мнимой безнадежности способно пробудить только апатию и цинизм, сделать человека одиноким и слабым. Да, все это мне хорошо известно,— может сказать современный читатель,— а есть ли у вас за душой что-нибудь посущественней, кроме «тонких намеков» и будничной мякины?

Вот такой современный советский человек, гражданин и патриот, личность, не желающая мельчать ни под каким благовидным предлогом,— не отвлеченное предположение. Я отчетливо увидел его в некоторых рассказах 1981 года.

Они тоже составили свое «созвездие», свой образ действительности, который убедительностью своей не уступает другим, а скорее даже превосходит. Здесь существенная разница в том, что эта действительность активно преображается людьми, они созидают, строят сознательно и упорно, строят несмотря ни на что, строят не за счет кого-то, более простоватого или доверчивого, а сами, своими силами.

Нет, я не могу сказать, что именно такой человек и есть Мишка Дерюгин из рассказа «Таинственное существо» В. Куропатова. Или шофер Семен Иванович Журавлев из рассказа В. Маковецкого «Недалеко от Эльтигена», на которого его же дружок слесарь Комаха смотрит «с грустью пополам с насмешкой». Или — тем более! — пятилетний мальчишка Вася, который уходит в садик под аккомпанемент по-утреннему вялой еще ругани родителей (рассказ «Заступник» А. Малышева). Нет, по частностям, по разрозненным деталям это все обычно для реалистической беллетристики. Но вот когда ученик ПТУ Мишка Дерюгин, у которого в памяти не задерживаются слова «ротор» и «индукция», но который сам мастерит моторы и индукционные катушки — да и все, что задумает,— вот когда этот Мишка Дерюгин, отстающий ученик, оказывается в духовном согласии с учителем, то это согласие позволяет учителю увидеть в Мишкином «таинственном существе» нечто большее, чем «ротор» и «статор». Тут явственно обозначается историческая преемственность, не прерывающаяся с тех давних времен, когда еще не было ни институтов, «ни даже профтехучилищ, готовящих архитекторов не было. А храм Василия Блаженного и множество других храмов есть».

Кто их строил? «Кто они были, эти Постники и Бармы?» — думает учитель, глядя на своего ученика Мишку, и решает, что он «сродни им, из того же разряда».

Таинство творческой души Мишки Дерюгина соединяется с прозорливостью и возвышенной мыслью учителя, и образуется некое художественное единство, одухотворенное незримым присутствием и третьего — автора. В рассказе, который ведется от лица учителя, об авторе забываешь, но ведь забываешь о нем только потому, что текст очень точен и материален, он — естественное дыхание героя. Хорошо известно из истории русской литературы, что и на такого героя, ведущего рассказ, автор может смотреть сверху или снизу, может увидеть его в минуту унижения или подсмотреть в минуту праздника — пьяненьким, разговорчивым, а потом поехать дальше по своим делам. Здесь автор духовно, а не только по гуманистическим соображениям «совпадает» с Мишкой Дерюгиным и его учителем электротехники, он стоит как бы между учителем и учеником, он их вывел к нам, показал: вот они какие. А когда они пойдут дальше, то очень скоро потеряются среди таких же, как все мы, людей. Вот почему и слово в рассказе так просто и естественно — оно служит своему прямому назначению и выражает самое существенное в поведении человека — повседневное жизнетворчество. Вот как оканчивается рассказ:

«Когда Мишка закончил училище, мы с ним частенько встречались в городе.

— Здравствуйте,— скажет и смутится.

— Здравствуй. Ну, как твои дела?

— Нормально,— ответит просто, с достоинством, и я не сомневаюсь, что у него действительно все в жизни хорошо, нормально.

— Ну, будь здоров,— улыбнусь я ему.

Мишка, тоже улыбнувшись, кивнет и смутится еще больше».

Все очень просто. Но эта простота и нормальность обычной жизни образовалась воодушевлением и мудростью человека, и образовалась из очень сложного, противоречивого и «низкого» материала обыденной современной действительности. Заметим, действительности не умозрительной, не отвлеченной, нарочито гипертрофированной для целей искусства, но реальности — обязательной для большинства, как обязательны для всех законы природы. Простота человеческого поведения в условиях такой действительности возможна только при духовном согласии, при духовном родстве всех «действующих лиц», включая и автора, исподволь формирующего и точно направляющего заряд созидательной энергии на сердце и разум читателя.

Но скажем: не слишком ли велик груз для слабых Мишкиных плеч? Много ли он успел построить? Да и основательны ли надеж-

ды на то, что он не окажется заурядным пленником каких-нибудь «объективных обстоятельств»?

Конечно, случиться может всякое. Может даже случиться так, что Мишка, в памяти которого сейчас не держится слово «ротор», при усердных занятиях и диссертацию сумеет составить, в каком-нибудь научно-исследовательском институте будет карандаш катать и при этом уже не смутится, встретив своего постаревшего учителя электротехники. С человеком, когда он оказывается одиноким, все можно сделать, как с глиной. Его можно сделать и жалким просителем, тонко рассчитывающим (с помощью автора, разумеется) производимое гуманистическое впечатление; его можно сделать ироничным пассажиром, нетерпеливо ожидающим удобного скорого поезда в свое комфортабельное будущее; из него можно сделать и больное существо, потерявшее всякую надежду на спасительную помощь; да мало ли чего можно вылепить из безвольной глины! Беллетристике привычнее такие герои, с которыми безобидно можно играть в любые литературные игры, герои, которых автор может эксплуатировать по своему усмотрению, наряжать в любые одежды, а сам при этом оставаться в сторонке, обретя все выгоды такой позиции.

Но Мишка Дерюгин попал в другие руки. Он оказался в той компании, где авторы не оставляют своих героев без защиты и помощи. Я не могу сказать, что В. Куропатов или В. Маковецкий, рассказавший о шофере Журавлеве, не видят в окружающей их многообразной действительности самодовольно располагающегося жулика или хама; не замечают того, как тяжело утверждается справедливость,— все это они знают, конечно, потому что об этом труднее не знать, чем знать. Думается, что эти писатели знают не только то, как не надо жить Мишке Дерюгину и Семену Ивановичу Журавлеву, но и как *надо*. Во всяком случае, я не могу не увидеть, что к своим героям они относятся точно так, как желали бы, чтобы к ним относились. Может быть, это и есть то нравственное условие духовного и социального согласия, в котором растет Мишка Дерюгин, ученик ПТУ? Это духовное согласие предполагает совершенно определенный путь его судьбы и развития личности. Путь, на котором могут быть ответы на извечные вопросы человеческого бытия: ради чего я родился? на какое общее с людьми дело?

Такие вопросы человеку в одиночку не решить. Он надеется на помощь, оглядываясь в этой надежде вокруг себя. Он и растет именно с этой надеждой. Он преодолевает самые тяжкие лишения. И, пока душа его согревается этой надеждой, человек прекрасен, и он сам — надежда для других, надежное звено в человеческой родословной.

Подобную уверенность порождает не только «таинственное существо», Мишка Дерюгин, но и герои, живущие в рассказах С. Гри-

банова, А. Астраханцева и других авторов сборника... Это разные жители, совершенно непохожие, по-разному защищают они свою надежду от «объективных обстоятельств»: одни — доверчиво и простодушно, другие — мужеством и знанием, третьи — иронией, хотя это самая слабая из всех защит... Да и литературные «дома» их построены с большим и всегда самостоятельным разнообразием. И если я говорил здесь в основном о Мишке Дерюгине, так это не потому, что он лучше других или что «дом» его построен В. Куропатовым покрепче, но только потому, что в этом Мишке наиболее отчетливо, как мне кажется, выразилось благотворное для всех нас духовное согласие. И потому не случайным представляется мне упоминание в конце рассказа о достоинстве, с которым живет теперь Мишка Дерюгин. Откуда оно взялось у него? Кто увидел его достоинство? Кто обрадовался ему? Конечно, дело тут не обошлось без автора. И вот теперь достоинство — главный и ведущий признак его личности, воплотившей в себе и серьезную, высокую мысль учителя, и добрую, незаметную заботу автора.

А такая личность, пришедшая в литературу из действительности, подразумевает и соответствующее к себе отношение. Это такой человек, с которым надо считаться всерьез, на деле.

Мне нравятся такие люди.

Мне нравятся рассказы, в которых такие люди живут.

Александр Астраханцев

РАСКАЯНИЕ*

1

Что было, то было — проворовался мужик. Но ведь ты же знаешь, я не только воровал, я еще и работал, и не каким-нибудь кладовщиком или сторожем — начальником участка. Оклад — двести сорок, несколько бригад в подчинении, мастера, прорабы, автотранспорт, краны — в общем, хозяйство большое, и обслуживал я своим участком изрядный куст районов в крае, монтировал стальные конструкции. Территория куста, может, с Королевство Бельгию наберется, и в этом королевстве я вел с десяток строек сразу, и не маленьких, а все объекты первостепенной важности: горнорудная, лесная промышленность, цветная металлургия — из тех, которыми оттуда, с самого верху, интересуются, про которые на первых полосах газет пишут. Организация субподрядная, узкоспециализированная, поэтому, понятно, не все целиком объекты возводил, а только то, что из железяк: стальные каркасы и покрытия, мостовые краны и эстакады. Десять тысяч тонн конструкций в год поставь и начальнику монтажного управления два миллиона рублей выполнения отдай, положи на стол. Но ты попробуй эти миллионы здесь, в большом городе, добудь, где и склады, и заготовительные цеха под боком, и любой сортамент стали худо-бедно, но достать можно, и автомобильный и крановый парк на ходу,— и то, я тебе скажу, эти миллионы легко не достаются. А на периферии, где каждая мелочь, каждая задача вырастает в проблему номер один, и этих проблем на дню по полсотни: то вагоны с конструкциями где-то застряли, то конструкции пришли, а болты или прокладки отправить забыли, то краны встали — запчастей или тросов нет, то дороги развезло, тягачи вязнут, то рабочим моим получку не подвезли — сидят, ждут, то, наоборот, получку привезли... Да что я тебе говорю — ты ж сам знаешь, что такое периферия!

Но ведь и нам были не чужды благие порывы. Плевали на здоровье, на молодость, на то, что энергия, которую мы тратили,

---

не эквивалентна тем деньгам, которые мы получали,— раз надо, значит, надо!

Помнишь тот зачуханный городишко, забытый богом, пока там не нашли молибденит и не начали строить молибденовый комбинат? Помнишь ту грязь? Я, например, больше всего ее помню. Кажется, что она со всего света стеклась в распадок, где притаился этот городишко, этот последний, наверное, оплот тихой, спокойной, прямо-таки сельской жизни. Жили они на этой грязи, на этой глине и на этом черноземе безмятежно, дома на ней стояли, клевер, ромашки на улицах, коровы мычат, бараны блеют, петухи поют; и вот мы пришли и разрушили эту идиллию, это равновесие, подняли дыбом и глину, и чернозем, превратили в грязь, и она поплыла. Ужас как она заливала стройку! Вечером очистят ее ребята, разгребут фундаменты, оси разметят, чтоб с утра начать колонны монтировать, а утром придут — опять затянуло! Что она там по улицам текла такая, что я не раз поверх голенищ черпал,— это ладно, это где угодно найти можно, но чтобы она в столовую через порог текла и лежала там двадцатисантиметровым слоем, в клубе, в общежитиях, в гостинице,— этого я, пожалуй, нигде больше не видал. Сколько щебня в ту грязь ухнули — полгоры, считай, той, что снесли, пока до молибденитовой жилы добрались,— так этот щебень тонул, как в океан, а она поверху течет, жирная, черная и бездонная. Помню еще, спорили с кем-то, что там не молибден добывать надо, а этот чернозем, что тем черноземом можно половину Средней Азии засыпать, что он когда-нибудь станет ценнее всех этих ценных нынче металлов.

Так вот там, в том городишке, мои семеро ребят три года ковырялись, по три фермы в год ставили, когда они способны по две в день ставить; эти проклятые фермы по частям, по детальκам завозили — бездорожье — и так уж медленно, что, кажется, авиапосылками можно бы быстрей. Стали мне эти ребята, помню, в копеечку, сплошные убытки, и забрать нельзя — генподрядчик сразу вопль чуть не до Москвы поднимает.

Ну а когда асфальтовую дорогу пробили — началось! Помнишь? Оказалось вдруг, что все сроки прошли и что молибден этот позарез нужен. Там молибдена-то! Весь месячный продукт этого комбината, концентрат, можно на одном самолете вывезти, но — нужен!

Вот были денечки! То мастер у меня здесь один безвылазно сидел, а тут я весь свой участок сюда привез. Команда такая! Со всех трестов людей понавезли, сами управляющие приехали. Начальник главка на спецвертолете прилетел, замминистра привез. Замминистра, седенький такой старичок в очках, интеллигентный, шустрый, грамотный, так он — за начальника стройки,

начальник главка — за прораба, управляющие трестами — те за мастеров, а мы, мелкая сошка, вообще за шестерок, за мальчиков на побегушках. Административный корпус тогда еще не был готов, так штаб стройки прямо посреди главного цеха расположили. Поставили столы, телефоны, тут же и заседают, и команды дают, тут же проекты меняют — привезли группу проектировщиков, посадили рядом. И вот каждый день, с утра до ночи, и ни суббот, ни воскресений. Люди с ног валятся, а тебе командуют: давай делай, давай жми, давай людей поднимай!

Иногда, да и не иногда, честно-то говоря, приходилось самому становиться на рабочее место; день носишься и за себя, и за снабженца, и за диспетчера, а вечером отправишь очередное звено отдыхать, соберешь наличных мастеров и прорабов — и вира-майна! И управляющий мой тут же — тоже пытается подсобничать! Скажешь ему вгорячах: «Да идите вы, Иван Захарович, отдыхайте, сами все сделаем!» А он: «Нет, ребятки, куда ж я пойду, если все кругом работают?» И действительно, куда ж пойдет, если сам замминистра тут, все задания самолично проверяет? Начальник главка не выдержит, шепнет кому-нибудь из управляющих, кто побойчей: «Уведите вы куда-нибудь этого старикана! Дайте ему отдохнуть — я с ним ничего сделать не могу!»

Но и объекты действительно росли как грибы — на глазах. Даже не за сутки — нет, утром идешь — пустое место, люди в земле копаются, а после обеда уже стоит! Многоэтажные корпуса за неделю строились! И у меня работы было хоть отбавляй — чтоб ускорить, весь железобетон на сталь меняли. Моего участка мало оказалось, еще два участка перебросили. За те три месяца, я тебе скажу, сделали больше, чем за три года до этого.

Все похудели, осунулись, щетиной обросли. Сначала-то была осень со слякотью и дождями, а потом как завернула зима, да такая злющая — под минус сорок сразу! Но ничего, люди держались. Это было черт знает что, сплошной порыв энтузиазма: когда дело сплачивает людей в одно целое, когда ничего не жаль ради этого дела, ни с чем не считаешься, себя забываешь, становишься какой-то частичкой урагана. Тогда ты можешь по двадцать часов быть на ногах, забывать об усталости, о том, как и где ты спишь и ешь, о том, что где-то у тебя семья. И — ты веришь?— самый последний работяга проникается насквозь этим самым состоянием.

В такой спешке, конечно, не без анекдотов обходилось. Сделали фундамент под печь, глянули геодезисты в свои окуляры: бог мой, неправильно поставили, надо двигать! А в фундаменте — тысяча двести тонн. Ничего, приволокли быстренько домкраты, каждый усилием по четыреста тонн, вкопали анкера, уперлись,

подвинули. Опять глянули геодезисты, говорят: неправильно, обратно надо! Давай обратно двигать.

Для меня, знаешь, этот молибден остался символом энтузиазма и молодости, и, верю, у каждого, кто там был, осталось то же самое. Потом-то у меня были еще молибдены, но другого такого уже не было.

У стариков наших, конечно, опыт, закалка есть, сумели они нагнести атмосферу напряженности, а сами потихонечку исчезли: того вызвали, у другого дела в другом месте, третий прихворнул. И замминистра однажды уехал, и начальник главка, и наши управляющие — за ними, а мы остались, и атмосфера осталась. Потом как-то освоились, дружней работать стали. Успевали и работать и про себя не забывали: надо ведь и жить, организм своего требует.

Помнишь ресторан? Низ каменный, а верх деревянный, рубленый. Резные наличники, резные карнизы — весь как в кружевах. Самое красивое здание во всем городишке. Причем, говорили, еще во времена царя Гороха в нем было самое почтенное заведение города — трактир. Как он гордо стоял среди этих вросших в землю кряжистых домишек! А домишки-то! Черные, будто не из бревен срублены, а из чугунных или бронзовых отливок. Но и они казались мне чуть не теремами по сравнению с нашими бараками — помнишь их? Сейчас-то, говорят, там тоже панельных домов настроили, тополей понавтыкали, асфальт положили — в общем, стал город как город, серый, стандартный.

Вот тебя я в том ресторане не помню,— может, просто у тебя другая компания была или ты моложе, поэтому другие интересы были? Те, кто помоложе, хоть иногда, но вырывались в клуб — кино там, танцы, самодеятельность, а тем, кто постарше, куда деваться? В ресторан. Вырвешься раз в неделю, не чтоб напиться — нет!— а расслабиться как-то, отряхнуться от ежедневного разнообразия, встретиться с себе подобными, потолковать «за жизнь» в непринужденной обстановке, где чисто и светло и есть какое-то подобие уюта. Строители там собирались, геологи, летчики постоянно застревали — не из тех, что чистенькими, в белых воротничках щеголяют, а те, что рядом с нами трудились на вертолетах и «кукурузниках». Ребята там в оркестре играли прилично, молодые, современные, из самодеятельности, то есть не халтура, а от души, для своих же; один мой паренек с участка тоже там вечерами дул в трубу.

И если уж веселились в том ресторане, то широко, разудало, как в больших городах не умеют. Особенно помню последний вечер. В тот день — застал ты его или нет? — заказчик первый цех принял в эксплуатацию, днем — митинг, потом — формальные дела с документацией. Я на следующий день улетал — многие

строители еще оставались, а мои дела уже заканчивались, у меня новый молибден начинался, в другом месте, и мне надо было большую часть своего участка перебазировать. Короче, весь в хлопотах был. Забежал в ресторан часов в девять вечера попрощаться с друзьями — уже и жаль было расставаться с этим местом, где оставил маленькую часть своей жизни,— а там уже все гудит, дым коромыслом, теснотища, кругом знакомые: «Привет! Привет!» Все уже захорошели, рьяные в пляс рвутся, пляшут кто во что горазд — кто шейк, кто русскую, кто «Катюшу» запевает, мне-то все это в глаза бросается, я как стеклышко. Возле оркестра, где танцуют,— толкучка: парни — гром и молния, девицы — оторви и брось. Музыканты тоже разошлись вовсю: гитары гудят, электроорган аж визжит, саксофон квакает, барабан только что слов не выговаривает, сами покрикивают что-то, подгоняют ритм, поддают жару. А окончился тот вечер всеобщей песней, прямо по-домашнему, грянули всем рестораном «Стеньку Разина»; тут уж все компании перемешались, кто был в одной — оказался в другой, столы сдвинуты, тут и официантки, и повара поют...

Я тогда, помню, с Лилей пришел — у меня геодезистка была, недавно из техникума, симпатичная девушка,— я за ней присматривал, а то ведь мужики там на женщин, как голодная стая, глядели — хвостами виляют, а сами клыки облизывают. Может быть, она мою опеку за что-то иное принимала; может, ей просто приятно было с таким самостоятельным человеком, каким, возможно, я ей казался, а мне тогда, по молодости, жуткое удовольствие доставляла эта самая самостоятельность, сила и власть над людьми. Но я-то знаю, что к той девчонке относился как старший брат — ревниво, но чисто, к тому же чувствовал ответственность за нее: ведь ее прислали мне как молодого специалиста, доверили чуть ли не под расписку. Я бы мог воспользоваться, подкатить к ней, но — боже упаси, меня дома жена ждала. Я к тому это, что ведь не злодеями, не циниками мы были, что и нам не чужды были чистые порывы — честности, чести, благородства...

А Арсланова помнишь? Черный такой, напористый кавказец, тоже начальником участка там работал, только в «Электромонтаже». Мы с ним еще раньше знакомы были, а тут, на молибдене, близко сошлись. Мне нравилась в нем этакая, знаешь, смесь чисто восточного мужского рыцарства — тебе, его товарищу, нужны деньги? На! И, ни секунды не медля, вынет из кармана все до копья и силком всучит в руки. Тебя кто-то обидел? Что ж ты молчишь? Пойдем сейчас, говорить будем, морды бить будем!— так вот, смесь, говорю, восточного мужского рыцарства с чисто современной, я бы сказал, любовью ко всему неустойчивому,

беспокойному, кратковременному, будь то быт, отношения меж людьми, музыка или вкусы. С чисто современной еще, я бы сказал, наглостью и самоуверенностью незнайки, со знанием всего, что знают все, и незнанием всего, чего все, соответственно, не знают. Может, я не так понимаю эту самую современность? Но мне почему-то именно это лезет в глаза.

Так вот, в тот вечер в ресторане я познакомил Арсланова с Лилей, и пока в той кутерьме братался и прощался с друзьями, он ее от меня прекраснейшим образом увел. А утром, уже в нашей гостинице, в этом нашем сборно-разборно-продуваемом бараке, в котором я прожил почти три месяца, когда я уже в самый последний раз, уже по-настоящему прощался к друзьями, потому что через час мне было улетать, я вдруг вспомнил о Лиле, о том, что Арсланов ее увел, и у меня как-то не по-доброму, ревниво защемило сердце в предчувствии, я взял его за грудки, встряхнул и допросил с пристрастием, что он сделал с Лилей,— он признался: «Извини, старик, я с ней переспал». Я на дыбы. «Сволочь ты,— говорю,— пошляк, скотина ты, как ты мог! Ведь она же девчонка!» А он мне: «Я в самом деле пошляк, ударь меня в морду. Но ведь она...» Что он хотел о ней сказать, я так и не знаю,— может, оправдаться хотел, свалить все на нее, хотя это и непохоже на Арсланова, или сказать мне, что я к этому не имею никакого отношения, это их личное дело, но ведь это все не важно, что он хотел сказать, важен факт, а не как его толкуют — толковать, как тебе хочется, нужна только ловкость ума и больше ничего. В общем, я так и не услышал — все загалдели, потому что он и в самом деле стал совать мне свою кучерявую башку, и я в самом деле намерился врезать ему в ухо, и все стали нас растаскивать и уговаривать, что, мол, не стоит из-за таких пустяков — переспал он там или не переспал?— мужчинам ссориться. Арсланов вырвал из записной книжки листик, написал записку и передал мне. Тут как раз пришла машина, чтоб меня увезти в аэропорт, меня проводили, посадили в самолет. Уже в самолете вспомнил про записку, пошарил в кармане, раскрыл и читаю: он, Арсланов, дает мне расписку в том, что должен получить от меня 1 (один) нокаут в челюсть. И роспись.

Вот какие мы шутники были. Я ж говорю, кое-какие законы рыцарства были и нам не чужды. Но и не без юмора все это делалось, не без игры, не без фантазии. Кстати, эта история имела продолжение. Месяца через четыре, наверно, даже нет, больше, короче, следующей весной, уже здесь, в городе. Я только что из всех этих командировок выбрался, зашел с товарищами после работы в ресторан: опять мне надо было уезжать, на этот раз меня на летние военные сборы на два месяца забирали, ну и ребята собрались меня проводить. Посидели, поговорили, выпили

немного и пошли, и тут я заметил: в этом же зале — зал-то большой — Арсланов сидит со своими, похоже, земляками — чернявые все, курчавые парни. Я сказал своим: «Ладно, ребята, идите, я тут еще немного задержусь», и подошел к нему. Обнялись, конечно: «Сколько лет, сколько зим!» Он усаживает меня, знакомит с товарищами, наливает вина. Ну, расспросы, воспоминания: ты где был? А ты где? А помнишь это? А помнишь то? А помнишь молибден? Ха-ха, конечно! Да-а, поработали тогда. Да-а, было, помесили грязи! Потом он начал мне рассказывать, что комбинат уже вовсю работает, что грязи теперь там мало, асфальт везде кладут, панельные дома строят,— он, оказывается, опять недавно оттуда. «Ну все равно,— говорю,— грязи там еще надолго хватит, не верю, что ее можно вот так сразу взять и закрыть. Ну а Лилю,— говорю ему,— помнишь? Расписочка-то твоя у меня цела, вот здесь лежит!» — похлопал я по груди — там у меня, в нагрудном кармане, в записной книжке, в клапане под клеенчатой обложечкой, лежала его расписка. «Помню,— говорит он, спокойно так.— Я долги свои отдаю. Свои долги я привык оплачивать. Пойдем выйдем?» — «Да ладно,— говорю со смехом, в другой раз, а то у меня компания».— «Не-ет,— отвечает он,— слово мужчины должно быть твердым. Другого раза, может, и не будет. Пойдем выйдем».

Он что-то сказал товарищам по-своему, вышли мы на улицу, в сквер напротив. Вечер, помню, ясный, теплый, травка зелененькая, первые листики на деревьях распустились, люди кругом гуляют, а мы, как два петуха, стоим под тополем, покачиваемся — успели-таки набраться — и заводим друг друга. Он говорит: «Ну, пожалста, ударь. Ну, пожалста»,— а я ему: «Нет, ударь сначала ты, для затравки». Он долго думать не любит — хлесть меня, да мимо, так, по вороту, пуговицу только оторвал. Может, рука нетвердая была, а может, действительно для затравки. Ну я тогда врезал ему, он упал. Тут как раз его друзья высыпали — и ко мне, показалось им, что я его убил. Крик подняли, схватили меня, и я не понял: или меня они бить хотят, или в милицию вести. Хорошо, Арсланов оклемался — поднял его один из них. Они спрашивают, где он живет,— я говорю: «Да знаю, сам отвезу его». Арсланов тоже что-то промычал в подтверждение; они нас отпустили. Повез его в такси домой, так он меня, пока ехали, в плечо укусил и все бормотал, что спасибо мне за Лилю и что из нее, пожалуй, еще выйдет хорошая жена. Стал я дома стягивать свитер и рубаху, а плечо-то кровью запеклось. Потом, когда приехал на сборы, военный врач, подполковник, как увидел меня голого, так и давай хохотать, ну просто покатывается со смеху: «Вот,— говорит,— так баба тебе попалась! Вот так разделала тебя!» Я ему объясняю, что никакой бабы не было, это

друг меня, а он хохочет, за живот держится. «Ты мне,— говорит,— сказки не рассказывай, знаем мы этих друзей». А сам сквозь слезы слова договорить не может, так хохочет, что кажется, сейчас вместе со слезами и очки по лицу размажет.

2

Слушай, а к чему я это все рассказываю? Ах, да, к тому, что и нам не чужды были благие порывы, романтика души. Только вот куда они потом деваются? Они слетают с нас, как листья, когда нас немного потрясет жизнь, или как легкая одежда, которая быстро рвется, и остаемся мы голенькими, какие есть, с нашими пороками и с нашими первобытными инстинктами. Они, наши благие порывы, не вросли в нас, не стали нашей кожей, нашими чертами характера, нашими физиономиями. Никто о нас не позаботился, не считая разве нескольких нудных нотаций или тех нескольких хороших книжек, что попались нам в руки в свое время.

Нет, я не о том, будто кто-то виноват, что я стал вором, казнокрадом. Нет, я именно о том, как легко они с нас слетают, эти чистые одежды нашей молодости, юности — той поры, когда мы читали хорошие книжки, в театры ходили, искусством интересовались, спорили обо всем до хрипоты, верили свято в дружбу, в любовь и не просили платы за свой энтузиазм. Как-то, знаешь, даже стеснялись своей положительности, скрывали ее, прятали за показной грубостью и все же старались сохранить. Пусть наивно это все было, но ведь без наивности, без этой святой простоты, поверь, нет света, нет какого-то огня, как если бы мы сразу рождались стариками,— жизнь была бы черной-пречерной дырой, вечным черным небом без звезд, сплошной тягомотиной. Ты заметил, что я говорю «наша молодость», «наша юность»? Потому что, насколько я знаю, у части нынешнего юношества этого ничего нет, исчезло, улетучилось куда-то, теперь их интересуют только деньги, тряпки, вещи, все внешнее, показное, товарное. Конечно, есть и другое юношество, может, я просто не вижу, не знаю его? Дай бог, если я только не вижу, а оно есть. Действительно, оно должно быть, иначе ведь вообще ничего не будет, не будет у них своих молибденов, а будут одни только круглые рубли вместо глаз. У нас-то все это было, у нас этого уже не отнять. Жаль только, что были слабоваты и нас легко затягивала проза быта, что научились считать деньги, жрать вино, сквернословить, что научились быть тупыми, ортодоксальными, жестокими!

Как ты думаешь, отчего это бывает? Мне кажется — устаешь. Нет, не физическая усталость — силы-то есть, а вот что-то в тебе

цепенеет, струны какие-то, что играли в тебе, перестают играть, слабнут, дребезжать начинают. Видно, тот заряд, та культура в нас, те колки, на которые эти струны натянуты, плохо держат, и инструмент расстраивается. И вот начинаешь жить год за годом уже скорей по инерции. Вроде работаешь, и веселишься, и семья у тебя, и друзья — все нормально, но уже без подъема, без энтузиазма, без этой весны в душе. И работаешь уже до отупения, и грешишь до отупения, и семья куда-то по боку.

И тут, скажу тебе, не только одна сторона виновата, мы то есть, но и другая — жизнь, которая нас трет и корежит. Так давай будем и ей предъявлять счета, хотя я-то сам лично не имею права никому ничего предъявлять — мои счета оказались поддельными.

Я понимаю, преступление ничем не оправдать. Хочу только объяснить, почему так легко встал на этот путь. И я ли один? Ну хорошо, те, кто наказан,— им даже легче, а те, кто носит свои маленькие преступления в душе год за годом?

Ты хочешь сказать, я слишком много рассуждаю? Тебе мои рассуждения кажутся банальными? Не торопись, я все это постигал не умом, а хребтом, вымучивал их своими потерями, своим падением. Я — как тот шекспировский шут на авансцене, которому разрешено говорить горькие истины в лоб — ведь он вне игры.

Так вот, я начал издалека, с молибдена, потому, что уже тогда меня разъедала ржа — уже тогда я начинал воровать. Нет, в ресторан ходил я на свои, тогда я воровал только у семьи по элементарному принципу: получку — семье, а уж премии отдай, не греши, премии — мой собственный навар, моя награда за сверхтруды. А то, что брал у государства, я даже воровством не считал,— считал ловкостью, умением вертеться, делать дело для пользы же государства.

У нас, на нашей работе, ты же сам знаешь, надо уметь ловчить и выкручиваться. Недовыполнил план — уговорил заказчика; показал выполнение авансом, перевыполнил — положил в заначку, мало ли что? Перерасходовал зарплату — упросил соседа, если у него экономия, взять немного на себя, с отдачей, конечно, а сам, скажем, взял у него материалы, если у него перерасход,— не бегать же каждый раз к начальству с объяснениями. Начальству-то что — ему чтоб у тебя все гладко было, чтоб у него за тебя голова не болела, иначе ж оно тебя и заклюет. А делать все по законам — лучше сядь и сиди, пока не попросят освободить место, так ведь? А на периферии — там особенно: бригады разбросаны, что ни день — ЧП. Уж, кажется, все предусмотришь — нет, что-нибудь да вылезло, что-нибудь да наперекосяк: то кислород кончился, то электроды, то коленвал полетел, то

трактора не найти, то люди заартачились, то пятое, то десятое. Кому жаловаться-то? Начальнику?

Чтоб он за тебя все это решил? И на что жаловаться? На снабженцев? На генподрядчика? На дороги? На периферию? На жизнь? Вот и крутишься. И по прошествии энного количества лет убеждаешься в конце концов, что лучший двигатель прогресса в тех местах — натура: деньги, водка, коньяк. Или баш на баш: ты мне то, я тебе это.

А у меня прорабом тогда работал ох и жох! Василий Иванович его звали. Мне тогда сколько?— тридцать было, а ему уж за сорок, прошел огни и воды и медные трубы, пробы ставить негде. И под следствием был, и начальником участка раньше работал, да сняли за какие-то проделки, и образования не хватало — из практиков, но дело знал — будьте любезны. И вот он начал капать мне на мозги, учить меня. Во-первых, у него, скажу тебе, была целая, так сказать, философская платформа. Платформа эта укладывалась в один афоризм, он часто любил его повторять: «Героизм состоит в том, чтобы хоть один день прожить честно. Но мы-то не герои!» Во-вторых, у него была четко продуманная практическая программа, и если с платформой его я в общем-то не соглашался, то программа его легко согласовывалась с моими неясными, туманными еще желаниями самому найти способ извлекать какие-нибудь лишние натуральные средства для нужд общего дела. Нет, ты не думай, я не собираюсь перекладывать на него всю ответственность, хоть потом он и оказался настоящим сукиным сыном и у меня есть основания иметь зуб на него,— без моего желания и моего сознательного согласия никто меня в эту аферу не толкал.

Ты знаешь, воровать, оказывается, очень просто. Здесь даже ума много не надо,— здесь просто надо хорошо ориентироваться в обстоятельствах, иметь нахальство и постоянно заглушать остатки совести, если таковая, разумеется, есть в наличии. Работать честно и чего-то добиваться в жизни серьезного — намного труднее. А уж лазейку для воровства найти — это дело десятое, ее всегда найти можно, ту или эту, не важно.

Короче, наша с Василием Ивановичем программа заключалась в следующем: мы максимально использовали разные фонды, которые нам полагались — командировочный, фонд мастера, фонд техники безопасности,— для этого надо только хорошо знать, что тебе полагается, и вовремя побеспокоиться, чтоб тебе их начислили, и максимально экономить фонд зарплаты. А за счет экономии пропускали липовые наряды. Классическая система «мертвых душ»: оформляешь на работу безымянные личности, пишешь на них наряды, получаешь на них зарплату. Зарплату своим рабочим раздавал я сам: брал в подотчет в кассе и

развозил; прораб оформлял «мертвых душ», писал наряды и расписывался в ведомости, так что все было в наших руках. Но я никогда не жадничал — пропускал не более одной «мертвой души» в месяц; это около двухсот рублей чистыми. Сотня уходила на то, чтобы расплачиваться за разные непредвиденные услуги: шоферам, трактористам, на запчасти, за всякие срочные ремонты, на «смазочный материал» — коньяк и водку для «нужных товарищей»; а вторую сотню делили пополам с прорабом и клали в карман — на «непредвиденные расходы». Я-то свои полсотни тоже на дело пускал — брезговал как-то пользоваться сам, а прораб, знаю, забирал себе, и меня, помню, это обстоятельство всегда смущало. Себя-то я оправдывал: вроде для пользы дела преступаю законы: скребло на сердце, но совесть, по крайней мере, очень не мучила; а у прораба было откровенное присвоение казны «в целях личного обогащения» — так, кажется, формулируется такой случай в Уголовном кодексе?— и я был сообщником, и ничего уже не мог поделать: на иное он не соглашался, а деньги были нужны, без них я уже не мог обходиться.

Иногда уходило больше двухсот. Скажем, бригада измотана, а работу надо срочно кончать, вот и дразнишь их наличными: «Понимаю, ребята, тяжело, но надо сделать. Сделаете — деньги на стол». И бросаешь, естественно, сотню «на стол». Или иногда сам начальник управления (а мы с ним довольно дружно жили, ладили; он всего-то года на три старше меня был, но по части втирать очки — мастер) звонит мне, предупреждает: «Приеду в понедельник с людьми, ты уж там организуй чего-нибудь!» Про расходы, естественно, ни слова. Подразумевается, что начальник участка выкрутится — на то он и начальник участка, а не пешка с глазами. Мне-то организовывать эти неофициальные встречи некогда — я делами по горло занят,— поручаю своему прорабу, а он мастер был на всякие такие штуки: шашлык ли приготовить собственноручно, рыбки ли хорошей достать — сам понимаешь, на таких рыбалках рыбу не ловят. Приедет начальство, посмотрит: все нормально, дела идут,— а как это все варится, никому не интересно,— вдохнет между делом экзотики и тем же путем уедет, а нам дальше работать. А потом, смотришь, прораб уже две «мертвых души» вместо одной в нарядах рисует. Махнешь на все рукой, скажешь: «А какого черта?» — да и просадишь сам в сердцах эту сотню.

Вот такие, значит, дела.

Три с лишним года эти дела тянулись, а сотни все мотало и мотало. Это как счетчик в такси: коли уж сел — а стоишь ли, едешь ли — он мотает. Тут у меня еще девка завелась. Родители на Севере деньги заколачивали, а она одна в квартире...

Где-то не доучилась, где-то секретаршей работала, получала

свои скромные девяносто рубликов, но до радостей земных дюже жадная: петь, плясать, пить и есть могла без устали, импортные тряпки покупать и тут же бросать где попало — тоже. Познакомились в ресторане: она в компании, и я в компании, ха-ха-ха да хи-хи-хи, объединились, поехали после ресторана догуливать ночь у нее; обстановка в квартире — с потугой на стандартную роскошь: полировка, ковры, хрусталь; к утру все расползлись; я отшил какого-то слюнтяя и остался; ну и пошло-поехало. Все на родителей шипела: «У-у, старичье противное, скряги несчастные! Сами тыщи зарабатывают, шикарно жить хотят, а мне дак лишней тряпки жалко!» В общем, существо ленивое, завистливое, примитивное — конченое, одним словом, несмотря на совершенную молодость, и вполне, видимо, достойное своих родителей. Меня она не то что прелестями своими купила, хотя и это было, а именно слепым, животным отношением к жизни: хоть день, да наш! Ей-богу, стыдно вспомнить сейчас, в какую грязь я опускался.

Устану от нее, приеду домой, к жене, к детям, думаю: «Все, хватит, отрезал!» Жена догадывается, к себе не подпускает, молчит, будто я пустое место какое. Мне бы покаяться, выплакаться перед ней, выпросить прощения, но не хватает мужества. Дети, конечно: «Папа, папа! Ты что так долго не приезжал?» А жена им: «Папа в командировке был, скоро опять уедет». Прогонять не прогоняла, деньги брала, с детьми разрешала быть, но не более.

А с той распрекрасной девой я распрощался через два месяца. Правда, за эти два месяца она помогла мне еще несколько сотенок раскрутить. Сыт я был ее примитивной жизнью, да и сам я ей надоел тем, что на меня находило иногда задумываться, рассуждать и каяться. Она говорила мне тогда с презрением: «Ты слабонервный». А я и действительно слабонервным становился. Проснешься иногда утречком рядом с ней, посмотришь на нее, сыто сопящую, с открытым ртом, оглядишься кругом, вспомнишь все сразу и возьмешься руками за голову: «Боже, боже мой! Где я! Что со мной? Куда я качусь?» И так все спротивится, и такое нестерпимое желание тут же рвануть без оглядки от своей собственной мерзостной жизни куда-нибудь хоть на Чукотку, хоть на какие-нибудь Новосибирские острова, чтобы ни души вокруг, чтобы только белый чистый снег — и я, новенький, свободный. И только тихонько застонешь оттого, что не можешь, что крепко-накрепко связан ты с этой своей дурацкой жизнью, как тот Гулливер, которого лилипуты привязали тысячью паутинок к земле.

Тут я должен тебе сказать: работу свою я исполнял, как говорится, без балды. Все показатели всегда нормальные, все гра-

фики и приказы выполнены. Тут у меня были такие правила, такой порядок: всякие переживания и нытье оставь при себе — работа прежде всего. Меня, естественно, замечали, доверяли серьезные задания и стали прочить в главные инженеры соседнего управления в тресте — там намечалась передвижка. Я уже настроился, думал: скорей бы уж вырваться из этого порочного круга, на новом месте буду работать по-новому, пахать буду, как вол, честно отрабатывать свои грехи молодости.

И тут-то меня настигло. Может, кому-то дорогу перебежал и этот кто-то начал под меня копать, или уж замечены были мои делишки, или просто пришла пора расплачиваться: рок, судьба — ты знаешь, я стал как-то верить в эти штуки; поневоле поверишь, когда ждешь, ждешь, и вот оно приходит. Короче, назначили приказом проверку состояния моего участка и — конечно же раскопали: нашли в отчетах кое-какие неувязки в списании материалов, но, главное, обнаружили липовые наряды. Передали дело следователю. Следователь попался не дурак — чуял, что липа на голом месте не растет, стал копать глубже и, естественно, вытянул всю ниточку до самого конца. Ну, а когда все обнаружилось, тут уж на нас с прорабом начали вешать все грехи, наши и не наши, по принципу: бей лежачего.

И ты знаешь, прораб мой, пресловутый Василий Иванович, вместо того чтобы как-то помочь мне разобраться с тем, что на нас свалилось, отделить зерна от плевел, истину от поклепа, повел себя прямо-таки по-свински: начал меня же топить, писать всякие заявления, объяснения, валить все на меня: что я, мол, заставлял его писать наряды, расписываться в ведомостях, а деньги все забирал себе, пил, баб имел, махинациями занимался. Это только усугубляло дело: ведь я-то сколько угодно мог бы представить свидетелей, подтвердить, что я платил наличными и за сверхурочную работу своим рабочим, шоферам, трактористам, и за ремонты техники, и за запчасти, тросы, кабели (что делать, если я был ограничен в средствах?). Уж я бы поскреб свою память и все бы до рубля припомнил. Уверен: это облегчило бы и разбирательство, и нашу участь — все прекрасно понимают, что руководителю просто невозможно работать в жестких рамках. Уж я бы покривил душой, скрыл, что он, прохвост такой, больше меня в свой карман тянул.

Я его, конечно, понимаю по-человечески: у страха глаза велики, к тому же был он уже под следствием, трясся за свою шкуру, боялся, что на него много ляжет, боялся, видимо, что я молодой, авторитет имею, выкручусь, друзья помогут, а он останется в дураках, ну и решил, наверное, опередить события. В общем-то принцип известный в преступном мире: воруем вместе, а расплачиваться — каждый за себя. Ну и следователь, я говорю,

не дурак попался — бил именно на то, чтоб расколоть нас по отдельности и заставить клепать друг на друга. Я-то на эту удочку не попался. Но растерялся в таких обстоятельствах, скис, махнул на себя рукой: да, пил, гулял, а теперь давайте вешайте на меня всех собак, наказывайте.

В общем, накрутили нам больше десяти тысяч рублей — и прораб мой никуда не делся, не ушел от наказания — и всунули «за организованное систематическое хищение государственных средств в целях наживы и подкупа, за злоупотребление служебным положением» прорабу три года, мне — пять. Вот и вся, как говорится, любовь...

Но не это было самым тяжким в то время. Срок я воспринял довольно спокойно — уже был готов к этому. Самым тяжким для меня было то, что дома описали и конфисковали всю мало-мальски ценную мебель, которая на собственных ногах стоит, телевизор, приемник и мою одежду. Вот это меня ударило под самый дых, это меня подкосило. Жена, конечно, в полном шоке была. Вся ирония судьбы, вся изощренность наказания в том, что мне самому весь этот хлам до лампочки, но что из-за меня, прохвоста, семья страдала, хотя она и копейкой из тех проклятых денег не воспользовалась.

И сколько я потом ни протестовал, ни писал, ни умолял суд наказать меня хоть вдвое, но вернуть семье вещи,— бесполезно. Вот где стыдобушка-то меня погрызла.

3

Ну что тебе рассказать про заключение? В колониях наших все гуманно: бараки чистенькие, работа по восемь часов — меньше, чем мне приходилось вкалывать на воле, кормежка трехразовая, постная, но дистрофией никто не страдает, в свободное время — кому карты и домино, кому шашки и шахматы; развлечения эти ограничиваются, но если без ссор, без хипежа, то смотрят сквозь пальцы; газеты, книжки читай: подбор литературы, конечно, ограниченный, в основном нравоучительного характера, но по рукам ходит и много хороших книг, так что я хоть там почитал, восполнил кой-какие пробелы; по выходным — самодеятельность в клубе: струнный оркестр, поют, пляшут, пьески ставят, опять же нравоучительные, причем, скажу тебе, самодеятельность на довольно высоком уровне; если человек сидит годами и имеет тягу самовыразиться, высказать себя и хоть как-то очиститься, самодеятельность для него, можно сказать,— единственный способ, по-другому там слушать себя никого не заставишь, у каждого своя боль и своя тоска.

Должен сказать, там четко поставлена система стимулов:

борются за чистоту бараков, за звание ударников и бригад прилежного труда и примерного поведения, есть продуктовый, промтоварный магазины; если ты хорошо работаешь, получай десятку талонами из заработанных денег, покупай колбасу, масло, сигареты, или чистое белье, или рубаху; накопил талонов — можешь купить даже костюм или пальто. Но я-то ничего не брал и курил самые дешевые папиросы — с меня ведь высчитывали в счет растраты, а все остатки до рубля я высылал домой. Опять же, если ты не имеешь замечаний и у тебя есть жена — можешь пригласить ее; раз в год тебе дадут недельное свидание и отдельную комнату.

И тут — ты знаешь?— жена моя оказалась на высоте, за это я боготворить ее должен, следы ее ног на асфальте целовать. Вот кому мы должны памятники ставить в своей душе — женщинам, которые делают нас сильными! С ними не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Честно признаюсь, я мало знал их, даже жену, мне всегда было некогда.

Она перечеркнула все свои обиды — то есть нет, не перечеркнула, потому что, оказывается, уже ничего нельзя перечеркнуть, ни хорошего, ни плохого, что происходит между нами и ими, след остается на всю жизнь, как если бы ты писал письмо и зачеркнул фразу; но письмо-то можно переписать начисто, а жизнь — нельзя. Нет, она просто загнала их поглубже; она писала мне регулярно, и сколько мне полагалось получить писем — она ни одного не пропустила за весь срок; каждый год она приезжала ко мне, и ту краткую неделю, что нам была отмерена, она делала для меня праздником: привозила полный чемодан всяческой еды, новых теплых вещей,— ведь тратилась, конечно, отрывала от себя и от детей, но мне это было жутко приятно; она убеждала меня не озлобляться, не киснуть, не сдаваться — надеяться и ждать, что все еще будет хорошо.

Гуманно-то гуманно в колониях, но заключения, увы, без неудобств не бывает, и главное из них, нет, не решетки, не проволока, не конвой, а то, что ты все время на виду, в людской тесноте: нет возможности побыть один на один с собой, одуматься, забыться; от этого все время накапливается раздражение, появляются какие-то собачьи инстинкты — хочется рычать и скалить пасть, чтобы хоть как-то защитить свой крохотный мирок, а не будешь защищаться — обгадят и затопчут. Вот оно где, наказание-то! Компания, сам понимаешь, не подходящая для совместного времяпрепровождения, законы собачьи: кто сильней — тот гавкает и укусить норовит, кто слабей — хвостом виляет. Есть, конечно, и случайные для тех мест, даже симпатичные люди, а большинство, я тебе скажу, не зря там сидят.

Я работой спасался. На лесоразработках был вальщиком, рас-

кряжевщиком, потом на станках в лесопильном цехе. Потом там же — бригадиром. Бригадирство, конечно, хлопотное дело: тридцать гавриков под рукой, всех заставь работать, и не просто заставь, а дай с ними сто процентов выработки, не меньше. А с другой стороны, и кой-какие преимущества и послабления у бригадира есть. И опыт зря не пропадает, да и интересней оно. А нашему ли брату бояться хлопот. Главное, поставить себя, спуску не давать. Подобрал я надежного заместителя, культорга по-лагерному, с десяток мужиков подобрал, с которыми можно дело иметь, которые побыстрей хотят выкарабкаться и подзаработать — там ведь и заработать можно, если работаешь,— и уже тогда смело качал свои права.

Пришлют этакое дерьмо в бригаду — а там его и так хватает,— скажешь ему: «Иди работай!» — а он тебе шипит сквозь зубы: «Я не работать приехал, а срок отбывать». Ну, по роже ему сразу. Тут, главное, сразу. Плюхнется в грязь или в опилки носом, подымешь, встряхнешь: «Работай, падаль! Бери инструмент и работай!» Опять шипит: «Пр-рипомню я тебе, бугор, эту кровь, о-ох припомню!» Ну, снова его по зубам и в зад пинком. Не без казусов, конечно, бывало. Видишь шрам на ладони? Нож отбирал, из пилы сделанный. И в бок ножичком пыряли. Но ничего, обошлось. А иначе нельзя, иначе, говорю, обгадят и затопчут.

4

И вот ты выходишь. О, эта воля, эта свобода! Ты не представляешь, какое это ощущение. Как много чего хочется, как легко дышится, как радуешься простым, элементарным вещам! Как ребенок, который в первый раз из дома сбежал,— аж дух захватывает, аж самому себя страшно. Представляешь? Как будто снова учишься ходить, говорить, жить — но уже сам. Сам пробуешь мороженое, покупаешь пирожки в лотке, едешь в автобусе, идешь куда глаза глядят. Все сам!

А ощущение, что ты все искупил! Совесть твоя чиста теперь, и у тебя еще полно сил. Ты готов начать новую жизнь, и все теперь будет по-новому. Есть, осталась горечь в душе, на лице появились морщины, виски сединой припудрило, желудок побаливает, нервы слегка сдали; гораздо больше вещей раздражает, иногда даже мелочи, которых раньше и не замечал вовсе. Чаще, чем раньше, тянет выпить. Ничего, здоровье подправим, нервы вылечим! Годы потеряны? Наверстаем! Тебе только тридцать восемь, еще и половины отпущенного тебе времени не отработал — дерзай! И дудки теперь хоть самому дьяволу сбить тебя с толку — хватит, научился! Работа и семья, семья и работа! Я снова

буду с семьей, и никто, ничто, никакие обстоятельства, никакой сукин сын, никакая стерва не смогут меня оторвать от моей жены и моих детей, буду жить только для них, ради них, хватит, натерпелись. А работа — что работа! На мой век ее хватит. Снова в строители; моя боль, моя отрава, моя стихия — как же я без нее, без стройки? Хлеб растить да строить — две самые главные, святые, можно сказать, профессии, но по мне, самая лучшая все-таки — строить. Конечно, придется начинать с самого начала, с прораба или даже с мастера, но ничего, покажу себя, на что я способен, прошлое припорошится временем, забудется, меня помнят, знают, товарищи есть, помогут, и пойдет дело!..

С такими мыслями я считал последние месяцы и дни своей отсидки, а они, скажу тебе, долгими там кажутся — сначала-то вообще старался об этом не думать, не мучить себя, не терзать. С такими мыслями освобождался, ехал домой. Не знал я, что мое наказание еще длится. Что оно, может быть, еще только начинается.

В самом деле, нас ли напугаешь работой, плохой жратвой, жизнью в берлогах? Нас ли, нашего брата, напугаешь грязью, вонью, матерщиной, или грубостью, или страхом? Черта с два, и так все знаем, и так все прошли. Раскаяние, угрызения? Совесть, она, понимаешь, штука нежная — быстро портится; во всяком случае, при такой вот почти животной жизни угрызений, по моим наблюдениям, там возникает мало — не та обстановка. Озлобление, отупение — да, привычка терпеть все что угодно — да. А раскаяние наступает потом, когда все главное уже позади, когда ты приходишь домой с надеждой на то, что все будет как прежде, и на то, что все вокруг будут только и делать, что показывать, как они рады, что ты наконец вернулся, что ты опять с ними. А оказывается, ты вернулся туда, где и был пять лет назад, ну пусть не все пять, а только четыре с небольшим, а там уже никого нет, пустота, жизнь ушла далеко вперед, ровно на те пять или сколько там лет, а ты остался. Вот оно где, настоящее-то наказание! Раскаяние, горькое-прегорькое, начинает сосать твою душу, холод, страх пробирают тебя до костей, оттого что ты воочью видишь, как безвозвратно, неумолимо уходит в вечность время, но — без тебя! И еще что-то такое появляется, не знаю как и назвать,— сожаление, усталость, надлом ли какой, а может, и все это вместе. И верю, каждый, кто там был, чувствует то же самое. Поэтому я всегда узнаю тех, кто был там. Ты не узнаешь, не заметишь этого в глазах, а я узнаю. Преступление, оно всегда остается с тобой на всю жизнь, что бы ты ни говорил и куда бы ни девался. Оно как мета на тебе, как изъян, как, скажем, хромота или большой ожог на коже.

Не знаю, может, я ошибаюсь. Может, пройдет время и заживет моя мета? Не знаю...

Короче, что получилось-то, когда я вернулся?

Ну, во-первых, жена. Она ждала, конечно, и тоже надеялась, что все будет хорошо. Но отчуждение — куда ты его денешь? Можно было спрятать его на неделю, когда она приезжала ко мне туда, а годами прятать уже нельзя. Произошел какой-то сдвиг между нами — и все, и уже не получается «одной сатаны», не склепваются наши половинки. Были когда-то и жаркие объятия, и огонь в крови. Я понимаю, любовь меняется, как меняемся мы сами,— тут и чувство товарищества примешивается, и взаимное уважение, и жалость, и семейное тепло, и черт-те что еще, что складывается ежедневно за многие годы в общую копилочку. Именно этого мы и не накопили. Вместо этого она копила обиды.

И еще одна штука. У нее, оказывается, мужчина был! Любовник не любовник, во всяком случае, клялась, что не спала с ним, отвергала начисто, когда я узнал и допросил ее. Говорит, просто встречались, ходили в кино, в театр — не одной же, мол, ходить, а иногда хотелось развеяться, побыть с человеком, который дает тебе хоть чуточку тепла, и то, мол, это редко было, душевный, мол, человек, женат, семьей не удовлетворен. А если и было что, если допустила слабость и ей просто стыдно признаться,— не верю я в этих душевных мужиков, все мы одним миром мазаны. Как ее упрекнешь? За что? За то, что ты пил-гулял, а потом расплачивался, а она горе мыкала? За то, что ее годы прошли, что она вытягивала твоих же ребятишек?

А ведь приезжала, улыбалась, поддерживала. Уговаривала стойким быть. Ну вот как нам с ней перечеркнуть это проклятое прошлое?

Во-вторых, дети. Их у меня двое — сын и дочь. Когда меня забрали, дочери было семь лет, сыну одиннадцать: действительно, дети еще, хотя и понимали уже, куда их папаша делся. А вернулся — парень в десятый класс ходит, вымахал с меня ростом, басом разговаривает; дочери хоть тринадцатый год всего и худая, как щепка, а тоже меня догоняет; мать, во всяком случае, уже догнала.

Совершенно новые, чужие какие-то люди — снова знакомиться с ними надо, узнавать, чем они живут, приноравливаться к ним, потому что сами они к тебе приноравливаться не желают.

Ну, дочь, известно, больше к матери льнет, это и тогда было, а когда вернулся — чужая и чужая. Она мне даже «вы» сначала говорила — чужой дядька явился. Не подпускает ни уроки проверить, ни почитать с ней, ни позаниматься: «Я сама!» Сей-

час пообвыклась, разговаривать стала, хоть и осторожно, но, чувствуется, с интересом — как любопытный зверек из своей норки выглядывает. Я все-таки надеюсь, что с ней у меня еще все наладится. И с матерью нас как-то пытается сблизить, добрая душа.

С сыном сложнее. От матери оторвался; хоть и уважает ее, но оторвался совсем, не позволяет ей ни во что вмешиваться, а уж мне и подавно. Одиночкой, гордецом, этаким бирюком живет, ни слова никому. Если кто-то и существует для него — так только друзья. «Куда пошел?» — «К друзьям». Или: «Где ты был?» — «У друзей». Или придут эти самые друзья — молча, гуськом проследуют в комнату, закроются, и не слыхать. Что они там делают, чем занимаются, о чем говорят? Потом так же, молча, гуськом, проследуют обратно. Меня если и не ненавидит, то, во всяком случае, игнорирует начисто и вообще, похоже, считает, что я в семье — пришей кобыле хвост. Не хочет мне ничего простить; видно, больней всего по нему ударило то, что со мной случилось,— ведь до заключения мы с ним были друзьями и он, похоже, гордился мной. И конфискация, и нищета, конечно, больно ударили по его самолюбию, унизили его, мало того что он хорошо помнит все это — оно еще и перекипело в нем. Возможно, знает и про связь матери с тем человеком, видал или просто понял,— они ведь ох и чуткие в этом возрасте, много чего понимают — и хоть ни словом себя не выдал, но, чувствую, мать не то что одобряет, но как-то снисходительно оправдывает, как слабую женщину,— он ведь без меня за мужчину в доме был и хоть и учился кое-как и не все дома делал, но уж если что делал, то гордился этим, а когда я пришел, сразу замкнулся и отгородился от всех. Не только мне, но и матери не прощает, что приняла меня обратно, простила мне. У подростков ведь все «или — или», никаких компромиссов. Не понять им, как это сложно — жизнь прожить.

И самое неприятное, что никаких сдвигов к сближению у нас с ним нет. Во всяком случае, на обозримое время. Не замечает меня и замечать не хочет. Начну к нему подступать, не по пустякам — по делу: скажем, ему через полгода школу кончать, интересно же, что человек дальше делать намерен, или хочется иногда рассказать ему, что за штука такая — заключение, не в порядке оправдания, а хотя бы из соображения, что парню надо бы знать, что это такое и как туда попадают,— так и слушать не желает, раздражаю я его. И чего они все такие раздражительные? Так хуже всего, что он и на сестренку плохо влияет — презирает ее за то, что она со мной пытается контакты наладить.

Вот такие, брат, пироги.

Ну а, в-третьих,— работа.

Пошел я в старую свою организацию — там меня еще кое-кто знает, помнит. Да и легче оттуда начинать. Прежнего начальника не застал — уволился, уехал, с кем-то не сработался. Начальником теперь наш же бывший начальник участка. Мы хорошо друг друга знаем. Он меня, конечно, с распростертыми объятиями принял: «О, привет, привет!— порасспросил, посочувствовал, что с каждым может такая беда приключиться, и предложил: — Давай к нам! Но,— развел он руками,— сам понимаешь, тебе придется начинать с прорабов. У нас как раз свободное место есть». С прорабов так с прорабов — я на большее и не рассчитывал. Поступил, работаю.

Но вот что интересное я обнаружил: те немногие из друзей-товарищей, те знакомые, которых я нашел,— остальных-то уже успело разбросать по миру,— они уже другими стали: другие интересы, другие заботы, другие цели; одни давно уже выросли из прорабов, начальников участков и главных инженеров, стали опытней, старше и дальше пошли. Другие, те, кому наплевать на опыт и должность, кто замкнулся в своей раковине, в своем мирке: садик, машина, мебеля, свои собственные рубли в кармане,— тем, как правило, наплевать и на память молодости, и на старую дружбу. В общем, все в моем возрасте уже определились, только я, как пень, все там же, где меня срубили. А кругом — море чужих, незнакомых лиц, волна за волной — новые люди, новые поколения.

Мало того, и сама структура строительства изменилась. Когда занимаешься этим ежедневно — глазу как-то незаметно. Новые нормы, новые цены, новые конструкции, новые обязанности. Изменилось планирование, снабжение. Вычислительные машины использовать стали. Так что я даже как прораб оказался не на своем месте — надо переучиваться. Не изменилось одно: с утра до ночи быть на ногах, мотаться по командировкам, спать и есть где и как попало. А ты уже не так молод, у тебя уже возраст. В тридцать восемь, да если еще здоровье дает себя знать, тягаться с двадцатипятилетними — спорт не на равных. Естественно, и дела у тебя не так блестящи, как хотелось бы. А я не люблю быть последним.

Вот и не знаю, как быть теперь. То ли найти что-нибудь поспокойней, чтоб отработал восьмерку— и домой? Нет, не потому, что сдался. Не затем, чтоб приучать себя к телевизору, беречь нервы, изучать журнал «Здоровье», — нет. Чтобы жить в полном ладу с семьей. Хочется — ты знаешь, как хочется!— тепла. Чтоб было куда прийти, чтоб был кому-то нужен, чтоб тебе был кто-то нужен. Как стать таким? Потребуется время, много времени, чтобы пробить все эти стены и добраться до своих же детей, до

своей жены, чтобы хоть как-то поняли меня, чтоб я им понадобился.

То ли уж ждать до конца, как задумал? Ты понимаешь — боюсь потерять себя, стать ничем, если брошу свою эту работу. Потому что мужик — это еще не тот, у кого волосье из всех пор растет. На мой твердый взгляд, мужик — тот, кто на мамонтов ходит. Чувствую, сил во мне еще полно, еще выкладываться да выкладываться. Хочется еще что-то хорошее сделать, хочется работать так, чтобы тебя знали, ценили, любили, если хочешь, именно за это. Дилемма!

Ну вот, рассказал тебе всю историю. Нет, я не жалуюсь, не ною, не скриплю: провинился, значит, бей меня, жизнь, каюсь, виновен. А счеты с жизнью сводить, крест на себе ставить — резона нет: безвыходных положений не бывает, мы с тобой это знаем. А уж с нашей-то закалкой вообще грех жаловаться. Еще пободаемся.

Погоди, еще придет время — мы с тобой вспомним этот день, когда я позволил себе — нет, не жаловаться! — а чуть-чуть, может, расслабиться, поплакаться в рукав — это ведь и мужику полезно бывает, и мы посмеемся с тобой: а был ли такой день-то или мы его придумали с тобой, выпив по капельке?

Сергей Воронин

МОННО*

И на этот раз Валька созналась. До этого на нее заявил родной дядька в милицию — украла деньги. Вошла к ним в дом: «Теть Лиза! Теть Лиза!» — нет тети Лизы. «Дядь Коля! Дядь Коля!» — нет дяди Коли. А на серванте лежат стопочкой деньги. Обернулась, никого нет. Взяла деньги и прямым ходом — в сельмаг.

— Здравствуй, Глаша!

— Здравствуй, Валя!

— Чего у тебя есть на меня?

— Вот если костюмчик. Только дорого.

— Дай-ка прикину,— сказала Валька. Прикинула. Подходит. Немного юбка длинновата, но можно подшить.

— Идет тебе.

— Дай-ка надену.

Надела, благо в магазине никого не было. Хлеб еще поутру разобрали, и теперь только нет-нет да заскочит мужик за вином. Никого.

— Ничего костюмчик. Ляжечки в обтяжку, попочка аккуратная, и курточка хорошо облегает грудь. Все как положено... Я беру его.— И взяла, уплатив крадеными деньгами, десятками.

— Получку, что ль, получила?

— Ага,— ответила Валька и унесла костюмчик домой.

Первой хватилась денег Лиза. Туда-сюда, в комод, в сервант — там обычно хранились деньги, в верхнем ящике. Нет денег.

— Коля! Коля! (Николай только пришел с работы.) Ты не брал деньги?

— Какие деньги?

— Да вот тут лежали. На серванте. Сто двадцать. Получку выдали. Не брал?

— Нет.

— Куда ж они подевались?

— Может, кто заходил?

— Не знаю... Я только на минутку отлучилась. К Анисье сбегала. Неужели кто побывал? Вот тут они лежали. Я как получила в конторе — двенадцать бумажек по десятке отобрала, сюда положила, а трешку и еще два рубля в карман сунула. В магазин собиралась за маслом. Так вот трешка и рубли тут, в кармане, а тех нет... Господи, где же они?..

— Если положила и нет, значит — кто-то побывал. Какой-то гад спер их, больше куда ж им деться... Кто ж это мог побывать?— Николай огляделся, но никого и ничего, конечно кроме привычных вещей, в комнате не увидал и пожал плечами. А Лиза заплакала. Николай поглядел на нее, выругался и стал озабоченно курить.

В тот же вечер Валентина вышла к автобусной остановке в новом костюмчике. У автостанции собирались молодые парни на мопедах и мотоциклах. Сюда же прибегала и Верка, еще девчонка, но мнившая себя уже взрослой. Увидев Вальку в новом костюме, заахала. А та прошла мимо нее раз, другой, повернулась на каблуках и присела, сделав реверанс.

— Ой, Валя, какая ты красивая!— вбирая от восхищения в себя воздух, сказала Верка.— Теперь ты ребятам еще больше будешь нравиться!

Ребята, в большинстве своем приехавшие на летние каникулы к дедам и бабкам,— уже городские отпрыски. Главным занятием для них было по вечерам гонять вдоль деревни по асфальтированному шоссе свои мопеды и мотоциклы, наполняя все и вся треском и грохотом моторов. И так они гоняли с перерывами, когда задерживались на автостанции, до двух, а то и до трех часов ночи, мешая спать тем, у кого сон был чуткий. А у кого, как не у стариков, самый чуткий сон. И старики ругались, просыпаясь по нескольку раз среди ночи, кляли ребятню, но ничего сделать не могли, чтоб прекратить такое безобразие, потому что давно уже свыклись с той мыслью, что никто к их жалобам прислушиваться не станет.

Еще «вьюношам» нравилось бросать кирпичи на шиферную крышу автостанции. Они их тут же выламывали из стен и бросали как можно выше, чтобы они с ужасным грохотом обрушивались на шифер. И от такого шума старики тоже ворочались на своих одиноких постелях и бормотали всякие нехорошие слова. И с нетерпением ожидали того часа, когда ребятня разъедется по своим домам. Тогда наконец-то водворялась тишина. Но ненадолго, часа на два, а потом начинали орать петухи, лаять собаки, и наступала пора вставать хозяйкам доить коров и выгонять в стадо.

В перерывах между гонками ребята курили и, выхваляясь друг перед другом, победно, как герои, поглядывали на Валентину. Иногда на автостанцию приходили и другие девчата, по они вели себя скромно и не позволяли того, что позволяла с собой делать Валька, и поэтому ребята больше тянулись к ней, и каждому лестно было, если она выбирала его, а не кого другого.

То, что Валька явилась в новом костюме, сразу же стало известно всей деревне. И Лизе ничего не стоило догадаться, что костюмчик куплен на ее деньги. Почтальоншей-то не много заработаешь и всяко костюмчик за сто десять не купишь.

Лиза сразу же пошла в магазин.

— Глаша, какими деньгами уплатила тебе за костюм Валька?— спросила она продавщицу.

— Десятками. А что?

— А то, что Валька мои деньги украла. Одними десятками или как?

— Одними десятками. Я еще подумала, как аккуратно у нее стопочкой они.

— Мои это!— сказала Лиза, после чего пошла к Вальке.

Та всегда днем, после разноса почты, обреталась дома, в то время как мать не разгибала спины в огороде. На длинных грядах она выращивала огурцы, чтобы потом продавать их в соседнем совхозе. Тем и жила, потому что пенсия у нее была маленькая и жить на нее трудно, на дочкины же заработки не рассчитывала.

— Валя, ты где взяла деньги на костюм?— сразу же, как перешагнула порог, спросила Лиза и устремила на нее взгляд — не моргая глядела, чтобы малейшее замешательство уловить в Валькином лице. Но Валька нисколько не смутилась.

— У вас взяла. На серванте они лежали,— просто ответила она и даже усмехнулась.

— Да какое же ты имела право брать чужие деньги?

— Так своих-то нет, а костюмчик нужен,— засмеялась Валька и соскочила с дивана. До этого она лежала на нем, подобрав ноги под себя. Слушала по транзистору джазовую музыку.

— Ну, девка, ладно, погоди!— пригрозила ей Лиза.

Дома она сообщила мужу про то, что деньги украла Валька:

— Езжай, Коля, в район, в милицию. Иначе с нее, нахалюги, никак не возьмешь. Еще смеется...

Он в тот же день махнул в райцентр и вернулся с милиционером.

Милиционер, молодой, с усами для солидности, взял под козырек, когда обратился к Вальке.

— По данным сведениям вы незаконным путем взяли деньги в сумме сто двадцать рублей у граждан Агафоновых. Намерены

ли вы их вернуть или дело будет передано в суд?— спросил он и передвинул с боку на живот полевую сумку, в которой у него хранилась стопочка чистой бумаги и самописка для составления протоколов.

— Отдам, какой еще там суд,— поиграла плечами Валька.— Только не сразу. Ну, то есть не сию минуту. Пойду на ферму, поработаю месячишко и отдам.

— В таком случае напишите расписку, что деньги вернете по принадлежности.

Валька тут же написала на милицейской бумаге милицейской самопиской, потому что у нее ни того, ни другого не водилось, и милиционер, отдав честь, уехал. Валька на другой же день пошла на свиноферму откармливать поросят и за месяц заработала столько, что смогла и вернуть украденные деньги, и еще себе осталось больше тридцати рублей.

— Вот, доченька, и поработала бы там,— сказала мать,— все полегче бы стало нам жить.

— Ага, сейчас, разбежалась,— ответила ей Валька. И на этом разговор кончился. Только уж потом, часа через два, мать сказала: «И то верно, молодая, гуляй».

И Валька, впервые после месячного перерыва, вышла к автостанции.

Ребята настолько обрадовались, что даже кирпичи не бросали в тот вечер на шифер. Только от избытка чувств время от времени вскакивали на мопеды, и, оглашая устоявшуюся тишь треском и дрожью, делали тут же у станции по песку малый круг, и лихо соскакивали с машин, словно с коня, и самоотверженно глядели на Вальку.

Валька надменно скользила взглядом своих темных глаз по лицам парней, выбирая такого, который бы ей больше на этот вечер понравился. И когда выбрала, то все остальные, треща и фыркая моторами, уже в третьем часу ночи разлетелись по сторонам, оставив их вдвоем.

Так продолжалось до конца лета. А потом ребята уехали. Стало скучно. Осень. Дожди. Ветер. Тишина. Только листву метет по шоссе. Пусто. И вдруг — вот счастье-то! — приехал в деревню хороший парень. Трактористом определился. Ничего себе паренек, рослый, с усами...

— Здравствуй, Васек!

— Здорово.

— Чего по вечерам делаешь?

— А когда как. Вот сегодня в кино пришел.

— А после?— Валька нагнулась, приподняла юбку, поправила чулок.

— Чего после?— глядя на ее ногу, глуховато ответил Васек.

— Ну, чего после?
— Домой после.
— А чего дома?
— А ничего. Спать.
— Ну, спать. Что ты, старик, что ли?
Васек засмеялся:
— Скажешь тоже — «старик»...
— Оставайся, потанцуем. У меня транзистор есть. Чего-нибудь нащупаем по эфиру. Какую поп-музыку.
— Ладно. А какой у тебя транзистор?
— Да халявенький, старый уже. Это мне один паренек подарил, как уезжал. Ой, вот умора, чуть не заплакал. Так не хотел со мной расставаться. Так приходи, вернее, оставайся после кина. Договорились?
Васек остался.
— Ах, как плохо, что у нас с тобой нет укромного местечка,— вздыхая, сказала Валька.— Было бы такое местечко, как бы хорошо было. А теперь чего ж, видно, по домам.— Это она сказала после того, как завклубом, молчаливый старик, выгнал их на улицу, закрывая клуб на висячий замок.— Ах, было бы хорошее местечко.
Такое местечко нашлось. На хуторе когда-то стоял дом, и от него осталась каменная кладовка.
— Если вот там?— сказал Васек.
— Ой и толковый ты!— затормошила его весело Валька.
— Только надо все устроить внутри. А то там ничего нету.
— Это мы с тобой легко сделаем, Васек.
— А как?
— А у дачников возьмем. Они сейчас в городе. Вот и возьмем. А сенник сами сообразим. Да, Васек? И никто знать не будет про наше местечко. Только мы с тобой, ты да я, я да ты.— И она, улыбаясь, заглянула своими темными, немигающими глазами в самую его душу.
Так и сделали. Вернее, одна Валька сделала. Взяла у дачников простыни, пододеяльники, подушки и для уюта электрокамин. Проводку от сети до кладовки Васек сам сообразил. А Валентина набила сшитый из мешков чехол свежим сеном, и стало у них свое жилье. Свет не зажигали, хотя могли бы и провести, но так было лучше. Электрокамин слабо светил красным, создавая уют и тепло. И все, на Валькин взгляд, было прекрасно.
Дачники приехали с детьми на весенние каникулы и первое, что обнаружили, так это то, что исчез электрокамин. Потом не нашли подушек, одеял, простыней, пододеяльников. Пожаловались соседям. А те в один голос: «Валькина работа. Больше не-

кому! Она и деньги украла у Агафоновых, и кофточку у Марии Лукиной, только что перекрасила ее, а она — та самая кофточка, вязаная. По узору видно. Так что больше некому, как Вальке!»

Дачник пошел к Вальке. Пригрозил милицией.

Валька и тут не стала отпираться.

— А чего заявлять, принесу. Я взяла только попользоваться.

— Да, но без разрешения.

— А вас не было. Да если б были, вряд ли дали. Принесу. Ничего не случилось с вашими подушками.

И принесла. Пододеяльники, простыни, наволочки, настиранные, наглаженные. И камин принесла. Правда, с помятой верхней сеткой. Это Васек на нем сидел. Нравилось ему. А так все в целости и сохранности.

Конечно, и этот случай не прошел мимо деревенских.

— Что ж это ты, милая, так нехорошо себя ведешь? — как-то сказала Вальке старая Надя.— Берешь чужие вещи.

— Беру да отдаю, бабуля. Это теперь модно—попользоваться чужими вещами. А ты иди, куда шла, а то забудешь. В другую сторону повернешь.— И, раскачивая аккуратненьким задом, Валька направилась к автостанции.

А старая Надя пошла в свою сторону. Шла и осуждающе бормотала: «Во как, монно теперь это, монно...»

Глеб Горышин

ГРИБЫ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ*

С утра сеялся обложной мелкий дождь, я поглядывал в окно, ждал у моря погоды. Не у моря, а у Ладожского озера: оно урчало, невидимое, но хорошо слышное мне. Идти, не идти за грибами? Может, и грибов уже нет: октябрь на дворе?..

Натягиваю резиновые сапоги, надеваю брезентуху, втыкаю нож в корзину. Иду.

За околицей повстречался с тремя грибниками. На донышках их корзин сиротливо мотались ситники и козлята. Грибники, должно быть, на катере, с ночи, из города в лес. Иронически посмотрели на меня, полагая, что уж раз ничего не нашли, то я и подавно. Да и правда, поздненько...

Но чем глубже я погружался в лес, чем глуше доносился до меня вой моторок с Ново-Ладожского канала, тем явственней слышались ропот осин, шуршанье падающих листьев, покряхтыванье старых сосен, перешептыванье молодых березок, тем сильнее охватывало меня предчувствие чего-то хорошего, что должно случиться,— осуществление моих желаний. Небо вдруг засинело, и солнце вышло, и лес стал цветным. Желал я в тот день одного: набрать не белых, так подосиновиков, подберезовиков, на худой конец — моховичков, маслят, сыроежек.

В лесу поздней осенью меньше крику,ауканья, чем бывало, зато подальше идти от гриба до гриба. И не к чему суетиться, рыскать. Лучше всего сделать шаг — и послушать, и пристально вглядеться, где осиновый лист, а где такого же цвета шляпка подосиновика. Гриба не увидишь, пока он сам не сыграет с тобой в гляделки. Грибы умеют смотреть в глаза грибнику. Не каждому грибнику...

Так я шел, медленно втягиваясь в жизнь леса, переступая из сквозных березняков в мглистые ельники, затравевшие ольшаники, редкие сосняки и матерые осинники. Впрочем, все это перемешалось, вместе росло, переходило одно в другое. Ле-

---

са к тому же были иссечены канавами-осушителями, изрежены квартальными просеками. Грибы пока что не попадались, и я уже заскучал. Как вдруг увидел между двух зеленых моховых кочек дымчато-серую спинку зайца. Заяц не шевелился, но по какой-то чуть уловимой дрожи шерстинок было заметно, что он тоже видит меня. Заяц молоденький, прибылой. Подрожал и покатился серым катышем, но оглянулся. Я ему подмигнул.

Встреча с зайцем развеселила меня не меньше, чем если бы я напал на семейство грибов. Интересно, что будет дальше. Иду по лесу, как книгу читаю: что ни страница, то зверь, то птица. Книга большая, время в лесу такое же долгое, как дорога солнца: снизу вверх — от востока к югу и сверху вниз — с юга на запад...

На широкой прогалине у канавы остановился, что-то такое услышал — ага!— это серые гуси: клонк-клонк-клонк... Откуда-то из лесных глубин, будто кверху, к зениту летя, появился гусиный широкоугольник. И так он был широк, что гуси, летящие по краям, должно быть, не слышали вожака, потеряли с ним связь. Строй начал ломаться, в перестроении был порядок: гуси вздваивали ряды, как солдаты на плацу. Вскоре из одного широкоугольника получилось два, вершина в вершину, клин в клин, с параллельными сторонами, в две шеренги. Гуси переговаривались во все небо о чем-то очень важном для них. Может быть, старые поучали молодых, впервые летящих в ряду большой стаи за тысячи километров, как надо лететь, кому какое место положено в строю.

Послушал гусей, проникся важностью их беседы. Поднял голенища сапог, перебрался через канаву, прохлюпал по болоту, покатал во рту пронзительно-кислую, а все же сладкую клюквину, очутился в сосновой гриве. Еловых, березовых или осиновых грив не бывает в лесу, бывают только сосновые гривы. У сосен хвоя, как конский волос, жестка и долга.

О грибах я теперь не думал, хотя не пропускал ни волнушку-кокетку в розовой с вуалью шляпке, ни смуглую, ломкую, пропитанную горьким молочком горькуху, ни моховика в твердой каскетке с плюшевой подкладкой, ни маслят-лягушат, ни одрябшего на дожде, но стойкого подберезовика-обабка, ни вылупившуюся из зеленого мха сыроежку. Матрешку в алой косынке...

Сосновая грива у края болота вдруг живо напомнила мне одну глухаринную ночь — весеннюю ночь на току.

Глухарь — большая, красивая, скрытная птица, с длиннопером черным хвостом-веером, с горбатым костяным клювом, ярко-красной кровяной бровью. По веснам глухари поют на своих токовищах, в глуши, в сосновых гривах среди болот. Слетаются

с вечера в заповедное место, ночуют в вершинах деревьев, перед рассветом начинают щелкать клювами, шипеть и фырчать — такая песня у них. Кополухи-глухарки летают над ними и квохчут, распаляют певцов. Распаленные петухи дерутся на кочках. Любовь глухарки надобно заслужить: вначале пленить копылуху песней, потом еще взять верх в бою над соперником. В любовном пылу глухари становятся глухи и слепы. Они поют, а их охотники бьют...

Однажды мой старший товарищ привез меня на Медвежий ток. Ток называли Медвежьим потому, что место было медвежье: весной медведи тут подкрепляли свои ослабшие за зиму силы подснежной клюквой. Мы сделали табор вблизи токовища, нарубили сушняку для большого костра на всю ночь, из соснового лапника соорудили пышное ложе, натянули на колья брезент, чтоб не дуло, приладили над костром таганок, принесли болотной снежной воды. Табор вышел на славу, и место хорошее, верное место для тока: большое болото — за сутки не обойдешь, на болоте песчаные гряды, на грядах матерые корабельные сосны; у оснований гряд пади с неунявшейся вешней водой, заросшие черемушником, с завалами подмятых стволов. Ноголомное место, не всякий доберется в этакую глушь. Легкодоступных глухариных токов не бывает: они давно уже распуганы и разбиты...

Мой старый товарищ хорошо знал топографию Медвежьего тока, а я пошел познакомиться с местностью — вечером, засветло, чтоб, идучи на ток пред рассветом, не заплутать. И нужно было послушать прилет глухарей. Они прилетают с заходом солнца. Посадку их можно услышать по хлопанью крыльев. Услышав посадку, знаешь, куда идти.

Только избави бог нашуметь на току. Когда глухари прилетят и рассядутся над тобой — замри, жди, покуда они уснут. Тогда уж выбирайся к табору. Солнце к той поре сядет и не поможет тебе. Местность вся переменится, станет другая, чем по дороге на подслух... Протоки окажутся непереброднымп, чащи непролазными, болота зыбкими. И заухает филин.

Идя на ток от табора, я, конечно, наметил — по солнцу — путь возвращения. Для верности вырывал листки из блокнота, нанизывал их на ветки, провешивал путь.

На току отыскал ствол палого дерева, сел на него, как петух на насест, и набрался терпения ждать. Достал блокнот, собрался записать приходящие мысли. Самые важные мысли приходят в лесу, на подслухе, на глухарином току: ты становишься как антенна, настроенная на все волны мира, улавливающая не только звуки речи, но и подспудные вздохи, биения, писки. Блокнот я достал, а чистых-то листков в нем не было — все по сучкам развесил. Я мельком подумал, что это леший-лесовичок

подшутил надо мной. Он любит поиграть с новым человеком на своем болоте...

Солнце садилось, лес наполнялся идущим сбоку и снизу рябиновым светом. Как в гулком, хорошо резонирующем концертном зале, красиво, торжественно пели дрозды, не перебивая друг друга, подражая то горлинкам, то соловьям. Высоко в небе проблеял козодой, мало кем виденная лесная вечерняя птица.

Глухари почему-то не прилетали. Иногда они приходят на ток пешком, поклевывая клюковку и брусничку, поглядывая круглым глазом. Мне приходилось играть в гляделки с глухарями-ходоками. Когда у них сложены крылья и хвостища, они кажутся меньше, чем на лету или на суку во время токованья. Идут вперевалочку, не боятся тебя, если ты, как коряга, нахохлился, замер. Они в сумерках малость подслеповаты, у них куриная слепота...

Отсидев неподвижной колодиной два с половиной часа, я почувствовал, что терпение мое истощилось. От солнца осталась кайма зари. Дрозды один за другим умолкали. Я встал, принялся разминать одеревеневшие до хруста члены. В это время и налетел глухарь, откуда-то сзади, из-за спины. Уселся прямо надо мной, на сосне, слегка пощелкивая клювом. Я стоял в неестественной позе, полусогнувшийся, полупрямой. Часы показывали десять. Глухарь мог прободрствовать еще час-другой.

Так я и остался изображать из себя лесную диковину, корень-выворотень. Глухарь у меня над головой помаленьку приготавливался посмотреть свои сны. Я замер — что оставалось мне делать, вопрос был поставлен ребром: кто кого. О чем я думал тогда? Не помню. Скорее всего, я стискивал зубы, прикусывал донимавшие меня поползновения бросить, плюнуть, уйти. Для чего-то мне надо было перехитрить, перестоять этого глухаря. Кто я такой, в конце концов, лесной человек или... Я по-всякому обзывал себя, чтобы разозлить. О том, что нужно убить глухаря, я забыл. Возможно, забыл и о том, кто я есть, для чего стою, согнувшись в три погибели. Ноги все глубже уходили в мох, под мхом ледяная вода. Солнце село, погасла заря.

Я вытащил одну ногу, иначе упал бы. Под ногой чавкнуло. Глухарь не ворохнулся. Я вытянул вперед руки и — по маленькому шажочку — куда-то побрел. Ориентиров не было никаких. Листки из блокнота, нанизанные мною на сучки, должно быть, поснимал мой леший-лесовичок. Он вел меня по мху и то окунал в мерзкую жижу по пуп, то кидал под ноги чурку, чтоб я чебурахнулся носом в грязь.

Табор с его ровно горящим жарким костром, булькающим на тагане чайником, съестными припасами, сухими шерстяными носками, охотничьими байками моего старшего товарища, был

где-то рядом. Но местность, по которой я брел, ничем не напоминала мне ту, какую я видел недавно. На исходе сил (вообще-то силы еще оставались, я знал, что мне их хватит до утра, и ничуть не боялся) я уперся в крутой склон песчаной гряды. Таких крутяков и не было тут. Зато под ногой стало твердо — и то хорошо. Я влез на вершину, надеясь сверху увидеть костер нашего бивака, но мой леший-лесовичок посчитал, что еще не время меня отпускать. Костра нигде не было видно. Ничего другого не оставалось, как разводить свой костер. Достал из кармана спички и сразу почувствовал неладное. Всего одна спичка болталась в пустом коробке. Куда делись спички? Ведь были... Лесовичок опять меня ставил в тупик, однако давал один шанс. Одну спичку...

Надо было еще раз решить, кто кого. Уж тут-то я постарался, надрал бересты, насобирал в потемках сухих веточек. С трепетом вычиркнул спичку — огонь занялся, побежал, родился сладкий берестяной дымок. Образовался круг света, в кругу полно дров.

Мне стало жарко и до того хорошо, что лучше и не бывает.

Ухал филин, пугал, но я не боялся его. На небе взошла луна. Что-то такое несуразное прокричал на болоте заяц: ба-ба-ба-ба! Это был влюбленный весенний заяц, он звал зайчиху взволнованным незаячьим голосом. Я спустился к подошве гряды и пил, как лось, из болота.

Сна не было ни в одном глазу. Я жил этой ночью, лесом, весной, слушал ночь, дышал ее свежестью, грелся у огня, и мысли приходили такие (жаль, не на чем их было записать), как в юности. Я думал, какое мне выпало счастье родиться вот в этом мире, где можно вдруг потеряться в лесу — и остаться один на один с мирозданием на целую ночь.

Первым оповестил о приближении рассвета, как и положено ему, своим хорканьем вальдшнеп. Проиграли на медных горнах зорю журавли. Кое-где забормотали, зачуфыркали тетерева (а ведь раньше, бывало, стон стоял). Затенькали болотные птахи. Из вершины сосны, под которой я ночевал, громко хлопая крыльями, вылетел глухарь. Зарю, что ли, проспал? Или решил пересидеть меня, как я вчера перестоял его собрата?

Заря запялась в полнеба — поди угадай, где восток, в каком именно месте изволит явиться красное солнышко. Нечистая сила еще поводила меня по болоту. Я даже благодарен ей: что может быть лучше, чем хрупать по заиндевевшей болотной корке, обирать с кочек сладкие клюквины-леденцы?

Стоило солнцу показать закраину, и мне стало ясно, где я. Нашлась и провешенная листками из блокнота дорожка к табору. И валежина, на которой я ждал глухаря... Вокруг нее

были набросаны спички: покуривал — чуть не остался на ночь в лесу без костра.

В то утро, помню, я дал себе клятву бросить курить. В последний раз закурил на таборе — он оказался тут же, под боком. Костер давал жару достаточно, чтобы греть пятки моему старшему товарищу. Он подремывал. Увидев меня, встряхнулся, принялся заваривать чай. По обычаю много жившего человека, он не стал задавать мне вопросов, а сам объяснил, где я был в эту ночь. То есть предложил наиболее вероятную, по его опыту, версию моих ночных приключений. «Наверное, близко глухари сели, вы не хотели их пугать, остались в току...» Я согласился с этой версией. Так оно, в общем, и было.

«А я не слышал ни одного глухаря,— сказал мой старший товарищ.— Должно быть, переместились куда-нибудь. Или кто-то до нас спугнул...»

Я-то знал, что глухари как были на Медвежьем току, так и есть и будут еще. Но я также знал и то, что мой старый товарищ состарился и нуждался в поводыре на току и надеялся на меня...

На обратной дороге с Медвежьего тока мы нарвали веток волчьего лыка, набрали сморчков.

В осеннем лесу, в сосновой гриве, исхоженной вдоль и поперек грибниками и ягодниками, высматривая во мху и в палой хвое грибы, я думал о глухарях, силой воображения воскрешал события той ночи, проигрывал разные варианты и ходы. Вот если бы я, например, заметил того глухаря, второго?.. А если б вернулся к тому, первому?..

Я думал о глухаре, и глухарь вдруг слетел с обобранной дочиста брусничной кочки, поднялся и пошел, далеко впереди себя неся маленькую голову с кровяной бровью.

Откуда он взялся, куда полетел, чем жив в безъягодных наших пригородных лесах? В последние годы мы с таким усердием накинулись на бруснику и клюкву, как будто изголодались. Почти ничего не оставили тетеревам с глухарями и рябчиками...

На просеку вместе со мной вышла лосиха. Я стал подвигаться к ней ближе. Она поджидала меня. В глазах ее не было страха, она не боялась меня. Мне захотелось погладить лосиху по холке, но так далеко наше с ней знакомство не зашло. Звери не допускают панибратства...

В осинниках я нашел-таки подосиновиков, в березняках — подберезовиков, на опушке бора, смыкающегося с травянистой мокрой луговиной, набрал маслят. Я не рыскал, не торопился,

не жадничал, не аукал, не привередничал, брал и горькухи, и сыроежки.

В местах, откуда родом моя мама, в Демянском районе Новгородской области, сыроежки зовут горянками. Моя мама брала горянки, умела их так засолить, что бывали они повкуснее волнушек. Сжаренные в сметане с луком, они хрустели на зубах, хруст отдавался трещанием за ушами. Я брал сыроежки и вспоминал о маме. Говорят, что счастливое время — детство. Или отрочество. Или юность. Но забывают, что источник счастья один у каждого человека. Во все его время счастье — это мама.

Я шел вдоль опушки, по левую руку от меня было песчано и сухо, по правую — мокро и хлюпко. И вот здесь-то, меж бором и лугом, оплетенный осокой, высокорослый, с коричневой шляпкой на толстом корне, вдруг мне явился белый гриб. Сначала я подумал, что это масленок-переросток. Но это был белый. И нечервивый. Мой леший — лесовичок-насмешник за что-то вознаградил меня щедрым подарком.

Грибы поздней осени скрыты, но если их хорошо поискать, то можно перемигнуться с зайцем, послушать гусиные речи, налюбоваться летящим над соснами глухарем, заглянуть в глаза лосихе.

Я вернулся в деревню с полной корзиной грибов. Грибы поздней осени особенно дороги, сладки, хрустят на зубах.

Станислав Грибанов

БЛАГОРОДНЫЙ КОРОЛЬ*

Лет этак десять назад мы, молодые политработники разных родов войск из разных уголков страны, съехались в столицу на курсы повышения квалификации. Рассчитаны эти курсы были на год, общежитие в академии, в которой и предстояло повысить свой идейно-теоретический уровень, нам не выделялось, так что, оформив, как положено, документы в строевом отделе, я отправился на поиски жилплощади. Квартирные толкучки в Москве в то время собирались в трех местах. Одна из них была на Соколе — за церковью Всех святых, другая в Банном переулке и еще — в ЦПКиО имени Горького.

Холостяку в поисках жилья проще: хозяевам-то с нашим братом никаких хлопот. И мне в этом плане, надо сказать, повезло. Я чуточку потолкался на Соколе в толпе за той церквухой, сошелся на встречном курсе с каким-то мрачным мужиком, который спросил, один ли я, и кивнул головой в сторону: «Отойдем, капитан. Поговорим...»

Так состоялось знакомство с хозяином квартиры, в которой предстояло жить целый год. Он при знакомстве, то ли для острастки, то ли в самом деле было так, сообщил, что он «сотрудник из комитета», что завербовался на Север — заработать деньгу перед пенсией, и, вручив мне ключи от квартиры, через пару дней укатил.

Я поселился на новом месте, страшно довольный быстрым и удачным для меня разрешением квартирной проблемы. Хотя плату за жилье хозяин заломил такую, будто сдавалась не девятиметровая комната, а царский дворец в Ливадии, но все приятели по курсу мне откровенно завидовали: «Без соседей! Отдельный вход! Из переулка Кремлевские звезды видать!..»

Что верно, то верно — дом стоял в центре города. Отдельный, не зависимый ни от кого вход, будь то в столице или в захолустном каком гарнизонишке, в жизни холостого человека, конечно, не такое уж второстепенное дело. Ну, а что касается

---

* © «Москва», 1981 г.

соседей — они, конечно, были. И хотя каждый сам по себе, то есть с таким же персональным входом в свою комнату, даже с персональной на две конфорки газовой плитой у дверей, однако общение с каждым в отдельности, а то и сразу со всеми — чаще по воскресеньям — гарантировалось. Длинный полутемный коридор, в котором с утра до ночи шла битва за бытие — варка, парка, кипячение пеленок и бог знает что еще, столь необходимое людям в жизни,— невольно объединил нас. Так что через неделю в общем коридоре меня знали все.

Понемногу узнавал соседей и я. В основном это были доживающие свой век любительницы чаев да сухариков — московские старушки, чьи более перспективные дети отселились кто куда и разъехались по кооперативным квартирам. Второй этаж дома занимали акселерирующие мальчики и девушки из циркового училища. Эти часами до обалдения наяривали во всю ивановскую записи входящих в моду битлов («Бони-М» еще не появились), отстукивали ритмы, кидали из рук в руки цветастые шарики, булавы, гнулись в мостиках калачами и упорно наращивали чугунными гантелями дельтовидные спинные мышцы и бицепсы размером с высотный гермошлем.

Да, я не сказал, что основная моя профессия — летчик. Точнее, летчик-истребитель. Уточнение это, к слову сказать, существенное. На бомбере тебе — и правый летчик, и левый, и штурман, и радист, и бортинженер, и стрелок кормовой, и стрелок турельный, еще какой-то подшассийный был. Целый цыганский табор. А истребитель — он один за всех, король воздуха! Словом, как говорили древние греки, тот не летчик, который вниз головой не летал.

Именно эта для кого-то, возможно, незначительная подробность и привела меня к знакомству с одним из соседей, в прошлом тоже пилотом-истребителем, знакомству, которое быстро переросло в задушевное приятельство и навсегда осталось в моем сердце.

...Помню так — по коридору клич:

— Митрич, вода не течет!

— Митрич, трубы гудят!— Дом-то был старый, никудышный. Разве что стены не ровня нынешним — пушкой не пробьешь.

Дмитрий Иванович Демьянов, так звали моего соседа, работал у нас слесарем-водопроводчиком. Числилась в его распоряжении бойлерная в подвале нашего дома. Там он пропадал порой целыми днями. Да и куда торопиться? Семьи у Митрича не было — все его родные в войну при бомбежке погибли. После женился как-то второй раз, но жизнь не получилась: характерами не сошлись. Так и остался бобылем.

А характер у Митрича, на мой взгляд, был очень даже покладистый. Починит кран, нарастит батарею для тепла, проложит прокладку, чтоб трубы не гудели,— и опять к себе, в бойлерную. Рублик Митричу за работу дадут — не откажется и поблагодарит. Но степенно, с достоинством.

Меня Митрич поначалу обучал из комнатухи той, с персональным входом, клопов выгонять. Ползли они в наш дом со всего города. Ну Митрич со знанием дела и просвещал, как действовать против клопов карбидом, керосином, гашеной известью. Так они, черти, с потолка работать начали. В отвесном пикировании да целыми-то дивизиями! Житья никакого!..

Помню пустую, с высоким потолком, комнату Митрича. На столе около сдвинутых к стене книг — водка, пиво, закуска самая простая — огурцы и селедка. За столом он, мой приятель. На широких плечах его белеет классически прекрасная голова с умными карими глазами, под которыми злое время сделало коричневые наплывы в виде мешков. Лет на двадцать пять старше меня, неповоротливый, великий, как слон: когда Митрич ступал, под его ногами пол трещал. А водку пил понятливо: сладко — со чмоком и горько до слез. Я Митричу не для водки, которую он пьет один,— я ему для разговора.

— Так знаешь ли, капитан, в каком ты нынче доме живешь?— спросит и, не дожидаясь ответа, примется рассказывать: — Княгиня одна великая в былую пору по каким-то причинам зачать не могла. И так и этак — а все ничего. Ну, тогда августейший супруг принял командирское решение: отгрохал монастырь, поселил сюда монашек, и пошли Христовы невесты молиться настоятельно и усердно, чтоб дело то полюбовное для благодетеля и бабы его благополучно завершилось. Так поэтому и называли монастырь — Зачатиевским. Потом уж, когда его в тридцатых годах сломали, монашки разбрелись кто куда, обитель заселили понаехавшие в столицу разные люди, а название — Зачатиевский — сохранилось за нашим переулком.

Митрич много знал подробностей из истории Москвы. Любил читать. О чем мы с ним только не говорили — о боге, о вере, о социализме — и так, о прочитанных книжках и событиях из жизни. Когда слово мое приходилось ему особенно по душе, он ладонью вытирал себе губы и с умилением целовал меня. Это случалось всего чаще в большом подпитии, когда глаза его наливались слезами.

Как-то Митрич спросил, а что я думаю о своих ровесниках, что радует в них, что тревожит. Я ответил, мол, не хочу прибегать к обобщениям, не мое это дело. Не люблю судить о людях с позиций идеального и безгрешного человека.

— А ты говори, как все грешные,— усмехнулся Митрич.

Ну, а что говорить-то?.. Каждый видит, что среди нас существуют еще очень коварные человеческие качества — зависть, эгоизм, лицемерие...

Так приблизительно начал я свое выступление перед Митричем в тот вечер. Он душевно слушал меня и предлагал выпить: «Ну что ты, со старым пилотом выпить не хочешь?..» На наших с Митричем разговорных вечерах я никогда не пил. Сколько он меня ни угощал, я всегда отказывался, а в тот вечер не отказался и почувствовал себя совсем свободным и смелым.

...Уже было далеко за полночь. Разговор вошел в вихревой круг — слова не договаривались, мысли перебивались. Табачная и винная гарь перехватывала горло. Тогда Митрич разбросал карты, и мы принялись играть с ним в подкидного дурака. В карты мне всегда везло. Выигрывал я и на этот раз: когда колода разошлась, на руках у меня оставались козырной туз и две шестерки, которые я придержал Митричу «на погоны». Но Митрич то ли ошибся, то ли решил проверить мою бдительность, только, помню, уверенно и невозмутимо покрыл моего туза пиковым королем.

— Э-а, старый пилот, так дело не пойдет,— заметил я.— Король-то у тебя хоть и козырной, да туза не бьет!— и отодвинул карту в сторону.

Митрич неожиданно замер, как-то странно посмотрел на меня и проговорил тихо, но твердо:

— Бьет. Еще как бьет!..

В тот вечер я услышал историю, которая глубоко и надолго запала в мою душу.

Весной сорок третьего эскадрилья капитана Демьянова стояла у деревни Тамаровки. В этом районе действовала группа немецких асов, окончивших школу высшего пилотажа и воздушного боя. Ярко-желтые «мессеры» их с черными крестами украшал впереди кабины черный пиковый туз — для острастки. И занимались они в основном свободной охотой.

Нельзя сказать, что наши летчики сторонились встреч с этими асами. Но наглость их порой обескураживала. Пронесется такой туз над аэродромом, бросит вымпел: выходи, мол, Иван, драться будем. Ну, что тут поделаешь?.. Каждый бы готов ринуться в бой, да ведь война — не концерт по заявкам радиослушателей. Эскадрилья Демьянова бесстрашно выполняла любые задания командования: и штурмовиков над полем боя прикрывала, и на сопровождение бомбардировщиков за линию фронта ходила, и разведку в интересах штаба соединения вела. А го-

няться за одинокими пиковыми тузами по их воле да настроению — самолюбие фрицев тешить?..

Правда, однажды Демьянов позволил своему заместителю поединок с немцем. Замкомэск взлетел, набрал над аэродромом метров пятьсот, а «мессер» выше был, разогнал скорость и на глазах у всех срезал нашего летчика.

Демьянова тогда строго наказали за нелепую историю. Бои с желтыми «мессершмиттами» разрешили вести лишь по необходимости. И уж так ли совпало — с гибелью замкомэска — или лопнула какая струна в душе человеческой, но вскоре после этого случая состоялся у Демьянова разговор с одним из пилотов, совсем непривычный для него и трудный.

Был в эскадрилье у Демьянова его тезка — Дмитрий Овсянников. Самый молодой среди бойцов, летчик этот прибыл к Демьянову недавно, но за веселый нрав и простодушие сразу же полюбился в эскадрилье, и звали его просто Дима. Иногда добавляли ласково и чуть иронически — Овсов. Дима Овсов.

Родом он был из города Николаева. До войны занимался там в музыкальной школе, очень любил петь и со своей неразлучной гитарой не расставался нигде — так за бронеспинкой кабины и перевозил ее с аэродрома на аэродром. Вечерами, когда пилоты собирались в землянке на отдых, вытягивали чужие от усталости и перегрузок ноги, кто-нибудь просил: «А ну, Дима Овсов, давай-ка «Любушку» или «Софочку»...» И Овсянников брал гитару и начинал петь. Но не меньше песен, которых знал он множество, любил Дмитрий просто рассказывать, просто вспоминать всякие мелочи, детали и подробности ушедшей в прошлое довоенной жизни.

«Вот у нас, Вася, в Николаеве...— обычно подсаживался он к кому-нибудь из пилотов, и тут шли чудеса про Николаев, роскошный голос, «Вавилон страстей»...— Южное солнце, Вася, родит светлые мысли и красивые жесты. И жил я, значит, считай, на берегу моря по завету Горация: лови день. Весь свой досуг, а досуга у меня, Вася, было двадцать четыре часа в сутки, делил между пивной и шатаньем по бульварам, бильярдом и пляжем.

Представь себе городской сад, музыка... Огромная яркая раковина эстрады полна музыкантами. Целые ряды изящно-тоненьких смычков, как ножки кузнечиков, четко сучат вверх, вниз, а черненький капельмейстер, тоже похожий на жучка, вставшего на задние лапки, то складывает, то распластывает свои стрекозиные крылышки, трепеща ими в воздухе»,— тут Овсянников уморительной пантомимой начинал изображать работу оркестра, и пилоты действительно слышали, как сладостно посвистывают флейты, взвизгивают и разбегаются скрипки,

а потом серьезная и грустная труба одиноко выводит красивые бархатные слова: «В парке Чаир распускаются розы...» Плывет и не уплывает по аллеям парка толпа. Слышится непрестанный шорох бесчисленных ног, говор, который то усиливается, нарастая, как волна, то вдруг падает и убегает куда-то в глубь темных аллей, чтобы сейчас же вернуться каскадом смеха, выкриков, звонких женских голосов...

«Я понимаю,— самокритично начинал укорять себя Овсянников,— все эти шатанья по паркам, пивным — явления негативные. Но не было бы, братцы, в нашей жизни негативных явлений, сколько же позитивных товарищей осталось бы без работы».

...Да, и на войне можно было забыть, что через несколько часов пехота, прикрываемая эскадрильей истребителей, прорвется в расположение сильно укрепленного немецкого гарнизона, что уже на подступах к нему будут валяться окровавленные трупы, что жизнь давно приняла странные, тревожные формы, что судьба каждого висит на волоске. Все можно забыть. Но как забыть, что на земле стоит теплый весенний день, что от полевого аэродрома тянет густым, пряным запахом земли и дышится так легко и свободно, как может дышаться только тихой и ясной весной.

Тем непонятней для капитана Демьянова стало после гибели замкомэска признание Овсянникова: «Скоро и мне конец...»

— Ты что, охренел?..— неуставным, несколько даже нецензурным языком спросил комэск, не так в данную минуту желая выяснить душевное состояние подчиненного, как выразить свое вполне определенное отношение к подобным заявлениям.

Но Овсянников спокойно и совсем даже не шутя, невесело повторил:

— Да уж это так, командир...— И, помолчав, добавил: — А чему удивляться? Ведь и в мирное время положение каждого человека — положение приговоренного к смертной казни.

— Стара штука!— буркнул Демьянов.

— Может, и стара. Да от этого не перестает быть правдой. Избитые мысли почти всегда бывают самыми правдивыми...— Голос Овсянникова против его воли тонко и ярко прорезало острое отчаяние.— Скоро из меня хо-о-роший лопух вырастет!

Что-то холодное и чужое встало внутри Демьянова.

— Хватит, Дмитрий! Нельзя так говорить! Все мы умрем когда-нибудь. Но не может такая сила страдания, любви и мысли сгинуть без следа, уйти в лопух...

Комэск Демьянов научился хорошо распознавать людей. Он знал, что на войне выявляется главное в человеке. В бою «расстояние» между действительным содержанием души и показным — наикратчайшее. И если бой до предела обостряет наши

инстинкты, то он же и обостряет и простейшие нравственные законы. Голос страха шепчет: каждый за себя. А голос совести и чести настаивает: через себя — для всех. Сколько их, внешне спокойных, тихих людей с мирными профессиями — музыкантов, бухгалтеров, учителей — проявили мужество и доблесть воинов! В судный свой час человеку многое открывается. Но ведь и человек открывается весь... «Кто знает, может, Дмитрию и настал этот час»,— рассуждал про себя Демьянов.

Следя за Овсянниковым, комэск видел, что он сделался рассеян, уединен, и тем настойчивее старался вывести его из этого состояния. Только Овсянникова все больше и больше охватывала тоска, он все острее и острее чувствовал, что для него все кончено. А от этого предчувствия иногда как будто все заволакивалось черным флером, становилось безразлично окружающее и хотелось уйти, пока не поздно, куда-нибудь, где трава, цветы и солнце — и нет людей. Там бы, в зеленой тишине, лечь на землю, прижаться к ней усталым телом, смотреть на яркие цветы, далекое небо, плакать от грусти и счастья и все жить и жить...

Однако Овсянников оставался в землянке, пилоты просили: «Давай, Дима, «Софочку». Он брал гитару и надрывно пел:

Пращвай, пращвай, подруга дарагавая!
Пращвай, пращвай, цэганская сэмэа...

Ну что поделаешь! Овсянников думал, что цыгане именно так поют. И пилоты слушали. Только однажды комэск Демьянов приказал:

— Отставить песню, Овсов! Садись-ка лучше — я тебя в дураках оставлю.

В землянке, отдававшей прохладой свежевырытой земли, сидели и лежали летчики, техники, мотористы. Потягивая в ладонях и передавая друг другу махорочные «бычки», вполголоса переговаривались:

— ...Она думает, я ничего не понимаю. Ну и написал ей, так, мол, и так, девка, выходи-ка замуж, пока не поздно...

— ...Говорю комэску: «У вас, командир, часы на десять минут спешат». А он мне: «Не оправдывайся, Сергеев. Сейчас по моим кировским Москва сверяется. Опоздал ты...»

— ...Только это я хотел пригласить ее на танец, а тут подскакивает тот прыщавый из хозвзвода...

— ...На хрена было с ним договор заключать? Фашист, он и есть фашист, мать их...

— ...А она пишет, так, мол, и так. Нужен мне твой Васька. Мало ли что люди насплетничают...

— ...А где же еще одна карта, командир?

— Какая карта? Нет у меня ничего.— Демьянов растопырил пальцы.— Вот, смотри-ка!

Слукавил Демьянов, в махорочном дыму закашлялся. Спрятал он пикового-то короля за голенище сапога. И когда раздалась команда на вылет, когда из землянки всех словно ветром выдуло, он уже хотел признаться и вдогонку кричал Овсянникову:

— Дмитрий! Дмитрий!..

Но моторы взревели, заглушая голоса людей. Тогда, уже в самолете, спешно застегнув лямки парашюта, Демьянов подозвал оружейницу Машу, вытащил из-за голенища эту карту и протянул прямо из кабины:

— Держи, Мария. Отдашь своему ненаглядному Овсову, когда прилетит... Да скажи, чтоб не зевал больше!

Девушка покраснела. В эскадрилье все уже давно знали о ее тайной любви к лейтенанту Овсянникову, и сейчас, чтобы скрыть неловкость от слов комэска, она опустила голову, глянула на карту и как бы между прочим заметила:

— Благородный король...

Через минуту эскадрилья Демьянова ушла на взлет.

Неподалеку от деревни Тамаровки штурмовики разносили гитлеровскую переправу.

— Алмазы! Алмазы!— летели в эфир их призывные голоса.— Прикройте!..

Демьянов вывел своих пилотов на цель, осмотрелся и сразу же понял хитрую уловку врага. Немцы всякий раз мудрили — не одно, так другое. Сейчас «мессершмитты» разделились на две группы. Одна вела огонь по нашим штурмовикам, мешая им бить по мосту. Другая ходила над переправой на высоте около тысячи метров, готовая броситься сверху на любого, кто вздумает поддержать штурмовиков.

— Маленькие, повнимательней! Худые сверху!..— предупредил Демьянов об опасности и ввел машину в пикирование.

Парами, растянувшись на удобную для работы дистанцию, эскадрилья последовала за комэском в атаку. С первого же захода от огня истребителей вспыхнули и упали неподалеку от переправы два «мессера». Немцы засуетились, отстав от штурмовиков, закрутили боевые развороты, виражи; начался привычный для Демьянова воздушный бой.

«В бою главное — видеть»,— любил повторять своим пилотам комэск Демьянов. И сам видел все. Видел, как с высоты свалилась на подмогу группе «мессеров» девятка желтоносих. Видел, как одна машина пристроилась за штурмовиком, и уже потянулись от нее огненные трассы.

— Горбатый, проскочи надо мной!— успел крикнуть Демья-

нов, и в тот момент, когда штурмовик, так и не разобравшись, в чем дело, почему вдруг краснозвездый истребитель, едва не ударив в лоб, отчаянно и дерзко нырнул под него, Демьянов уже за его хвостом расчетливо поддернул машину вверх и в упор из всех стволов полоснул по пиковому короткой очередью. Он загорелся, а комэск Демьянов продолжал работу — он уже летел на помощь Овсянникову. Заметив, как на его машину насели две гитлеровские и все круче прижимали ее к земле, передал по радио:

— Дима! Бери второго «шмитта». Бей из всех дудок! Я врежу пиковому!..

Но рассчитанный на земле, не однажды проверенный в воздухе, маневр Демьянова не удался на этот раз. «Мессершмитт» с пиковым тузом как-то нехотя, будто исподволь отвернул в сторону, потом вдруг резко перемахнул крен и бросился наперерез. Демьянов успел рассмотреть в кабине силуэт гитлеровца. Немец грозил ему кулаком. «Подлюга!..» — сквозь зубы прохрипел комэск и хотел было кинуться вдогонку, но «мессершмитт» крутой горкой скрылся за облаками.

— Алмазы! Благодарим за работу! — раскатилось в эфире. Это — штурмовики.

И вот уже впереди свой аэродром. Обстановка в районе его спокойная — посадка разрешена. Ведь горючее в машинах — на пределе.

— Маленькие, на посадку с ходу! — распорядился Демьянов и в хорошем настроении от удачного боевого вылета — переправу все-таки сокрушили! — весело добавил: — Дима, а тебя ждут. Зайди к Марусе. Разрешаю свидание в парке Чаир...

Но слова эти улетели в эфир безответно.

— Сорок пятый, как слышишь? — строго и по инструкции затребовал комэск на связь Овсянникова. — Сорок пятый!..

Сорок пятый молчал.

Приземлившись, Демьянов энергично срулил с посадочной полосы. Не останавливая мотора, быстро пробежал взглядом по своим машинам: «Один, два, три... пять... десятый самолет планирует, еще один за ним. Где последний?..»

Тягостное, гнетущее предчувствие беды, к которому за долгие месяцы войны так и не привык комэск Демьянов, заползло в душу. Что-то случилось с Овсянниковым... На запрос не ответил... Но ведь от переправы летели вместе...

И тут он вдруг заметил, как за леском, что приютился на окраине аэродрома, поднимался вверх, рос на глазах траурно-черный густой столб дыма. Демьянов знал: так горят на земле сбитые самолеты. А когда над аэродромом бреющим вихрем промчался тот самый «мессер» с пиковым тузом на фюзеляже,

который только что ушел от боя, комэск понял: Димы Овсянникова больше нет...

На малой высоте, ловко и умело маскируясь над плавнями, немцы уже не раз пытались подкараулить наши заходящие на посадку машины. Сбить самолет без скорости — дело простое, и вероломство врагу на этот раз удалось.

Вечером на ужине место за столом лейтенанта Овсянникова пустовало. Молча пилоты выпили за Дмитрия — помянули по-русски. Хоронить было нечего...

А утром Демьянов, никому не докладывая, не запрашивая на КП разрешения, взлетел один и сразу же взял курс в сторону гитлеровского аэродрома. Техник самолета видел, как комэск, стоя у плоскости, крупными буквами на клочке бумаги писал: «Фриц пиковый, гад! Взлетай. Пора рассчитаться!» Затем скрутил листок в трубочку, торопливо протолкнул его в алюминиевую фляжку — и был таков.

Вернулся Демьянов через двадцать минут. Скинув прямо в кабине парашют с промокшими от пота лямками, на вопрос техника самолета: «Ну как, командир?..» — скрестил руки, выругался горячо и отправился на КП. Техник понятливо перевел остальным: «Тузу крышка! Капут то есть...»

Тот бой был кратким эпизодом войны. Он не решил крупных военных задач, не понудил штабистов перекраивать карты, но он стал частью судьбы многих людей, живших тогда и еще не родившихся. В память о тех боях у летчика-истребителя Демьянова остался орден Александра Невского.

Сколько же всего боевых наград было у Митрича, спрашивать, мне казалось, как-то неловко. Я никогда не видел его при параде — с медалями, значками. Но вот «Невского» под фуфайкой Митрич носил постоянно. Раз, помню, в одну из очередных наших бесед, он сам заговорил о военных заслугах да сразу что-то сбился с мысли, насупился и резко оборвал разговор:

— Моя душа и так полна гордости и взлета! Потому что я знаю: на грешной, бесстыдной земле есть еще люди, которые идут за веру, честь...

...Два года назад Митрича не стало.

Борис Екимов

ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА*

1

На хуторе Ветютнев по-хорошему откосились. И, словно грибы-зеленухи, полезли на свет божий по дворам и забазьям копны и стожки, скирды и прикладки, веселя хозяйский глаз. Сено клали по-разному. Солонич и управляющий Арсентьич — высоким шеломистым стогом. Тарасовы за красотой не гнались, их квадратный тяжелый скирд был неуклюж, но мощен, как и сам хозяин, Гаврила Тарасов. Приблудный цыган Мишка тоже в этом году косил, и кривоватый стожок его красовался посреди цыганского двора.

Откосились. И посветлели, будто проредились, сады, просторнее сделались займища и обережная, над Ворчункой, полоса.

По утрам в бригадной конторе, на утреннем наряде, сделалось людно: собирались пораньше и не спешили уходить, перебирая хуторские сплетни да новости.

Николай Скуридин на наряд не ходил. Он пас молодняк и без указов знал, что ему делать. Нынче с утра он подле конюшни лошадей запрягал. А тут и наряд кончился, люди повалили из конторы, и управляющий Арсентьич вышел на крыльцо. Вышел, огляделся, увидел Скуридина и крикнул:

— Николай! Скуридин! Иди-ка сюда!

Николай особо с начальством разговаривать не любил и потому к крыльцу пришел не сразу.

— Ты чего, нынче не пасешь?— спросил управляющий.

— Зеленку буду подвозить.

Арсентьич глядел, глядел на Николая, а потом широко улыбнулся и сказал:

— Пляши.

— Чего?— недоуменно ответил Николай.

— Пляши, говорю!— повторил управляющий.

И все люди, что вокруг находились, поняли: дело идет о добром.

Поняли и притихли, слушая.

Николай ничего не понимал. Ему было неловко, и он повгорил, досадуя:

— Ну, чего?

— Чего, чего... Расчевокался...— влез в разговор дружок его Алешка.— Пляши, а там разберемся.

Кто-то засмеялся, и управляющий решил не тянуть. Он огкашлялся, построжел и заговорил громко, чтобы все слышали:

— Правление колхоза награждает Скуридина Николая путевкой в санаторий для лечения и отдыха! Путевкой на юг! Бесплатно!— добавил он.

Все разом смолкли, стояли замерев минуту-другую, стараясь понять, не шутит ли управляющий.

Управляющий не шутил. И тогда, тоже разом, прошло остолбенение, развязались языки:

— На курорты...

— Задарма...

— Вот это везет! Я ж говорил, пляши!

Лишь управляющий да Николай стояли теперь молча. Арсентьич улыбался, довольный. Эту путевку добыл он, и, надо сказать, совершенно случайно. Вчера ездил в правление и к шурину зашел, к главбуху. Шурин и сказал ему о путевке, которую для себя добывал. Но теперь она ему разонравилась.

— Желудочный санаторий...— жаловался он.— Будут какой-нибудь отравой кормить. Может, ты поедешь?

Арсентьич засмеялся:

— Чего я поеду? Да в такое время. Кто отпустит?— И тут он вспомнил про Николая Скуридина, который по весне месяц в больнице отвалялся. У него язва желудка была, и его уже резали, а теперь язва снова начиналась. Он вспомнил о Николае и сказал шурину:

— Отдай нам путевку, на отделение, Скуридину Николаю, скотнику. Хороший мужик, язвенник. Пусть подлечится. Да от жены отдохнет, от тещи.

— Скуридин? Николай? Это Фиска его жена?— вспомнил шурин.— Такому надо... Забирай. Только чтоб втихаря. Договорись с профсоюзом.

С профсоюзом Арсентьич договорился. И вот теперь стоял на крыльце, довольный произведенным впечатлением.

Но Николай не радовался и не удивлялся. Он поглядел на Арсентьича, поглядел и проговорил с досадою:

— Так... Брехни тачают... Курорты...— И, повернувшись, пошел к арбе и коням.

И большого труда стоило Николая вернуть. И только лишь в кабинете управляющего, когда под нос Николаю сунули розо-

вую, лощеной бумаги, путевку, лишь тогда он поверил. Поверил, но не особо обрадовался.

— Чего это я...— сказал он.— Чего поеду? Людей смешить.

— А чего их смешить? Поедешь, подлечишься.

— Нет,— решительно отказался Николай.— Нечего там делать. Людей смешить.

— Чего ты заладил?— разозлился управляющий.— Людей смешить, людей смешить...— Вроде тебя невесть куда посылают. Курорт, понимаешь, курорт. Юг, море, врачи там. Люди за такую путевку знаешь что отдают? А тебе бесплатно. У нас их сроду и не было, таких путевок. Раз в жизни попала, хватай и поезжай.

— Один съездил,— отводя глаза в сторону, сказал Николай.

Это был тонкий намек. В прошлом году тракторист Митька Тегелешкин путешествовал по городам-героям. Тоже бесплатно путевку дали, в правлении. А пока он ездил, его жена Дуся управляющего принимала.

Арсентьич все понял.

— Ну, сравнил... То же туристическая. А тебя лечить будут. Ты весной в больнице лежал? Вот доктора об тебе и побеспокоились,— соврал управляющий.— Да еще бесплатно. Ты же больной человек, кожа да кости остались. Спасибо надо говорить, что об тебе заботятся. А ты еще...— в сердцах Арсентьич даже отвернулся и вытащил папиросы.

Задымили вместе. Задымили, и Николай закашлялся. Кашель его был тяжелый, и что-то клокотало там, внутри.

— Застудился,— пожаловался он.

— Застудился...— головой качая, повторил управляющий и отвернулся, не хотел глядеть.

Смотреть на Николая и вправду было несладко: черноликий, худой, почти беззубый, какой-то сгорбленный, с усыхающим телом — в сорок-то лет.

— Да я, Арсентьич, чего...— начал сдаваться Николай.— Я говорю — страшно. В отпуске-то никогда не был, а тут курорты. Да у нас никто и не ездил на эти курорты. Люди смеяться будут.

— Ну да. Вот пьянствовать вы не боитесь. Сутки в райцентре сидеть — это ничего. А на курорт поехать, подлечиться... В общем, чего тебя уговаривать. Не хочешь — верну путевку. Сейчас вот позвоню по телефону,— потянулся он к трубке.

Николай вздохнул.

— Чего вздыхаешь? Сена накосил?

— Накосил. В копнах.

— Вот свози и собирайся. Поедешь, там профессора сразу тебя возьмут в оборот. Поглядят, пощупают, назначат лечение.

Будешь режим соблюдать, принимать лекарства. Питание усиленное, ванны, уколы, новейшие методы лечения. Не то что в наших больницах. Поселят тебя во дворце, мрамор вокруг, кипарисы, море синее.

Управляющий умел говорить. Он нарисовал такую сказочную картину, что Николай поневоле заслушался. А дослушав, снова тяжко вздохнул.

— Мне оно, конечно, и манится,— сказал он,— надо бы подлечиться. Да как же скотина, скотину не кинешь?

— Найдем кого-нибудь на подмену.

— Кого найдешь... И привесы сейчас пойдут, заработок терять.

Управляющий задумался.

— Хрен с ними, с привесами. О себе надо подумать. Хотя постой...— вдруг нашелся он.— Зятек твой, зятек преподобный. Пускай он твой гурт берет и пасет. Вот и деньги не потеряете. Он же пас скотину? Сможет?

— Смочь-то сможет...— сказал Николай.

Управляющий понял его правильно и враз построжел.

— А вот пусть попробует откажется. Никакого дома не дам,— пригрозил он.— Не получит. Скажи, пусть зайдет. Будет пасти, никуда не денется.

— Ладно,— ответил Николай.— Поглядим.

— И глядеть нечего, давай собирайся. Поезжай, лечись. Бесплатная путевка.

— А дорога?

— Ну, ты больно много хочешь. И так за путевку колхоз сто пятьдесят платит. Так что на дорогу разорись. Туда рублей пятнадцать да обратно.

— С собой немного взять,— добавил Николай.

— Ну и с собой возьмешь рублей двадцать. Больше зачем? Кормить будут, на всем готовом. Ты же не пьянствовать едешь, не гулять? Тебе ж лечиться надо.

— Неплохо бы подлечиться,— потирая впалый живот и морщась, сказал Николай.

— Болит?

— Не каждеденно, а как схватит...

— Вот пить надо меньше да курить, а вылечиться по-настоящему. Ты не перебирай, а езжай и лечись, коли лафа подвалила. Там тебя на ноги поставят. Приедешь во какой...— надул щеки и расправил плечи управляющий.

Николай на него поглядел, усмехнулся. И так нехороша и даже жутковата была эта усмешка, ощерившая темные, прокуренные зубы, так нехороша была, что управляющий отвел глаза и сказал твердо:

— Дурака не валяй, собирайся. А зятя пришли, если кобызиться начнет.

Николай вышел из конторы. Управляющий через окно проводил его взглядом и решил твердо: «Поедет. Не я буду, поедет. Саму Фиску заставлю пасти, Фиску вместе с тещей. Но Николай в санатории будет».

А скорая на помин Фиска, жена Николая, уже спешила к конторе. И, как всегда, с матерью. Фиске было сорок лет, матери подпирало к шестидесяти, но с годами они становились похожими друг на друга, словно сестры. Обе красные, налитые, грудастые, тонконогие; и ходили-то они одинаково, по-солдатски махая руками, словно маршировали.

Мать осталась сторожить на крыльце, Фиска вошла к Арсентьичу и затрубила:

— Здорово живешь, куманек! Не болеешь?

— Да слава богу,— ответил Арсентьич, удивляясь, как быстро по хутору вести несутся.

— А кума Лелька? Чего-то я ее не вижу.

Ни родством, ни свойством управляющий с Фиской не был связан. Но она откуда-то выискала седьмую воду на киселе и упорно звала Арсентьича кумом.

— А я к тебе, кум, с бедой. Не прогонишь?

— Жалься,— коротко ответил Арсентьич.

— Люди говорят, моему курорты дали. Взаправду?

— Не сбрехали. А ты, значит, поблагодарить пришла?

— Не шути, кум,— обиженно прогудела Фиска.

— Я не шучу. Мужик у тебя занужоный. Мослаки торчат, хоть торбу вешай.

— Он не доедет,— уверенно сказала Фиска.— На станции напьется и под поезд попадет. Детву осиротит. А вот мы так раскладаем: ежли начальство об нем горится, нехай эти деньги наличностью отдадут, прямо в руки. Вот мы его и подлечим. Лекарства какие прикажут — возьмем. Будет лечиться при нас, при своем доме. Так-то лучше, чем в какую-то турунду ехать.

— Какими деньгами?— удивился Арсентьич.— Вы что? Это же путевка, понимаешь? Путевка. Ее уже оплатили.

— Нехай назад деньги возвернут.

— Кто их вернет, в банк перечислили за путевку. Понимаешь? На путевку. На лечение. Профсоюз дал.

— А ты бы, кум, подсказал,— с обидой вставила Фиска.— Деньгами, мол, им. У них детвы куча, сколь расходов...

— На работу надо ходить,— сказал управляющий.— На работу. А ты со своей матерью уж забыла, в какой стороне у нас поля.

— Ты меня, кум, не упрекай,— обиженно засопатилась Фиска.— Сколь забот у меня, сколь детвы...

— На детей не вали,— отмахнулся Арсентьич.— Детей у тебя было и есть на кого кинуть. Баба Феша, царствие небесное... Да вы вдвоем с матерью сидели, кого высиживали? А теперь уж вовсе полон двор хозяев. Ты, да мать, да Нюська, да зятек ваш преподобный. Вон на других баб погляди. У Шурки Масеихи — четверо, Пелагея Чертихина пятерых подняла и всю жизнь на ферме. Скажи уж, не привыкла работать, вот и все.

— А кто же, куманек, тружается?— деланно всхлипнула Фиска.— На ком дом стоит?

— На Николае,— твердо ответил «куманек».

— На пьянчуге на этом?

— Да не такой уж он и пьянчуга,— заступился Арсентьич.— А работник золотой. Привесы у него самые высокие. Вас всех этим и содержит.

— Содержатель...— брезгливо процедила Фиска.

— А что? Может, поглядим, сколь он в дом приносит, а? И ведь он их не пропивает, домой несет. Летом по триста, по четыреста рублей заколачивает. Кормит вас и поит,— наставительно произнес Арсентьич.— А вы ему цены не знаете! Не содержите, как надо. Вот у него и язва, и высох на балык. Не дай бог что случится, тогда запоете: заборона ты наша неоцененная. Тогда будет пост — прижимай хвост.

— Скажешь, куманек... Да мы, может, поболе него...— хитро прищурилась Фиска.— Руки от вязания платков гудят. Как на точиле сидим.

— Платки... Я вот прикручу вас скоро с платками да с козами с вашими. И вот что, ты мне голову не забивай. А собирай мужика и спасибо говори. Пусть едет лечиться. А зять нехай пасет, а то он у вас устроился, как сом на икре. Нехай пасет, иначе никакой квартиры не получит. Баглай чертов... Попасет, и привесы делить не надо, все по-родственному, в один карман. Поняла?

— Да я тебя, кум, поняла, а вот ты мому горю...— пустила слезу Фиска.— Злуешь... А я мать-герой. Шестерых родила да на ноги поставила. А вы прислухаться ко мне не хотите. Придется Терешковой отписать, нехай заступится. Я в своем праве...

Это была вечная Фискина песня: когда ее прижимали, «Терешковой отпишу...» — грозилась она.

С тем Фиска и нынче поднялась, с тем и ушла. Глядя ей вслед, Арсентьич проговорил, досадуя:

— Лукавая сила... Ох, лукавая сила.

Так, в давние теперь времена, звал Фиску и ее мать покойный отец Николая. Николай был последним, младшим сыном в семье. Он неплохо учился в школе, в сельхозтехникум поступил, закончил его и стал работать в соседнем районе. Отец, старея, позвал его к родному дому. Николай послушался и приехал. И скоро спознался с Фиской. В ту, уже не первую свою, весну цвела Фиска маковым цветом. И не девичьей родниковой свежестью привлекала, а молодым бабьим медом. Крутлолицая, белозубая, со всех сторон налитая, жгла она по хутору, посверкивая икрами...

Жила Фиска с матерью, бабкой и сестрой Шурой. И семья эта была странная: словно две чужие воды сливались, но не смешивались в тесной мазанке на краю хутора. Баба Феша была золотым человеком. Работящая, совестливая, она тянула на себе всю семью. Под ее рукой и младшая, Шура, росла вся в бабку. А рядом, в веселой свадьбе, кружились Фиска с матерью. Гнали они самогон, что ни день затевали гулянки, ночных гостей принимали — словом, жили «по-царски».

Тихомолком, не поднимая совестливых глаз на хуторян, тянула свою лямку баба Феша. Подросток Шура, как могла, помогала ей. Мать же с другой дочерью жили весело. И под веселую руку нередко бивали они бабу Фешу, прогоняя ее. И молчальницу Шуру — тоже. Бабка с внучкой день-другой спасались в закутках или по соседям, потом возвращались в гнездо. Так и текла жизнь.

В эту пору и появился на хуторе Николай. Появился и чуть не в первый день встретился с Фиской. И хоть был он уже не мальчиком, но такого жгучего бабьего зелья отведал впервые. Отведал и не мог оторваться. И закружилась бедная Николаева голова. И теперь лишь утренняя заря прогоняла его на отцовский баз.

Отец с матерью и родня почуяли неладное. Фиска всему хутору хвалилась предбудущей свадьбой. А каково это было слышать отцу? Разве такую судьбу готовил он своему младшенькому, светлой голове? И, почуяв недоброе, родные на все лады принялись ругать Николая, славить и срамить Фиску.

— Она враз растопорилась, а ты и рад!— шумел отец.

— Чему радоваться, баба-то мятая!— вторила мать.

И вся остальная родня в голос принималась считать и счесть не могла Фискиных полюбовников.

Николай слушал и молчал, но делал по-своему. Как знать, может, в свое время он и отвалился бы от Фиски, но отец был крутехонек. Он сказал раз, другой, а потом взял да и не пустил Николая в дом.

Нашла коса на камень. Николай из того же был теста леплен,

и горького казачьего перца в нем было не занимать. Он взбеленился, плюнул и ушел жить в Фискину семью.

Фиска была бабой не промах. Она тут же Николаю первого сына родила, за ним — другого. И пошла, узелок за узлом, вязаться новая жизнь. Отец вроде простил Николая. И уже с первенцем иногда приходили молодые в родительский дом. Но ничего не заплывало: ни прежнее Фискино развеселое житье, ни нынешние не больно тайные прегрешенья, наперекосяк потянувшие жизненную борозду сына. Да и Николаева память была не в овечий хвост. Не забыл он, как телешом уходил с родного база.

И жил Николай Скуридин хоть и в родном хуторе, но одиноко. И теперь, когда свалилась ему на голову эта путевка, потолковать и посоветоваться было не с кем.

Домой он воротился к обеду. Фиска с матерью его издали углядели и встретили посреди двора.

— Курортник прибыл,— объявила теща.— Встречай желанного.

Фиска сразу принялась мужу вычитывать:

— Гляди не удумай... Свово ума нет, слухай добрых людей. Не удумай эти курорты брать, откажись. Это все неспроста, это они дурака пашли, а потом денежку все одно вытащат. Абы на кукан посадить, потом не сорвешься. Скажут, ездил, прокатал, плати...

— И возьмут,— подтвердила теща.— Вычтут, и не отопрешься. На что жить будем?

— Чего ему... Его на побег потянуло. Об семье голова не болит. Абы увеяться. А здеся такие дела заходят... С одним сеном!— поднялась жена.

— Чего тебе сено? В копнах — все равно что в руках. Долго его свезти?

— А дрова? Ты об дровах подумал? А уголь... Кизяками собираешься топить? А базы стоят разоренные, назьмом заросли. Погреб нечищенный. Картошку ты думаешь подбивать?

Фиска пошла и пошла читать, а теща ей помогала. Тут вбежали на баз младшенькие двойнята — Ваняшка и Маняшка — и стали отца теребить:

— Папка, а папк... Тебя паровоз задавит, да? Пьянова?

Николай осуждающе головой покачал, сказал тихо:

— Чего же вы делаете? Детей-то чему учите?

— Нехай! Нехай правду знают!— входила в раж Фиска, наливаясь свекольной алостью.— Нехай знают, как отец их кидает, гулюшкой на гульбу летит, об них не думает.

Переспорить, а тем более перекричать или даже переслушать

баб было невозможно. И Николай ушел в летнюю кухню и заперся в ней. Эта кухонька была для него доброй крепостью.

Из двух вод, что текли в жениной родне, Николай посередке был. Он полюбил гульбу, самогоночку, но скуридинская добрая кровь не позволяла ему забывать о работе. Правда, в упряжи зоотехника он недолго тянул — выгнали. Но в скотниках работал и работал. Работал — и поставили новый дом. Купили его в колхозе, в рассрочку. Хороший дом, просторный. А во дворе, из всяких остатков, слепили летнюю стряпку. В этой кухоньке и спасался Николай.

Бабы лишь первое время Николая не трогали. Потом обгалтались друг подле друга, пообвыклись, дошел и его черед. Спасибо кухоньке, ее добрым стенам, которые берегли хозяина зимой и летом. Тут и хлебец у него сохранялся, сухарики на всякий случай, солichка да шмат сала.

Баба Феша живая была, та Николая любила. Она всегда ему, таясь, щей приносила и картошки, когда его выгоняли.

Николай хлеба пожевал, попил воды и прилег отдохнуть. За стеной, на базу, все шумели бабы. А у него болел нынче с утра желудок, тягуче болел, не переставая. Николай только было задремал, как застучали в окно. Он не отозвался на стук, думая, что это бабам неймется. Но то были не жена с тещей, а Петро, напарник, с которым они скотину стерегли.

Николай вышел во двор.

— Ты не попасешься с обеда один?— попросил Петро.— Кум с кумой приехали, от Василия возвертаются. Надо ж посидеть...

— Ладно,— сразу же согласился Николай.— Ты на Ваське прибег? Ну, оставляй его. Как скотина? Не бзыкалась? Хуторские вон не углядели...

Они недолго поговорили, и Петро ушел. Николай вернулся в кухню, начал собираться.

День стоял жаркий, белые облака лениво шли по небу, изредка заслоняя солнце. Спасибо, малый ветерок тянул. И хоть по нынешнему июньскому дню бзыкала скотина, овод ее донимал, хуторское стадо уже к одиннадцати пригнали, удержать не могли, но то пастухи были виноваты. А Николай знал, что скотина будет пастись, только нужно не в низине ее держать, не в лугах, а гнать против ветра, по-над Ворчункой, краем Батякина кургана, и туда, дальше и дальше, к Дуванной балке, к Россоши.

Перед уходом не грех было и горячего похлебать, но после всей этой ругани не хотелось идти в дом и просить еды. Да могли и не дать — вернее всего, а послать подальше. И Николай отрезал черствого хлеба да сала, в бутылку воды нацедил и пошел.

Болезненно-худой, он сутуло горбился, по земле ходил, приво-

лакивая тяжелые рыжие сапоги; старый пиджак висел на нем просторно. Но на коня Николай взлетал легко и сидел в седле ловко. Сухое тело его роднилось с конем. «Доброго казака и под дерюжкой видать»,— говаривали старые люди, глядя на Николая.

От базов к запруде Николай гнал скотину почти наметом.

— Геть, геть!— покрикивал он.— Геть, геть!

И две доярки, Клавдия да Настюха Чепурины, попавшие в гурт, принялись ругать его.

— Чертяка ошеломленный!

— Добрые люди полуднуют, а на него бзык напал...

Иные добрые люди и вправду любили пополудновать. Уж, бывало, солнце к вечеру, а колхозная скотина на стойле дурняком орет, голосит бедолажная. Пасли и так. Но Николай скотину жалел и зимой ли, летом ли ходил за нею по-доброму.

За речкой Ворчункой, в ее займище, лежали выпасы. Когда-то весь этот луг по весне заливался, вода слитком стояла до самой Ярыженской горы. И трава здесь была богатая. В такую вот пору не земля лежала, а высокая цветистая зыбь. Теперь все ушло. Большая часть луга ходила в запашке. А на оставшемся выпасе теснились четыре стада колхозного скота, стадо хозяйских коров, да отдельно телята, да козья орда. И еще соседнего Ярыженского хутора скотина кормилась. Не выпас получался, а чистая толчея.

Сейчас луговина была свободна, но Николай не стал на нее заворачивать. Там, в низине, в парном июньском затишке, звенели желтокрылые оводы. И, чуя их, скотина задирала хвосты, тревожно помыкивала, готовясь к безудержному побегу. Николай свернул влево, к Батякину кургану, и повел бычков против слабого, но ветерка.

Скотина успокаивалась, начинала пастись. Николай распустил поводья и закурил, расслабляясь в седле. Гурт понемногу растягивался по склону кургана. Два красных бычка, отбившись в сторону, лезли на курган. Николай звал их в рифму — Петро с Митром. Бычки поднимались вверх, на пастуха покашиваясь. Они были мудрые и знали, что за Батякиным курганом уже наливается сладким молоком зеленый ячмень. Мудрые, да не очень, потому что ячмень рос с сурепкой, от которой губилась скотина.

Бычки упрямо тянули в сторону и вверх, а за ними другие пошли. Николай поскакал заворачивать.

— Геть! Геть! Петро с Митром!— зашумел он.— Счас на мясо сдам!

И, заслышав эту — самую страшную для себя—угрозу, бычки повернули, даже трусцой поддали, смешно закидывая на стороны задние ноги.

Гурт снова пошел ровно, против ветра; ровно пошел, но нужно было глядеть да глядеть. Справа, за низинкой, заманчиво зеленела люцерна. А в самой низинке куриная слепота желтела. Молодняк, дурной, жрал что ни попадя. И каждый год, особенно в эту пору, был падеж.

Черная туча скворцов шумно пронеслась, сделав круг, и опустилась среди стада. Скворцы прилетели на легкий корм: из-под ног скотины взлетали кузнечики и прочая шимара, и птицы не зевали.

Правда, времена сейчас пошли не больно укормистые. Июньская степь лежала обморочно-тихой. Лишь потревоженный лунь кружил над пересохшей лощиной да жаворонок звонил — и все. А когда-то, в далеком детстве, в дневную ли, в ночную ли пору, неумолчно стрекотала степь звонкоголосым оркестром малых своих жильцов: кузнечиков, сверчков, кобылок. И от людских шагов яркая радуга вспыхивала над травой — радуга из разноцветных крыльев. А сколько птицы было... Ребятишками кобчиков из гнезд вынимали и выкармливали. Кузнечиками, потом ящерками. Сколько ящерок было... Грелись они на солнышке, прикрыв пленою глаза. Теперь нет ни ящерок, ни кузнечиков, ни птиц. Перевелись.

Глухо, пусто в полуденной степи. Вот в детстве...

Почему так сладко поминать о детстве? О всяком, даже голодном и босом, с заплатами на штанах. Ну что, что было в нем? И хлеба не вволю, а ложка черного паточного меда — какая сладость! Пастушество с малых лет, огромный огород и картошка и колхозная работа смальства — и пот, и желудевые лепешки, и недетская усталость.

Но как сладко вспоминать дым костра, теплый бархат дорожной пыли, светлые воды Ворчунки. И вечерний сон, в который падаешь, словно в омут, и летишь, летишь... Светлый омут мальчишеских лет...

Николай всегда с какой-то затаенной болью думал о детстве. Может быть, потому, что жизнь его шла не очень-то ладно: забурунная семья, потом болезнь, выпивки — все не очень подоброму. И потому детство виделось ему таким вот белым облачком, что висело сейчас в синеве, над Батякиным курганом.

Нынче думалось об ином. На легкое облачко глядя, на его белизну среди летней сини, Николай думал о путевке на юг. Он думал о курорте с усмешкой, не веря в него. Да и как было всерьез поверить, если за долгую жизнь он и в отпуске всего раза два побывал, давным-давно. А потом все работал. Брал осенью, на Октябрьские праздники, неделю, чтобы погулять вволю, не оглядываясь. А отгуляв, снова выходил на работу. Семью нужно было кормить.

А теперь вот курорт. Он думал о нем, как о баловстве, думал и представлял ту картину, которую рисовал управляющий: белый дворец с колоннами, зелень и синее море. Сказочным веяло от таких картин, неправдашним, но думать о них хотелось. И к тому же путевка лежала в кармане. Николай не вынимал ее, но легко трогал через ткань пиджака и слышал, как нежно хрустит лощеная бумага. И тотчас еще ясней виделся белый дворец и почему-то веранда с плетеными креслами-качалками. Непонятно почему, но Николай ясно увидел эти белые, легкие плетеные креслица. И в одном из них, развалясь, сидел он, Николай Скуридин. Сытенький, белокожий и при соломенной шляпе. Он был не похож на себя всегдашнего, но это был он.

Целый месяц ничего не делать, даже по домашности. Ешь да спи. Тут и без лечения поправишься. А еще доктора, лекарства. Даже после операции и в другой раз, когда приступ скрутил, из больницы Николай приходил домой посвежевшим. Там кормили и работать не нужно было. А теперь он поедет не с приступом, и боль не будет его донимать. А еще профессора помогут, вылечат. И Николай здоровым на хутор вернется. А тогда...

А уж тогда вся жизнь, может, потечет по-иному. Он бросит пьянствовать. Зачем это? Для чего? Пьянка ведь губит людей. Ведь он, Николай, когда-то зоотехником работал. Вон и Петро Солоничев, молодой парень, институт кончил, главным механиком колхоза был. А теперь? Лешка Растокин тоже техникум кончал. Михаил Инякин... Все в скотниках.

А тот человек, который виделся Николаю на просторной курортной веранде, тот, конечно, не будет и не может пьянствовать. Он поведет добрую жизнь. И тогда можно вынуть из сундука диплом и снова пойти зоотехником или фермой заведовать. На своем хуторе или в Большую Головку перейти. Там комплекс «куриный» строят, на три тысячи голов,— специалисты нужны будут. Наверно, лучше перейти на новое место. Здесь все друзья, вместе жили и пили,— как с них спросишь? А там новые люди. И квартиру в Головке дадут, колхозный дом. Этот можно дочке оставить с зятем, а самим в Головку переехать. Так будет лучше...

Июньский полдень, всклянь налитый солнечным жаром, томил духотой. Над краем земли величавыми соборами поднимались светлые облака. А над хутором и окрест чистое небо лежало.

Николай сидел на лошади, как всегда, в рубахе и пиджаке. Сухое тело его не боялось солнца. Лишь губы спекались. Но воды он не пил, знал, что без толку. Когда жива была баба Феша, она Николаю взвар варила из терна и кислиц. Такое питье помогало. И для желудка легче.

Николай пожевал хлебца и тронул коня. Пора было подворачивать скотину к Дуванной балке,— на выходе из нее, под деревьями, на ветерке, бычки полежат, и попоить их там можно. И тогда уж пасти до ночи.

Пить особо не хотелось, но сохла глотка, и Николай наметом спустился в низину, поискал там и нашел кислицу, несколько листиков сорвал и начал жевать. Скулы свело, но стало легче. Хотя голова гудела от полуденного жара. И резало глаза. Особенно если далеко глядеть.

А там вдали, над молодым хлебным полем, зыбилось и трепетало марево; и желтоватая плоть его обманно казала глазу какие-то сказочные дворцы. Хотелось глядеть на них и глядеть. Глядеть и думать о санатории, о лечении, о будущей доброй жизни.

2

Жена управляющего Лелька, невидная, худенькая, с легкой рябиной на лице, в делах житейских управляла мудрее мужа. Арсентьич пришел в зятья из Дурновки, а Лелька была коренная ветютневская из Калимановых, чью фамилию носила половина хутора. Старший брат Калимановых, Василий, работал в колхозе главбухом. И Лельку на хуторе уважали, даже побаивались. Лисий ум был у бабы.

И потому к Николаевой жене да теще, которые уперлись и никак не хотели отпускать мужика на курорт, отправилась Лелька. Она любила такие походы, с дипломатией.

Подворье Николая Скуридина лежало на краю хутора, у дороги, против кладбища. И Лелька все сделала по-умному: черным тюлевым платком голову покрыла, недорогих конфет да пряников в узелок завернула и пошла.

На кладбище она пробыла недолго, лишь для прилику, и прямым ходом направилась к Скуридиным. Скуридинские бабы, как всегда, находились дома, Фиска платок вязала, в тени, возле хаты, мать стирала.

— Здорово живете... Можно зайти?— от калитки запела Лелька.

И в тон ей, но нутряным трубным голосом Фиска, поднимаясь навстречу, завела:

— Да дорогой у нас гостечек в кои веки... кума Елена Матвеевна... Мама, погляпь, кто пришел! Кого привел господь...

Они расцеловались посреди двора, припевая и любуясь друг другом, словно век не виделись и сильно наскучали.

— К папе на могилку ходила,— скорбно поджимая губы, рассказывала Лелька.— Нынечка уж семь лет, а вроде вчера...

— Не видя, не видя жизнь летит...— вторила Фиска.— Да как скоро, да как быстро, не углядишь.

А мать ее в ту пору, оставив корыто, готовила на стол.

— Сами тут помяните. И ребятишки... конфеты тут, пряники... Нехай помянут папу,— развязывая узелок, говорила Лелька.

Хозяйское угощение она приняла. Как и положено, поотнекивалась, но стакашек опорожнила. И начались обычные бабьи беседы.

Из дома вышла старшая дочь, Нюська, с малым дитем. Вышла, поздоровалась и ушла, потому что ребенок кричал беспрерывно.

— Никудовое дите,— пожаловалась Фиска.— Ревет и ревет. Может, у него криксы? Бабку Чуриху либо позвать?

Поговорили о старшем хозяйском сыне, который в армии служил. Еще выпили и на здоровье жаловаться принялись. Вот тут-то Лелька свое не упустила.

— И замстило мне, кума,— завела она.— Не спрошу, когда ваш Николай-то едет. Вишь, какое вам уважение, на курорты, да бесплатно. Мой Арсентьич какой год подает заявление, край надо ехать, радикулит замучил, а не дают. На тот день Василий наш надъезжал и опять, говорит, ничего не будет. В первую очередь им путевки. Многодетным семьям, какие здоровье себе с детьми подорвали.

Фиска с матерью сидели рядом на одной лавке; и при этих словах они обе замерли как по команде, потом, тоже разом, переглянулись и снова застыли, не сводя с гостьи глаз.

— А люди-то, люди... Глякося, до чего обесстыдились!— И, как всегда это у женщин бывает в особо доверительных беседах, Лелька нагнулась к столу и заговорила свистящим шепотом:— Манька-то Тарасова давеча прибегала в контору, к моему... и присучилась, и присучилась, прям на приступ идет... Почему Скуридину Николаю курорты дали, а моему нет. Сулится жалобу подать, почему обошли. Гаврила — механизатор, мол, заслуженный, ударник, а Скуридин, говорит, выпивает. Прям на ломок идет, отдайте курорты моему Гавриле... Он здоровье на технике потерял.

И Фиска не выдержала, всплеснула руками и, еще слушая Лельку, принялась подпевать ей, вначале негромко и тоненько:

— А-а-а, всполошился... Мимо ручеек протек, не на тарасовский баз. А кум бы ее по глазам стебанул!— набирала Фиска голос, заглушая гостью.— Стебанул бы ее по глазам: живете, мол, как у царя за дверями, да еще на чужом добре расцвесть хотите. У вас сундуки коленом набитые, а у Скуридиных одна детва. Да и самого Николая в дураки не поставишь. Может, он

и погрешимый — и кто, кума, без греха? — но Гавриле не уступит. У него всегда привесы наибольшие, тоже ударник. Сколь раз ему благодарности выносили.

— Тарасовы, они ащаульные, — поддержала Фиску мать, — любят на халтай проехаться. И бабка Мотька такая была, и Никанор. У них весь природ такой.

— А мой-то, мой... — с трудом влезла в разговор Лелька. — Мой-то Арсентьич, он ей напрямки выложил, говорит: правление Николая уважило в первую очередь, как больного... И многодетную семью поддержать в первую очередь. Они сколь детей подняли, а вы — одну.

— Одну-разъединую! — радостно воскликнула Фиска. — Да и ту, худую худобу, длинногачую, будылистую... станишный журавец, прости господи. А круги нас — шестеро. Внучарка — седьмая. И за всеми догляд. Вчерася Ваняшка вдарился с разбежка, чудок не скалечился — и цельный день возля него. Все дела прочь. А Витька вон на пруду. А тама такой глыб. Сидишь вяжешь, а сердце кровит. Амором летишь доглядать. То мама, то я. Мыслимое дело, шестерых родить да выкормить. Платьенки да рубашки горьмя горят. Мама ныне стирать начала, хотела чуток...

— Наше корыто завсегда счастливое, — подтвердила мать. — Возьмешь одну тряпку, а за ней другая ползет. Глядишь, и гора.

— А у них на наше горевское житье слюнки текут. Бессовестные! — все более распалялась Фиска, забыв, что и вчера, и сегодня она и слышать не хотела ни о каких курортах. Но теперь, когда пытались ей перейти дорожку не кто-нибудь, а Тарасовы, Фиска поднялась на дыбы. — Я их за чичер возьму! Все ихние слова потопчу ногами. Моему, моему мужику курорты определили! А не этому черту ожерелистому. Я в своих правах. Я Терешковой могу отписать!..

Лелька поняла, что теперь дело пойдет на лад. Но золотому правилу следуя: кашу маслом не испортишь, — она еще добавила:

— Василий наш надъезжал, говорит, в первую очередь многодетные семьи. Отцов, говорит, а также матерей, по возможности. Ныне вот путевка желудочная — для Николая! А как по женскому делу придет, по внутренним болезням, сразу, говорит, жену его отправим на юг, в лучший курорт, нехай отдыхает, заслужила.

Фиска с матерью разом дернулись. А пока они в память входили, Лелька тачала свое:

— А там, кума, на курортах, магазинов страсть много! Прям один возле одного наставлены. И полны магазины всего. Люди привозят и скатертя, и накидки бархатные с кистями, тюль, ма-

терьялы какие расхорошие. Мужикам ничего не нужно, у них волочай в голове. А ты, кума, поедешь, по-хозяйски всего наберешь и подлечишься. Здоровье ведь никудовое, как и у меня...

— И не говори, кума,— радостно подтвердила Фиска.

И пошли тут разговоры, вовсе для сердца медовые.

Лельку провожали далеко за двор, почти до амбаров, и долго прощались.

А воротясь, Фиска с матерью еще раз все обсудили и решили накрепко: Тарасовым не уступать. И когда Николай вечером воротился, встретили его чуть не с песнями. Встретили, накормили, стакашек поднесли.

И все кончилось миром. Ночевал Николай в доме, с Фиской, на мягкой перине. Переночевал и начал готовиться к отъезду.

3

С последним возом Николай возвращался к вечеру. За клубом, на выгоне, топотили и блеяли козы, и багровые клубы пыли вздымались над хутором.

Воз был остатний, маленький, в две копны. Управились с ним быстро. Николай, отогнав лошадей, домой не пошел, а к магазину направился. Но не выпивка ему требовалась, а иное. Дело в том, что жена и теща денег выделили в обрез. Десятку накинули на курево и остальные расходы. Спорить было опасно. И Николай промолчал. Денег он решил подзанять. Только какие деньги в магазине! И он свернул к заветному тополю.

В просторном доме под тополем жили бабы: Николаева мать-старуха да старшая сноха ее — Шурка. Дом построили с размахом, на два входа, хотели большой семьей в нем жить. Да не вышло. Друг за другом ушли на уютное ветютневское кладбище отец и брат Михаил. Дети старшего брата по сторонам разлетелись. И теперь аукались в просторном доме две женщины: мать со снохой.

Тополь над скуридинским домом заметен был издали. В погожем вечернем сумраке он долго светил над хутором закатным багрянцем. Когда ко двору подходил Николай, тополь уже притухал. А на базу было темно, но еще не спали, разговаривали.

— Здорово дневали!— с наигранной легкостью приветствовал родню Николай.— Живые еще?

— Здорово, гостечек,— ответила невестка.

— О-о, ты вечно недовольная,— Николай уселся на скамью и полез за куревом.— Здорово, мать, не болеешь?

Мать сидела тут же на скамье, сухонькая, согбенная. Платок ее белел в вечерней мгле, а смуглое лицо скрадывала тьма.

— Да чего... Годы выжила. То там заболит, то тута. Ныне

вот в руку вступило, нудит, спасу нет. Да жаром всю осыпает.

— Чего ей,— поддержала сноха,— ее годы... Лежи да поле-живай. Сынок вот проведывает,— усмехнулась Шура,— в том месяцу был, ноне опять пришел.

— Ну, зачала...

— А либо брешу? Косились, ты чего не зашел? Косы отбить некому. Спасибо Зырянину, а то хоть реви.

— Чего ж не переказала?

— А то ты не знаешь, что косить. Ладно,— вздохнула она,— без тебя обошлись. Скосила и свезла. А ты выпить зашел, добавить?

— Ты прям аред какой-то,— подосадовал Николай.— Точишь и точишь. Другой раз и зашел бы, не захочешь слухать тебя.

— Ты заходи,— спокойно ответила невестка.— Заходи, да по-доброму. А как энтот раз вы с Алешкой... тот черт зевлоротый, и ты не лучше. Пришли. Дай да дай. Вам цебарку надо. А твои потом на меня плетут, плетут, не знают чего и навешать.

— Ну ладно, ладно,— вспомнил о цели своего прихода Николай,— что было, то утекло.

— Как там твои?— негромко спросила мать.— Никто не болеет?

— Чего с ними сделается. Дите у Нюськи кричит. Бабка Чуриха приходила. А он кричит и кричит.

— Ты, может, Николай, поешь?— спросила Шурка.— Щи я ныне варила, еще теплые.

Николай вспомнил, что не ужинал, и не отказался. Миску щей смолотил и полбуханки хлеба.

Мать спросила:

— Люди говорят, куда-то посылают тебя, на каку-то лечбу? Взаправди?

— Да, мать, еду подлечиться. Решил подправить здоровье. А то кабы...— Он подробно рассказал о своей путевке, о том, как узнал о ней, как не верил и какие надежды теперь с нею связывал. Он говорил долго, потому что много думал в последние дни о болезни своей, о лечении, о жизни, а рассказать было некому.

Дом матери и кумы-невестки был для Николая на хуторе единственным теплым углом, куда он мог прийти и поесть, и выпить, да еще и покуражиться, коли дурь в голову войдет. Но он ходил сюда редко, лишь когда уж очень подпирало: опохмелиться или выпить недопитое. Ходил редко потому, что слишком много нелестного слушал он здесь. Все горькие слова матери и кумы были правдой. Но правду он знал и без них и лишний раз не хотел ее выслушивать. И как в давние времена ушел он с этого подворья от отцовских укоров, так и не возвращался. Его тут жа-

лели всегда, над горькой жизнью его здесь плакали. Николай же хотел иного.

Душе его, уязвленной много лет назад, хотелось отрады. Хотелось прийти в отцовский дом счастливым. Да все не получалось. И теперь уж не получится, верно. И горько было лишний раз слышать материнские вздохи.

Да что мать... Она уже давно отлепилась от сердца. Слишком долго они жили порознь. И в собственной Николаевой судьбе столько горечи было и забот, что для матери там места не оставалось. Где-то далеко, в светлой памяти детства, иная мама виделась. Но не эта... А уж кума Шурка и подавно. Разным они жили, о разном думали.

Особенно остро понял это Николай прошлой зимой. Он тогда поругался со своими и жил бобылем в кухне. Вернее, лишь ночевал там, потому что стемна и дотемна находился при скотине. Разом двести голов один кормил, один, без напарника. Петро болел, а подмены не находилось. А зимняя работа, она нелегкая. Еще темно, еще добрые люди зорюют, а уж надо за силосом ехать, кормить скотину, а потом песня на весь день пойдет: дробленка, солома, и снова силос, и опять дробленка. И почистить у бычков — тоже дело нелегкое. Тем более что работал Николай в старом коровнике, навоз в вагонетках возил. В новом, конечно, полегче, но всем туда хотелось. А глотку драть Николай не умел. К тому же старый коровник был привычнее, вроде родного дома. Много скотины здесь побывало. Иные имена остались, написанные и не стертые на старых стенках: Лимонка, Буря, Ерка, Синичка, Дворянка... И многих Николай помнил. Забудешь ли Ерку? Давно уж ее перевели. Но какого лиха с ней принял. В первотел Ерка отелилась внезапно. Пас Николай скотину, а Ерка вдруг пропала. Была, была, а вечером ее не оказалось. Поехал искать. И места, где он пас, Первые да Вторые городбища, не больно укромные: несколько березовых с осиной колков.

Николай с напарником искали Ерку неделю. Всю округу обшарили, голосов лишились. А преподобная Ерка отелилась под носом и хоронилась с теленком в займищных вербах. Случайно ее увидел, как прячется она за куст, услышав зов: «Ерка, Ерка!»

Да одна ли она такая была. Сколь их прошло через Николаевы руки. Кто сочтет...

Та зима, прошлогодняя, выдалась нелегкой. Силос был никудышный, кислый, и рано его затарили, без початков. И хоть старался Николай, перебивая силос соломой, но скотина ела плохо. И оттого настроение было поганое.

Стоял студеный январь, такой студеный, что столбы при дороге оглушительно лопались, пугая людей. А Николай целый день был у скотины, работал, понемногу выпивал: то для сугрева, то с расстройства. Выпивал вроде понемногу, но к вечеру оказывался пьян. Пьяным он шел и домой, в свою кухню, и валился спать.

Ночью Николай просыпался от холода, приходилось подниматься и бежать за дровами. В ночном небе мохнатые индевелые звезды дрожали. В доме было темно и тихо — все спали. Николай набирал дров и топил, накаляя чугунную плиту до алости, и сидел возле нее, отогреваясь. А отогревшись, снова шел за дровами, но теперь уже не торопясь. Теперь он долго стоял во дворе, курил, надсадно кашлял. Он кашлял громче, чем надо бы, в надежде, что жена или теща, выйдя в холодный чулан по нужде, услышат и позовут его в дом.

Но никто не выходил, никто не звал Николая. Он стоял и курил, раздумывая о какой-то странной своей жизни, в которой вроде все есть: семья, жена, дети и мать рядом. Но и никого нет. И даже закричи он сейчас — не отзовутся.

Когда баба Феша была жива, она Николая жалела. В такие вот ночи она словно чуяла и отпирала ему дверь и потихоньку впускала в дом, на печи прятала. А без нее нечего было ждать. И Николай снова уходил к себе, в кухню. Топил печь, смолил махорку и думал о жизни своей. Она была длинная, в целых сорок лет. Была молодость. Он уезжал в техникум пацаном, а вернулся женихом в клешах, вельветовой «бобочке», с пышной копною чуба. Потом Фиска...

Николай ни о чем не жалел. Что проку в пустых слезах о прожитом? Но вот где-то и что-то сломалось в жизни. Может, Фиска и мать ее становились злее с годами и ничего не прощали? А ведь сам Николай им отпускал многое. Болел душою, но прощал жене ее немалые грехи. Прощал не потому, что был слаб, а потому, что любил всю свою домашность: детей, хату, подворье, скотину... и Фису любил. Фиска смладу и до теперешних дней на колхозную работу не ходила, и Николай ее не ругал. Он даже гордился, что работает в семье один и всех кормит. Дружок его, Алешка, давно плюнул на все и пьянствовал, работая от случая к случаю, и даже из дому тащил на пропой. Да и один ли Алешка? Но Николай помнил, что, кроме него, в семье нет работников. Он и от скотины не уходил, несмотря на болезнь, потому что кормить нужно было семью. Только не ценилось все это.

Вот уже и внучата пошли, и болезнь одолевала, дело катилось к старости. И довести жизнь хотелось по-хорошему, но не получалось.

В печке догорало. Николай снова вышел за дровами. Хутор спал в глухой полуночи, словно в глубоком колодце. И майским цветущим лугом светило над ним праздничное морозное небо. Алые клевера там цвели, желтые купавки и лютики, зорник голубел; и серебряные пчелы летели от цветка к цветку. А Млечный Путь, словно залитая ромашками полевая дорога, уводил к далеким небесным хуторам.

Тихо было, в доме спали. И Николаю вдруг захотелось избяного тепла, солодкого от ребячьего и бабьего дыхания. Щей захотелось, горячих щей. И уже не только желудок, но душа просила горячих щей.

Забыв о дровах, Николай шагнул было к дому, но передумал. Заорут, взбулгачат детей, напугают. Лучше пойти к матери и куме Шурке. Те поймут и накормят его, и ночевать он попросится, хоть никогда и не ночевал на стороне.

Путь был недалеким, если напрямик, через бугор, Да и время не такое уж позднее. Телевизор, бывает, поздней глядят.

Николай дошел быстро. Кума с матерью уже спали: темно было за окнами. Звонко стукнули промерзшие воротца. В окошко с белеющей изнутри занавеской Николай постучал осторожно. У окошка кума спала, а мать — через две комнаты, в боковухе. Надо было куму разбудить, а мать не тревожить.

Он постучал в окошко и к дверям пошел, к крыльцу. Кума Шурка, конечно, проснулась. Она вышла в коридор, зажгла свет и спросила:

— Кто это? Федор? Оляныка? Таиса?— перебирала она детей своих.

— Это я, кума, открой.

— Кто такой?— не узнала Шурка.

— Да Николай, открой.

— Какого черта тебе? Не допил, что ли? Серед ночи булгачишь, поблуда. Либо дома у тебя нет? Иди с богом.

В чулане хлопнула дверь, а Николай не поверил и вновь застучал.

Шурка снова вышла, теперь уже, видно, одетая, и голосом спокойным сказала:

— Уходи, Николай. Ночь на дворе. Дай спокою. Мать спит, не тревожь.

— Кума, кума...— просил Николай и, боясь, что уйдет она сейчас, сразу все выкладывал:— Пусти, кума. Щей горячих хочу. Какой день горяченького не ел, залубенело нутро. Пусти меня, кума, я у порога, на половичке пересплю. До утра. Щей хочу, кума, пусти...

Шурка в молящем голосе Николая почуяла неладное, но стала еще тверже.

— Уходи, кум,— сказала она.— Какие серед ночи щи? Ступай домой.

— Не пустят они...

— А здеся я не пущу,— отрезала Шурка.— Меня поедом съедят, натолочут всякого. Ступай, кум, с богом.

И снова хлопнула дверь, теперь уже насовсем. Николай понял это умом, но душа не хотела верить. И он еще говорил, говорил:

— Щей хочу, кума... Залубенело нутро... На половичке пересплю. Пусти меня, кума, христа ради, пусти...

Дом молчал. Холодное сияющее небо стояло над головой и вокруг. Оно горело неживым огнем и манило к себе. И горько было жить, и хотелось умереть среди этой праздничной ледяной пустыни, сияющей и безлюдной.

Николай обессилел и сел где-то у амбаров, в затишке. В хуторе было по-прежнему тихо, собаки свое отбрехали. Безмолвный небесный луг так же цвел и сиял, играя серебряными росами, и, казалось, звал к себе Николая. Казалось, говорил, что земному пастуху нечего на земле жалеть и пора уже, пора уйти в эти вечные поля, где покой и ничто не тревожит.

Николая спасла дочка Маняшка. В последнем его забытьи она вдруг привиделась и закричала:

— Папка! Я ногу убила до крови!— И кинулась к нему, светлоголовая, со слезами на глазах.

И Николай очнулся. Очнулся и пошел домой, в свою кухню.

Это было прошлой зимой. И теперь уже забывалось. Кума Шурка иногда рассказывала, смеясь:

— Серед ночи пришел. Отвори, кума. Щей захотел!

Это помнилось. Вроде и забывалось, но не уходило вовсе. Словно льдистый осколок той крещенской ослепительной ночи лег на сердце. Лежал и не таял.

Николай докурил цигарку. Кума Шурка запирала скотину. Мать сидела рядом, вздыхая. Над Николаевой ли, а может, над своей долгой и тоже нелегкой жизнью.

— Мать, а мать,— осмелился наконец Николай.— Ты мне не дашь взаймы четвертак? А то с десяткой, на цельный месяц. В попросях ходить...

— Какие у меня деньги, Николай! Пенсию я Шурке отдаю. Она меня кормит. А деньги откель? Либо ты не знаешь?

Николай, конечно, все это знал.

— Ладно, мать,— сказал он.— Где-нибудь подзайму. У Шурки не хочу просить.

— Погоди...— вскинулась мать.— Погоди, я погляжу.

Она поднялась со скамьи и пошла в дом. Не зажигая света, миновала кухню, горницу, а в своей боковушке открыла сундук,

встала перед ним на коленки и полезла к самому дну, отворачивая легкие пласты праздничной одежды, которую так и не сумела износить за долгую жизнь. Две кофты — тирас, одна батистовая, да две юбки, да ротонда еще мамина. А деньги лежали внизу, на твердом дне, в гаманке и платочке. Да и денег-то было: пятерка всего, трояк и два рубля. В редкие свои приезды дочери ей уделяли немного. Но все рубли уходили на гостинцы внукам и правнукам. Кабы раньше знать...

Старуха потеребила гаманок, словно надеясь найти что-то, потеребила, вздохнула и тут же вновь начала класть на место поднятые пласты нарядов. Поверх всего лежала самая нужная, смертная одежда и заветная полусотка на батюшку. Чтобы батюшку привезли из станицы, чтобы отпел по-людски. На свои деньги Шурка не привезет, пожалеет копеечку. А хотелось помереть по-хорошему. Ну, да бог простит... Старуха взяла деньги и понесла сыну.

4

Перед обедом Арсентьич забежал в контору.

— Василий Федотыч звонил,— сказала бухгалтерша Катя.— Вас искал.

Арсентьич набрал номер и, услышав голос Василия, спросил:

— Чего там случилось?

— Такое дело,— начал объяснять Василий,— надо путевку назад отдать. Понял?

— Какую путевку?

— Какую... желудочную, какую я тебе давал, курортную. Звонил я Кузнецову, он говорит, ту отдай, тогда я тебе, на сентябрь получишь, добрую какую-то обещал. Так что забери и пришли с кем-нибудь. Я отошлю.

— Да ты чего?— даже растерялся Арсентьич.— Как же я заберу?— он беспомощно огляделся, увидел внимательный взгляд бухгалтерши и махнул ей рукой: уйди! Катерина вышла за дверь, и тогда Арсентьич сердито сказал:

— Да ты чего, Василий? Мы же человеку ее отдали. Он собрался, все. Ты соображаешь? Как я ее отниму?

— Фу-у, как... Да скажи, отменяется, вот и все. Курортники, тоже мне. Чего ж ты хочешь, чтобы я из-за него путевку терял, да? Я не виноват, что Кузнецов уперся. В общем, забери. Понятно?

— Ну, как же я? Ведь человек...

— Иди ты знаешь куда...— холодно сказал Василий.— И не морочь голову. Говорю, значит, делай,— и положил трубку.

Арсентьич на стуле откинулся и выматерился, отводя душу:

— Кур-р-рва... начальники.

Он сидел и чем более думал, тем менее представлял себе, как он сможет сказать Николаю Скуридину обо всем. А с другой стороны, нельзя было ссориться и с шурином. Родственник, и к тому же — начальство.

Арсентьич сидел и вполголоса матерился, да так и домой пошел, ничего не придумав. И дорога его не остудила. Уселся на порожках и снова начал курить.

— Я налила все,— выглянула из кухни жена.— Щи налила. А ты уселся, слышишь?

— Ну, налила. Теперь мне рысью, что ли, бечь... к твоим щам?— недобро процедил он сквозь зубы.

Лелька очень удивилась:

— Чего ты? Либо дурнины наелся. Я ему по-хорошему.

— «По-хорошему»...— передразнил ее Арсентьич.— Все вы... порода. В папаню своего.

— Либо с Василием поругался?— вмиг поняла Лелька.— Чего вы с ним?

Арсентьич все выложил, сдабривая рассказ нелестными для ее братца присказками. Лелька эти присказки мимо ушей пропускала, схватывая главное. Главное она поняла и сказала твердо:

— Надо забрать. Чего ж будем с Василием ругаться? Сам знаешь. Василий, он об нас завсегда... Василий, он...— наставительно читала Лелька.

И Арсентьич ее не перебивал. Он знал, что и вправду судьба его во многом от Василия зависела. Сам Арсентьич был пришлым. В зятья его взяли Калимановы. Взяли и помогли во всем: дом поставили, в техникум помогли поступить и выучиться, вывели, что говорится, в люди. И грех было это не помнить, да и грех наперед забывать, ведь жизнь не кончается. Все это понимал Арсентьич. Но Николай, но Николай Скуридин стоял перед глазами.

А жена все убеждала и убеждала.

— Да будя тебе!— наконец оборвал он ее.— Либо я сам не знаю, а вот как? Как забрать-то?— с болью спросил он.

— Э-э-э, мужик, мужик...— покачала головой Лелька.— Управ еще называется. Ладно, не горься. Я все сделаю.

— Как это? Как ты сделаешь?— не поверил Арсентьич.

— Да вот так и сделаю,— усмехнулась Лелька.— По-своему, по-бабьи. Ступай, щи простынут.

На следующий день полхутора собиралось на гульбу. Виктор Калиманов из армии пришел, и его встречали.

Скуридиным вроде и гулять было не с руки: Николай собирался в дорогу. Но Фиска скорее бы померла, чем отказалась от приглашенья.

Любила грешная Фискина душа погулять. Выпить, и песняка поиграть, и сплясать в доброй компании. Потому и к гульбе готовилась всерьез. Фиска с матерью платья перебирали, прикидывая, мылись да чепурились. Старшая дочь им помогала да подсказывала, качая на руке ревущего сына. А шестиклассница Дуська, которая уже невестилась, под шумок духами надушилась, за что и получила трепку, и ходила теперь по дому надутая. А под ногами толклись Ваняшка с Маняшкой, довольные колготой, шумом и криком.

Один Николай в этой суете не участвовал. Он на базу стойло чистил. И лишь когда пришла пора идти, позвали его: он быстро умылся, чистую рубаху надел и костюм. Нейлоновых рубах гору племянник навозил, добрых, до смерти не износить. Костюм был тоже племянников, хороший. Лишь на коленке латка желтела, клееная. Но под столом латку не видать. А плясать Николай не плясал.

А нынче и вовсе ему подняться не давали. То один подходил, то другой, о курорте спрашивая. Продавец магазина Максимов, человек бывалый, рядом сидел, то ли шутейно, то ли всерьез наставлял:

— Ты приедешь, в столовую придешь, там меню...

— Чего?

— Меню. Бумажка такая, там все харчи записаны.

— А-а,— догадывался Николай.— Это как у нас, на центральной и на станции.

— Ты слухай, не перебивай. Там все записано. Ты должен заказывать, по желанию.

— Не буду,— решительно отказался Николай.— Чего я буду перебирать. Скажут, приехал тоже. Чего дадут, на том и спасибо.

— А раз отказываешься писать, ничего не получишь,— отрезал Максимов.— Другим принесут, а тебе вот,— показывал он большой с желтым, прокуренным пальцем шиш.

— Ну и хрен с вами,— обиделся Николай.— Не помру, мне главное — лечение.

Максимов хохотал. Мужики, что рядом сидели,— тоже. Смеялся и Николай.

— Давай тогда выпьем,— предлагал Максимов.— Раз такое дело, давай выпьем. Тама не дадут.

— Не дадут,— соглашался Николай.— Да я и сам не буду. Мне лечиться надо.

А пока можно было, в последний раз.

Последний нонешний денечек...—

уже заводила Фиска. И песню подхватывали:

Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя родня!

Пели все. Продавец Максимов аж кровью наливался, усердствуя. Но Фискин, низкий, аржаной голосочек перекрыть не мог. И Николай горделиво смотрел на жену.

А за своей женою всю гулянку следил управляющий Арсентьич. Он знал, что именно здесь, сейчас, Лелька должна была что-то сделать. Упредить ее хитрости он не хотел, но все равно с какой-то тоской и болью следил и следил за нею.

Гулянка кончилась вечером, когда пришла пора встречать скотину. Поднялись почти все. Николай Скуридин с женой вышли со двора и от ворот затянули: «Коля, Коля, Николаша! Как мы встретились с тобой!»

Николая слегка водило и покачивало, но рядом был крепкий столбушок — жена. Фиску трудно напоить, и она шла твердо, распевая: «Ах, Коля, Коля, Николаша!»

А Николаша, тоненько и сбивчиво ей подвывая, тащился рядом.

Фискина мать во дворе задержалась. Она поговорила с хозяйкой, прощаясь, и уже пошла было, когда ее перехватила Лелька. Она постояла с Николаевой тещей недолго, но втолковывала ей что-то горячо, взахлеб. И с каждым Лелькиным словом теща как бы росла, распрямляясь, и лицо ее каменело. И вот она уже двинулась со двора неторопливой марширующей походочкой, и на лице ее играла недобрая усмешка.

Николай и Фиска с песней к дому подошли и уселись возле двора. Жаль было уходить от людей, от хутора, от веселья. У Николая кончились сигареты, и он пошел в дом, за новой пачкой. В этот момент и подоспела теща. Подоспела и рассказала дочери все без утайки. Она передавала Лелькины слова горячо, с придышкой. И глаза ее диковато горели, и раздувались ноздри.

Фиска все поняла. И кровь, тяжелая густая кровь кинулась в голову,опьяняя пуще вина. И руки вдруг сжались в тяжелые кулаки, наливаясь все той же пьянящей силой.

А Николай ничего не знал. Он с новой пачкой «Памира» вышел из ворот и направился к скамейке. Был мужик хмелен и весел. Распечатал пачку и начал прикуривать, когда спросила его жена — спокойно. Спокойно, но из последних сил:

— Ты дюже веселый... Может, не один на курорты едешь? Может, с кем вдвох?

— С миланей,— дурашливо ответил Николай.— Не с тобой же ехать? С миланей...

— А-а-а!— разом завизжали Фиска и мать ее и в четыре кулака принялись гвоздить неверного...

Теща успела сбегать в дом и теперь рвала и топтала розовую курортную путевку.

— Вот тебе! Вот! Вот тебе, кобелюка! Курорты твои! Курорты!

Из двора с ревом начала выкатываться детвора...

Хутор, а особенно соседи за долгие годы к скуридинским битвам привыкли. И потому не вышел никто даже поглядеть...

Николай ночевал в кухне. А утром пошел к управляющему, домой.

Арсентьич о побоище, конечно, слыхал. Но теперь взглянул на Николая и ахнул. На лице у того распух и закрылся левый глаз, ухо запеклось кровавой корочкой.

— О-о-ой,— болезненно морщась, охал Арсентьич.— Вот это дали. Ты съезди на центральную, в больницу. У тебя, может, чего...

— А-а-а,— махнул рукой Николай.

— Ну, а путевку-то правда порвали?— спросил управляющий.

Николай молча показал жалкие клочки розовой бумаги.

Управляющий и глядеть на них не стал: дело понятное.

— Ладно. Хреново, конечно. Но в конце концов...— стал запинаться и отводить глаза Арсентьич.— Путевку, наверно, можно восстановить. Хочешь, я позвоню, узнаю. Но, предположим, восстановят путевку. А как ты поедешь?

—Куда мне ехать! Людей пугать? Все, съездил, хорош,— хотел улыбнуться Николай, но не смог.

— О-хо-хо-хо,— качал головой управляющий, а потом спросил:— Ну, а отпуск-то будешь гулять?

— Не, какой отпуск. Завтра погоню.

— Чего завтра? Ты хоть... того, пару дней...

— Ничего,— уверенно сказал Николай.— Завтра погоню. Там вон, за песками,— махнул он рукой,— туда, к Дурновке, падинка есть. Там добрая трава. Там вокруг пески, а вот промеж них теклина. Добрая трава, хорошо скотина ест.

Они поговорили о деле: о скотине, о выпасах, о лошадях. Покурили, помолчали. Потом Николай сказал потише, с оглядкой:

— Ты не дашь мне, Арсентьич, пятерочку, опохмелиться?— И облизнул опаленные сухостью губы.

Управляющий рот было раскрыл, чтобы сказать обычное, какое изо дня в день кому-нибудь говорил. Раскрыл он рот да и поперхнулся. Лишь рукой махнул и полез за деньгами.

Николай пошел прямиком к магазину. И шел как-то странно, прихрамывая и чуть боком. И голова на тонкой шее в такт шагам моталась, словно у заморенной лошади: маты-маты, маты-маты...

И плеснуло в душу Арсентьича такой острой горечью, что он не выдержал, круто повернувшись, ушел на кухню, налил из бутылки в стакан и выпил. И закурил. И сел на крыльце.

— Ты сегодня на работу не пойдешь, что ль? — спокойно спросила жена.

— Пойду, — сквозь зубы процедил Арсентьич и остался сидеть.

Анатолий Ким

КЛЕТКА С ТЕЛЕВИЗОРОМ*

Помню, сидела я на той удобной скамейке в детском парке и смотрела на старую кобылицу-пони, бурую с белыми пятнами, с мохнатыми ушами и длинной гривой, падающей ей на глаза. К дремлющей лошади подбежал ребенок, мальчик в синем пальто и красной вязаной шапочке — такой яркой, словно спелая ягода земляники в зеленой траве. Мальчик что-то протянул в руке, но дряхлая пони лишь неохотно приподняла голову, вовсе не собираясь брать подачку. Мальчик огорчился и с растерянным видом обернулся к бородатому отцу, который, с длинной трубкой в зубах, со снисходительным видом приближался к ним...

Был теплый московский октябрь, на редкость тихий и солнечный, сухая листва, желтая и покоробленная, с загнутыми краями, застлала газоны, укрыла подножия деревьев в парке. Теперь вечерняя темнота наступала рано, и я, возвращаясь домой вдоль железной ограды Суворовского училища, уже не видела того, что обычно приходилось видеть всю весну и лето.

А происходило там вот что. К суворовцам, стройным крепким мальчикам в черной форме, бегали их девчонки, и те из военных мальчиков, которым не было увольнения, назначали свидания прямо у решетки. Вот и стояли там и сям вдоль ограды, приникнув лицом к лицу, влюбленные парочки, и пространства между железными прутьями вполне хватало, чтобы обмениваться нежными поцелуями, и я тихонько шла мимо них, постукивая своей клюкой.

Подобные дела продолжались с весны до самой осени, а осенью как будто исчезали вокруг всякие поцелуи, словно улетевшие перелетные птицы, и безжизненно пустела железная ограда военного училища, осыпаемая дождем сухой листвы. Но оставалась тишина больших парковых деревьев, оставались два сонных пузатых пони, которые уже много лет стояли там, на дальней поляне парка. И через равные промежутки времени пробегали мимо, словно отсчитывая минуты и часы быстротечной зо-

лотой осени, с одним и тем же механическим шумом голубые поезда метро, надземная линия которого проходила сразу же за парковой оградой.

И вот в один из таких осенних дней, когда я с невольной грустью смотрела на то, как к старой кляче снова и снова подбегают дети, чтобы погладить ее, угостить, растормошить,— и среди них был мальчик в невероятно красной шапочке,— ко мне подошла она... Высокая блондинка, на которой все было ладно и хорошо: завитые локоны до плеч, светлые брюки с широкими манжетами и голубой, под цвет глаз, мягкий пуховый свитер, свободно обвисающий на тонком, чуть длинноватом стане.

Присев на скамью рядом (но перед тем проверив пальцем, чиста ли она), незнакомка негромко рассмеялась и произнесла, обращаясь ко мне, ибо никого другого не было рядом:

— Надо же! А я так испугалась...

— Чего же вы испугались?— поинтересовалась я.

— Мне сначала показалось, что это огромная собака,— указала на пони моя собеседница.

Я посмотрела на мирную коротконогую лилипутку с отвислым брюхом, дремавшую укрывшись длинной рыжей челкой, и никакого, признаться, не нашла в ней сходства с собакой. Это была старая лошадь — и только лошадь, хотя и маленькая.

— А вы первый раз, наверное, здесь?— предположила я, глядя на оцепеневшую старуху Пчелку, которую знали все дети, все жители нашего района.

— Да,— был ответ.— Я переехала сюда недавно. Вышла замуж...

Мы познакомились, и новая знакомая стала рассказывать мне свою историю, ничуть не подозревая о том, что никакой истории еще нет, а только самое ее начало, по которому нельзя предопределить, что будет в дальнейшем. Мара приехала в Москву поступать в университет, но не прошла, и ей незачем было ехать назад домой, где у родителей все неблагополучно, они разводились. Она предпочла не возвращаться в свой прибалтийский городок, а осталась в Москве, устроилась по лимиту на стройку разнорабочей, но ее вскоре заметил прораб стройучастка и перевел в табельщицы. И вот недавно этот прораб сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него, хотя он и старше на пятнадцать лет. Нет, никогда раньше он не был женат, паспорт его оказался чист. У него отдельная квартира осталась после смерти матери, а холост он был до сих пор потому, что ждал именно такую, как Мара, то есть свой идеал.

— И знаете, он мне запретил работать. Он считает, что в его возрасте мужчина должен сам прокормить жену, он, знаете, немного стесняется, что старше меня, называет себя в шутку ста-

риком, но какой же старик в тридцать четыре года, правда ведь?

— Разумеется,— согласилась я.

— И теперь я сижу дома, ох, не надо больше подниматься чуть свет и лететь к восьми на работу. Живу не в общежитии, а в собственной квартире, прямо не верится.

— Да, в вашем возрасте утром хочется подольше поспать,— опять поддакнула я.

— Теперь, как муж уйдет на работу, могу лежать хоть до самого обеда. В квартире тишина, встану спокойно и приготовлю себе что-нибудь на кухне...

— Что и говорить,— заметила я,— вы неплохо устроили свою судьбу.

Тут она смущенно взглянула на меня, потупилась и тихо проговорила:

— Знаете, трудно было работать на стройке. У меня руки болели, носилки с раствором таскать тяжело... Я их роняла.

— Что вы, милая!— смутилась теперь уже я.— Не подумайте, ради бога, что я осуждаю вас! Сама-то я до пенсии много лет проработала в библиотеке для слепых, так что носилок с бетоном не таскала. Но знаете, чему я научилась на своей работе? Осторожности. И прежде чем составить себе мнение о другом человеке, я всегда пытаюсь вообразить себя на его месте. А еще я научилась читать пальцами и прочла таким-то образом, ощупью, не спеша, много хороших книг, и они меня тоже кое-чему научили.

— Но у вас нормальные глаза, зачем вам нужно было читать пальцами?— недоумевала Мара.

— Да, у меня нормальные глаза,— отвечала я.— И я могла читать обычные книги. Но однажды мне стало стыдно, что я выдаю книги, которые для меня вроде бы и не книги — не могла я принимать эти толстые кирпичи за настоящие книги. Мне казалось, что я обманываю, что выдаю им вовсе не Чехова или, скажем, Достоевского. И вот тогда я решила научиться читать по-слепому. Далось это нелегко, но должна вам сказать, что я ни о чем не жалею. Я словно бы еще раз прочла все то, что читала раньше, и Чехов, например, которого я прочла кончиками пальцев, это уже несколько другой Чехов, по крайней мере, для меня.

— А какой он? Другой Чехов?

— Он до невозможности грустный.

— Как интересно! Я бы тоже хотела так читать.

— Что ж, научу,— пообещала я, улыбаясь.

В эту минуту я взглянула на нее и залюбовалась ее лицом. Оно было прелестно. Под тонкой кожей угадывалась близкая алая кровь, которая так легко вспыхивает в минуту смятения или радости.

Мы стали часто встречаться в этом детском парке, подолгу гуляли вместе, заходили смотреть и кормили через решетку бурого медведя, печальную обезьяну и прочих бедных животных, которых держат в зооуголке парка. И вскоре мне стали известны многие стороны семейной жизни Мары.

Она пожаловалась, что муж при всей своей доброте оказался весьма пристрастным к деньгам человеком. Велел завести приходо-расходную тетрадь, куда надо было вписывать даже такие мелочи, как траты на кино или цветы. Этот счет за цветы особенно удручал Мару.

— Потому что я покупала цветы для него же, чтобы в доме было красиво, а он меня отругал, сказал, что может спокойно обойтись и без этого сена. Сена, понимаете? Как-то спрашиваю: почему мы никуда в гости не ходим? Неужели у тебя нет друзей? А он мне отвечает: не понимаешь ты жизни. Будь довольна, мол, что нет друзей, с кем водку пить. Пойдем, говорит, если тебе скучно, в Бородинскую панораму. А мы в этой панораме были уже три раза, благо, что недалеко от дома.

И единственное развлечение, жаловалась Мара, это кино.

— Правда, ездили смотреть Останкинскую башню,— грустно добавила она.— Далеко оттуда видно: всю Москву до самого края. А люди и машины сверху кажутся маленькими, как букашки.

Мы с нею подходили к моей любимой поляне, где дремали, стоя поодаль друг от друга, две неподвижные пони, Пчелка и Малютка, мать и дочь, и видели через забор, как на спортивной площадке училища, поснимав ремни, мальчики-суворовцы с отрешенным усердием занимались гимнастикой, словно бы совсем позабыв о подружках, оставленных за железной оградой.

Настали ветреные и холодные дни ноября, то выпадал снег, то шел дождь, в парке деревья стояли черные, с мокрыми стволами, и сырые листья облепили все скамейки. Нога моя разболелась, я все реже могла выбираться в парк. Наши прогулки с Марой прекратились, и я надолго потеряла ее из виду.

И уже под Новый год, выходя из булочной, я столкнулась с нею, и Мара прошлась вместе со мною по улице. Забрала мою сумку с хлебом, взяла меня под руку. Весь вид ее говорил, что она была рада встрече. Румянец двумя нежными пятнами горел на ее лице, из-под лохматой меховой шапки падали на ворот пальто завитые желтые пряди ее чудных волос. Мне она показалась немного взрослее, чем раньше.

— Ну, как у вас, Марочка?— весело спрашивала я (уж так мне было приятно смотреть на нее!).— Что нового?

— Скандалим понемногу,— улыбаясь, ответила она.

— Что такое?

— Хочу на какую-нибудь хорошую работу, а он не пускает.
— Почему?
— Ревнует! Представляете? На работе, мол, будут мужчины приставать.
— Ох ты господи, как глупо!
И Мара рассказала, что муж, понимая ее домашнюю скуку, согласился, чтобы она ходила на платные курсы кройки и шитья. И вот теперь по вечерам неукоснительно встречает ее на Таганке у дома, где находятся эти курсы.
— А как насчет расходов? Не пожалел?— шутливо напомнила я.
— Нет, что вы...— смутилась Мара.— И вообще мы по этому поводу с ним объяснились. Знаете, он рассказал мне, в чем дело. Во время войны мать его растила детей одна, а было их у нее пятеро, мой самый старший оказался. Ему-то и досталось больше всех. Они голодали страшно, по-настоящему, и он даже ходил в соседние деревни побираться, нищим был. И те куски хлеба, которые он когда-то собирал, выходят теперь боком. Хочется, говорит, наконец-то пожить нормально, мол, на всю жизнь наголодался. И знаете, я очень хорошо его понимаю.
— Чего же тут не понимать... Очень рада, что вы так славно поговорили.
— И знаете, что он еще сделал...
Расщедрившись, купил цветной телевизор взамен старого, чтобы только не скучала дома краса жена. Стал ходить с нею на каток в Филевский парк, он, оказывается, прекрасно катается на коньках.
— В общем, живем помаленьку.
— Ну и слава богу!— порадовалась я.
— А работать я все равно пойду,— заявила Мара.— Он меня тут уж никак не переспорит. Обломаю!
Мы незаметно прошли весь путь до моего дома, и там, у подъезда, Мара расцеловала меня, пожелала всего-всего-всего в новом году и ушла, торопясь по своим делам.
Новый год я встречала, как и всегда, без особых сложностей. Мне давно уже не нужна елка, которую надо ставить куда-нибудь в угол на ватный снег, увешивать пестрыми стекляшками, а потом выбрасывать на мусорную свалку. Не нужна мне и веселая компания знакомых, пьющих шампанское, среди которых я буду выглядеть старухой. Нет уж, я предпочитаю себя считать молодой и выпить, когда заиграют куранты, новогодний стакан кефира — на сон грядущий.
Но на этот раз, сидя в кресле перед включенным телевизором в ожидании правительственной новогодней речи, я вдруг ощутила рядом с собою незримое присутствие юного существа, благо-

уханного и златоволосого, словно ангел, которое поцеловало меня накануне у подъезда (при этом одной рукою бережно прикасаясь к моему плечу, а другою протягивая мне старую рыжую мою сумку).

Прошло немало времени после Нового года, к весне я попала в больницу. Совсем стала плоха, провалялась почти что два месяца, но к началу мая выписалась. И вот однажды, уже после больницы, чикиляла я кое-как по улице, в руке была сетка, в которой болталась бутылка кефира, и тут меня догнала Мара. Была она в блестящем пальто из кожи, на голове большая примятая матерчатая кепка.

Стоял еще прохладный май, на тополях вдоль улицы почки лопнули, и ветви оперились рыже-зелеными блестящими листочками. Волосы Мары, сверкавшие на солнце, ее румянец и даже нелепая кепка так шли ко всей этой сладкой весенней мороке, а вот глаза у нее были совсем нехорошие. Они были угрюмы, эти глаза, чего я раньше никогда не примечала.

— Я попалась, кажется, и что мне делать, сама уж не знаю,— сообщила она, когда я стала расспрашивать, не стряслось ли с ней чего-нибудь...— Знаете, я беременна.

— Что за беда!— удивилась я.— Вы мужняя жена, как говорится, так что за беда! Будет дите, пацан или девка.

— Нет же, ни за что!— тихо проговорила она, и глаза ее метнулись ввысь, к вершинам тополей, и слезы навернулись на эти огромные синие глаза.

— Мара, милая, да расскажите мне толком, что случилось?— испугалась я.

— Это невозможно,— ответила она,— потому что я хочу уйти от него. Это примитивный человек, и жить с ним я больше не могу. Представьте себе, я как-то прожгла ему утюгом рубаху, на секунду зазевалась... так он после этого неделю со мной не разговаривал, словно я его оскорбила смертельно. А недавно я ему говорю: чего же ты хочешь? Чтобы я всю жизнь проторчала с тобою в этой клетке, куда ты меня запер, и караулила твое добро? Так знаете, что он ответил? «Пусть будет так. Но клетка-то с телевизором, да еще с цветным!» Вот и весь человек вам в этих словах,— закончила Мара.— И я хотела спросить... У меня ведь, кроме вас, здесь нет хороших знакомых. Вы не знаете какого-нибудь частного врача? Ведь срок-то уже большой, около трех месяцев, наверное.

— Не знаю я никакого такого врача,— ответила я.— Но вы этого не сделаете, Мара. Ведь вы любили мужа... Вы должны сберечь своего ребенка.

— Вы добрая, но вы зря... слишком хорошо обо мне думали,— тоскливо предположила Мара.— Я сначала сама себя долго уверяла, что вышла за него, любя. Но всякой лжи есть предел. И вы... умная женщина, все понимаете... И понимали с самого начала.

— Нет, ничего я не понимала,— тихо возразила я.— Только мне кажется, что вы все-таки любили его.

— Ошибаетесь,— почти прошептала она, крепясь, чтобы не разрыдаться; затем она справилась, и голос ее окреп.— Дело не в том, что он хорош или плох как человек. Дело во мне, что я оказалась такая... и жизнь моя так началась, и ничего теперь не поправить... Что мне делать?!— тихо вскрикнула она.— Что? Да разве... да неужели такое называют любовью? Ведь я во мне... во сне то и дело его избиваю. То кулаками, то палкой.

Мне вдруг стало плохо. Сердце забилось небывало и страшно, словно руша меня изнутри. В глазах зареяли колючие огненные мушки. Но Мара не замечала ничего и стояла передо мною, тихо всхлипывая, утирая глаза платочком.

— Простите меня,— с трудом выговорила я.— Чувствую неважно. Пойду-ка домой... Завтра приходите в наш парк, назначаю вам свидание,— и с этим я попрощалась и направилась к своему дому.

У себя в комнате я плотно задернула шторы, выпила лекарство, легла. Сердце немного отпустило, но было мне скверно. И вскоре настала беспощадная минута, которой я боюсь больше всего.

Я достала с тумбочки тяжелую книгу из плотной желтой бумаги. Томик Пушкина в издании для слепых. Закрыв глаза, я принялась читать на ощупь «Графа Нулина»:

Пора, пора! рога трубят...

Из страшного далека, медленно, с трудом дошла до меня знакомая добрая строка — словно где-то за горами прозвучал голос поэта. И мои пальцы, будто сведенные, не в силах были двинуться дальше по строчкам. Нет, читать я не могла. Книга с тяжелым стуком упала на пол. Беспощадная минута не отпускала меня.

И тогда мне показалось, что никогда ничего не было. Ни моего краткого замужества. Ни его самого, которого я поклялась ждать с войны. Ни самой клятвы... ничего.

И я, чтобы одолеть беду, принялась старательно и беспощадно вспоминать то, что все-таки было на самом деле.

Восемнадцати лет замуж вышла, мужу было девятнадцать. Он был лихой, на мотоцикле ездил. Мы прожили чуть больше месяца, все у нас было хорошо, пока однажды не поссорились. Я за-

теяла, из-за какой-то ревности. Он побледнел, горячий был мальчик, вскочил на мотоцикл и помчался. И на первом же повороте разбился. Была я в больнице и видела его, беспамятного, распластанного на доске,— оказался поврежден позвоночник. Врач, пожилая женщина, сказала мне, что вряд ли выживет, а если и выживет, то навек останется калекой. Мои родные хором навалились, стали уговаривать, чтобы я ушла от него, и я, испугавшись, дала себя уговорить. Я вспоминала, какие у него были гримасы на лице, когда он, не открывая глаз, стонал... Я испугалась и ушла обратно в дом родителей. А он был молод и крепок и жить хотел — не только выжил, но через несколько месяцев поправился и выписался из больницы. Только висела плетью рука вдоль тела. Издали видела его. А через год и рука прошла, стал он снова пролетать на мотоцикле мимо моего дома.

И вскоре настало двадцать второе июня сорок первого года. Он оказался годен и был призван в первую же неделю войны. В день отъезда пришел ко мне проститься. Все мои вышли из дома, и мы встретились с ним, словно ничего между нами не произошло. Вечером пошла проводить его до сборного пункта. Тогда я поклялась, что буду вечно ждать его, что бы с ним ни случилось.

А теперь, в эту беспощадную минуту, я спрашиваю себя, чего же было больше в этом последнем свидании: милосердия, горя, раскаяния, предчувствия скорой гибели или великого самообмана? Он не вернулся с войны, а я осталась верна своей клятве. Но так ли это? Была ли то верность моя или постоянное раздражение и боль моей вины, которую я все же не сумела искупить перед ним? И если бы не война — пришел бы он ко мне, простив все? И простил ли на самом деле?

На эти вопросы нельзя теперь получить ясных ответов. Война навеки похоронила эти ответы, а мне досталась на долю святая верность до гроба. Не знаю, сколько таких же молодых вдов осталось с одной лишь этой верностью в груди, но знаю точно, что все они теперь стали старухами, как и я.

...Но если и нет верных ответов на эти вопросы, все же у меня моя прожитая жизнь, а это уже само по себе может служить ответом. И завтра я скажу Маре, что для женщины самым страшным является не клетка с телевизором и не разочарование в любви. Подобные «клетки» мы часто выдумываем (перевернув на раскаленном сердце, словно блин на сковороде, любовь на ненависть, мы способны придумать и не такие еще штуки), а самым печальным и страшным для нас является та доля, когда хочешь вернуть долг и не можешь и приходит то время, тот воз-

раст, когда ты начинаешь уже с тайным страхом пробираться среди детей, потому что ни один из них никогда не тронул ручонкой твою грудь.

И я расскажу Маре, как одна хорошая женщина, от роду не видавшая ни единого проблеска света, вышла замуж за такого же незрячего хорошего человека — и оба они хотели иметь ребенка, но очень боялись, что и он окажется слепым. И та женщина говорила мне, краснея большим рябоватым лицом, что видит этого будущего своего младенца.

А еще я предложу бедной девочке, если захочет она, свою однокомнатную берлогу — и тоже с телевизором,— чтобы она могла спрятаться в ней, тихо полежать и прийти в себя.

На другой день я пошла в парк, на свое любимое место. Но ни в тот день, ни во все последующие Мара туда не приходила.

Коротышки-пони были уже на своем месте, щипали свежую майскую траву, вытянув к земле морды и быстренько перебирая мягкими губами. И к маленьким лошадям снова и снова подбегали дети.

На плацу военного училища в эти дни шла, очевидно, подготовка к празднику Победы: сквозь решетку видно было, как суворовцы идут строй за строем и ладно, враз ставят ноги.

Я сижу на теплой скамье, положив руки на дужку трости, и дремлю, прислушиваясь к мерному перестуку поездов метро, пробегающих мимо, дремлю и мечтаю, что вот пройдет время, и когда-нибудь подбежит к древней сонной Пчелке некий мальчик в красной вязаной шапочке, и она будет такая яркая — словно спелая земляника в зеленой траве. И окажется, что этот мальчик — сынок Мары, которого она родила, не испугавшись жизни. И мы все трое пойдем в зооуголок смотреть этих несчастных зверей в клетках, и я буду вести мальчика за руку.

Вячеслав Кондратьев

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА*

Было ему сегодня идти во вторую смену, к трем часам, потому и проснулся поздно, около десяти, когда и жена и дочка уже ушли — одна на работу, другая в школу.

Он потянулся в постели, посмотрел в окно — небо серое, сумрачное, шел мокрый снег. Невесело начинается апрель. А зима уже порядком надоела. Выдалась она снежной, морозной, и давно уже хотелось солнца, тепла...

Помахав несколько минут гантелями, пошел он умываться, поставив перед этим чайник на газ. Открыл холодильник: как всегда, полон он всякой всячины (хозяйственная у него баба!), но есть особенно не хотелось, вынул он только колбасу, масло и сел завтракать.

Кухня у них большая, около девяти метров. Из окна — вид на новые кварталы. Строится недалеко от них микрорайон — дома все девятиэтажные, а есть и четырнадцати. В их-то районе много пятиэтажек, но теперь их не строят, все «небоскребы» лежачие. Тоже красоты мало, встали стеной и загораживают лес, который был виден раньше.

На кухонном столе лежала женина записка, что купить. Когда он во вторую смену ходил, то делал утром покупки, помогал своей Лидухе. Пробежал глазами — сосисок килограмм, молока, творогу, сливочного масла, гуляша (если хороший, свежий)... Ну, насчет сосисок, наверное, не выйдет, что-то редко их стали выкидывать, но остальное купит он без труда.

Улица и пустырь напротив их дома, уже освобожденные от снега, сейчас опять побелели, будто зима вернулась настоящая. И этот серый, неприветный день вдруг напомнил ему очень далекое... Но не сразу определилось, что именно, а как-то исподволь, пробиваясь через пелену немало прожитых лет, всплыло — сегодня же четвертое апреля!

Сколько прошло этих четвертых апреля с сорок второго года?

Какой год он вспоминал об этом числе, какой проходил мимо, но сегодня-то дата — тридцать пять лет! Да, тридцать пять годиков прошло с того первого боя, который принял он на Западном фронте в сорок втором году. Сколько времени прошло! Считай, полжизни человеческой! И косточек, наверное, не осталось от его однополчан, погибших в том бою... А он вот живет...

Тридцать пять лет! Если так присесть, призадуматься — словно и не было их! А вот первый бой — как вчера! До мелочей помнится. До каждой рытвинки на том поле перед Прохоровкой...

Да, повезло ему на войне исключительно... Да и в мирной жизни грех жаловаться. Жена попалась ему хорошая, культурная — в издательстве графиком работает, и зарабатывает неплохо. Дочка тоже пока не задирается, послушная, в этом году десятилетку оканчивает. Не отличница, правда, но учится хорошо, особенно с тех пор, как взял он ее к себе на завод (в девятом классе она тогда была и троечки имела), показал свой станочек и сказал: «Вот, Нинуха, в институт не поступишь, приведу тебя сюда сразу и ученицей поставлю. Поняла? Так что насчет своих троечек подумай». Задумалась тогда Нинка, обратно шла тихонькая, лобик сморщила, соображала. Им-то, теперешним, не дай бог руками работать, им мозговую работу подавай. Но годятся ли их мозги для такой работы — они себе такой вопрос не задают. А надо бы. Все в институты рвутся, и не потому, конечно, что жажда знаний их одолевает, по другой причине.

С тех пор Нинка его на учебу навалилась, откуда прыть взялась, зубрит день и ночь. Не знает он, хватит ли у нее мозгов, но что касается прилежания — хоть отбавляй. Вот как на нее завод подействовал. В общем, видно будет: поступит в институт — хорошо, не поступит — беды особой в этом не видит. Он со своей семилеткой живет и на жизнь не жалуется, все у него есть, не хуже, чем у людей. «Жигули», конечно, ему пока не купить, но не всем же на машинах разъезжать, надо кому-то и пешочком, и на метро, и на автобусе. Правда, у них на работе некоторые ребята завели машины, но у них бабы, как правило, на местах работают, где «живая» копеечка в руку попадается, им собрать деньги полегче.

«Так вот, значит, какой у тебя сегодня день, Дмитрий Иванович,— вернулся он опять мыслями к четвертому апреля,— вот какая дата знаменательная...»

И вдруг захотелось ему до невозможности увидеть кого-нибудь из однополчан, кого-нибудь из тех, кто принимал вместе с ним тот первый страшный бой, кто бежал вместе с ним, разворотив рот от «ура», кто вместе с ним извивался под пулями на

том смертном поле... Но нет никого, и не знает он, уцелел ли кто вообще из их батальона. Война-то после этого еще три года шла... Сколько боев пришлось каждому еще принять, страшно подумать. Разве уцелеешь?

Москвичей у них в батальоне было немного, а во взводе только один — помкомвзвода. Сдружились они, потому что Дима себя тоже москвичом считал, хотя был из Коломны, но это почти Москва, сто верст всего.

Да, неплохо бы с кем-нибудь из тех ребят встретиться, посидеть за кружкой пива, вспомнить огни-пожарища, помянуть погибших...

Последние годы ходил он в День Победы на Театральную, бродил среди ветеранов, надеясь: а вдруг? С тоской смотрел, как стояли некоторые с транспарантами — дивизия номер такой-то или армия, а Дима и перезабыл, в каких дивизиях бывал, потому как судьба пехотинская такая — дай бог от силы два-три месяца провоевать в одной части, а там ранение, госпиталь, а оттуда уже в другую часть... Были после войны адресочки нескольких ребят записаны, да потерялись, а сейчас разыщешь разве? Поздно спохватился. Но ведь сразу после войны хотелось ее из души выкинуть, не вспоминать, да и забот было много — как жизнь свою строить, как-то не до того было, а сейчас вот такой далью все затянулось, уж ни имен, ни фамилий не вспомнишь, в лицо можно не узнать. Да и те, кто в войну живыми остались, помереть могли запросто уже в мирные дни. Сколько ветеранов пятидесятилетних, а то и помоложе, ушли на его глазах. Если по одному его заводу судить — многих уже схоронили, многих с заводским оркестром провожали в последний путь. А почему? Да потому, что израненных было много да и большинство воевавших народ курящий и выпивающий. Вот он и сам все никак курить не бросит, ну и выпивает, конечно, правда помаленьку, только по праздникам, но иной раз, когда приуставал на работе от какого-нибудь срочного задания, позволял себе в субботу четвертинку купить для разрядочки. Жена на это не ворчала. Знает же, как другие поддают, что Дима по сравнению с ними мужик совсем непьющий, чем она и гордилась перед подругами.

Но, жизнь, что ни говори, все же однообразная идет — работа, дом, телевизор... В кино, конечно, они ходят, но не так часто картины хорошие. Дима про войну раньше любил смотреть, но последнее время от этих фильмов стало воротить — сорок первый год на экране, а бойцы с баками! Да разве тогда их носили? Один, может, на тысячу! Но актеры, видно, никак не могут сбрить эти украшения даже для съемок, жалко расстаться, а веры в этот фильм уже нет.

С женщинами другими он теперь не крутил и Лидухе своей

не изменял, но раньше был грех. Когда к сорока подкатывало, его что-то стало потягивать на других баб, и поглядывал он на них с охотцей, ну а женщины это чувствуют, одна на работе сразу на крючок и подцепила. Полгода тянулось это, но тут Нинка его родилась, и порвал он с той: теперь у него семья полная, с дитем, хватит баловаться.

Позавтракав, просмотрел он опять женин список, взял авоськи и направился по магазинам, но подспудное желание поделиться с кем-нибудь тем, какой у него сегодня день, подсасывало всю дорогу, хоть бы встретить кого из приятелей, поболтать маленько.

Пока стоял он в очередях, то в одной, то в другой, время к одиннадцати подошло, и открыли уже винный магазин. Народу около него много, соображают, гадают на троих.

Он у магазина или в подворотне какой никогда не пил. Зачем? Он всегда мог свою законную четвертинку домой принести, а Лидуха по этому поводу, к обеду, всегда какую-нибудь закуску делала — салатик какой или селедочку, а то и копченой рыбки дорогой раздобудет.

И сейчас, конечно, мог он встать в очередь и купить маленькую, принести домой, приготовить закусончик (огурцы есть в холодильнике соленые) и выпить, помянуть друзей-товарищей... То, что к трем часам на работу, его не смущало, к трем и разойдется маленькая, а чтоб не пахло, пососет валидольчику. Но неохота пить одному. Ну что, хлопнет стопку, другую, зашумит в голове, а дальше... дальше ничего. Тоска... И отошел он от винного магазина прочь, держа путь к дому, потому что все заказанное женой было куплено и нечего больше по продмагам мотаться.

Недалеко от дома было кафе-мороженое, «стекляшка», прилепленная к четырнадцатиэтажной башне. Взглянул, проходя, сквозь прозрачные занавески — пусто. Сидит один только человек за столиком и больше никого. Вообще в будние дни это кафе посещалось плохо, ну если к вечеру молодежь — девчонки короткоюбочные да парни длинноволосые.

Приостановился Дима: может, выпить портвейну стакан? Надо все же отметить дату. Постоял, подумал и завернул. Пришлось раздеться. Сдал пальто, авоськи на вешалку и сразу к буфету: налейте стаканчик, но тут официантка подскочила: «Прошу, гражданин, за столик». Делать нечего, сел за стол недалеко от одинокого мужчины, развернул газету и стал просматривать ее, пока в буфете вина ему наливали. Раз сел за столик, стакан один брать неловко, пришлось заказать графинчик — на триста граммов, тем более что у мужчины целая бутылка стояла.

Принесли графин, фужер, шоколадку на закуску... Налил он себе дополна и выпил одним махом — дрянь портвейн. Пожевал шоколадку и закурил «беломорину». Хоть и неважен стал табак в этих папиросах, но привык к ним и на сигареты не перешел, любил пожевать мундштучок. Давно их курит. Правда, сразу после войны «Норд» курил. «Беломор» дороговат был для него. Потом этот «Норд» в «Север» переименовали. В общем, «Беломору» он не изменил, как не изменил и «полубоксу», хотя многие его знакомые в погоне за модой волосы отрастили. Вот и сосед, что напротив сидит, которому за шестьдесят верняком, тоже при баках и с волосами длинными.

— Ну как, легче стало?— обратился к Диме как раз этот мужчина, подмигнув.

— Да я не с похмелья, так пришел,— ответил Дима.

— Пересаживайтесь ко мне. Вдвоем веселее будет.— Бутылку он уже ополовинил, и глазки поблескивали.

— Пожалуй.— Взял он свой графинчик и пересел к мужчине за столик.

— Будем знакомы,— протянул тот руку.— Владимир Михайлович, архитектор.

— Дима,— представился он, пожимая протянутую руку.

— До каких пор в мальчиках ходить будем?— засмеялся архитектор.— За пятьдесят, наверное?

— Да. Но я по-простому, по-рабочему. А потом, где мы?.. Не на конференции.

— Что верно, то верно. Ну давайте еще!

— Давайте.— Чокнулись, выпили.

Дима оглядел соседа: да, за шестьдесят, хоть и молодится, значит, воевал. Может, с ним о фронте поговорить, войну вспомнить?

— Я почему сюда зашел-то,— начал Дима.— Дата у меня сегодня. Ровно тридцать пять лет, как первый бой принял...

— Неужели помните?

— Помню. Словно вчера было. И погода такая же мерзкая была. Снег, правда, не шел, но тоже пасмурно было, облака низко висели, и ветер был сильный... Снег на поле лежал мокроватый, но не белый, а желтоватый, грязный... И воронок уйма по полю... Да, было дело...— закончил Дима, надеясь, что вот сейчас и архитектор кое-что вспомнит.

Но тот разговор о бое не поддержал. И понял Дима, что вряд ли воевал он, а если и был в армии, то не в передовых частях. Настоящий фронтовик после Диминых слов сразу бы вскинулся, про свое начал, а этот помалкивает,— видно, нечего ему вспомнить.

— А меня на пенсию выпроваживают. Устарел, говорят. Но-

вых веяний не понимаю... Что-то обидно стало, ну и решил встряхнуться. Может, еще бутылочку организуем?

— Нет, не люблю я портвейна. Да и пора мне,— поднялся Дима.

Чего ему с этим архитектором распивать?— у него свое, у Димы свое. Неинтересный разговор получится.

Дома разложил он купленные продукты по местам — что в холодильник, что в буфет, посмотрел на часы — около двенадцати, до работы еще времени много. В голову малость ударило, но настроения нет. Нет, и все. И позвонить некому. В такое время на работе все, да и чуял он, что с приятелями теперешними скучно ему будет тоже, того разговора, который ему нужен, не выйдет. А какой разговор ему нужен, он и сам по-настоящему не знает. Только задушевный должен быть разговор, фронтовой, чтоб до слезы пробрал.

Побродил по квартире (двухкомнатная у него) из угла в угол, искурил две «беломорины», а на душе смуть не проходит.

«Эх, Дмитрий Иванович,— сказал он себе,— сам не знаешь, что тебе надобно, что душа твоя просит? А чего-то она просит? Чего-то ей надо? А надо, наверное, хоть одного товарища настоящего, фронтовика истинного, с самого передка человека, с которым обо всем переговорить можно было, все до последней черточки вспомнить... Ведь не такая война была, как сейчас в иных книжках описывают. Не такая! Ведь читаешь иногда — вроде все так, вроде правдоподобно, но чего-то, самого главного, нет. И откладываешь книжку в неудовлетворенности. Да, не совсем такая война была... Было в ней трудностей больше, и смертей поболее, и геройства больше, не такого геройства, какое в таких книжках описывают, а обыкновенного самого геройства, которое тогда не геройством называли, а просто — фронтовые будни. Вот о них-то не всегда прочитаешь, а вся война, поди, из таких будней и состояла...»

Вот, к примеру, выкопал ты себе ячейку для стрельбы стоя, окоп, залез в него, расположился, а в нем через час вода поднялась выше колен, а на дворе осень прохладная или весны начало, а ты с этого окопа никуда не можешь — смерть иначе. Вот и стоишь в нем по колено в ледяной воде — день, ночь, сутки, двое, потому как землянки еще не выкопаны, а если и выкопаны, то в них тоже вода. Помнил он такое — на Северо-Западном было. Ну, что это? Геройство? Сейчас думаешь — конечно! Но о таком геройстве рассказывать в книге вроде неинтересно! То ли дело, на танк солдат идет с одной гранатой! Это расписать еще как можно! Но ведь это миг один! А в залитом водой окопе порой неделями сидели, а то и месяцами... И как не заболевали, как ноги целыми остались, непонятно.

А вот таким терпением нечеловеческим, если сказать по правде, и война выиграна. Но описывать это — что за интерес. Вот Нинке своей начнешь про войну рассказывать (не сейчас, а когда поменьше была), что ей занятно? «Сколько ты, папка, танков подбил? Сколько немцев убил?..» Он всю войну в пехоте, а танков подбивать не приходилось. Да и знает он, что подбить его гранатой почти невозможно. Все это случаи единичные, дуриком получались. Об него, махину, снаряды семидесятишестимиллиметровые, как орехи, отскакивали, а тут ручной гранатой в девятьсот граммов...

Или насчет жратвы... Где писали, как туго бывало порой с продуктами, как по нескольку дней маковой росинки во рту не имели! Так это не просто полеживать голодным, а надо и переходы делать и землю рыть. Лопата из рук валится, а копаешь. Да чего там говорить, многое в войне было, о чем не сказано еще и не написано. Потому и охота с настоящим фронтовиком, пехотинцем поговорить, с ним-то можно правдой-маткой поделиться, поговорить обо всем без утайки.

Третью папиросу Дима запалил. Разбередил себя этими воспоминаниями, только без собеседника вхолостую все это. Подошел к окну, посмотрел на мокрый снежок, на серые низкие облака — точь-в-точь денек, как тогда... Постоял еще немного, подумал. Нет, этот день провести обычно никак нельзя, не махнуть ли в центр? И закатиться там не в ресторан, а в простой пивной бар, где много народу всякого и где встретить фронтовика бывшего шансов много, ну и посидеть за кружкой хорошего пива, отвести душу...

Оделся он, вышел на улицу, подошел к автобусной остановке и тут только вспомнил: а на работу? Время первый час. К трем, разумеется, не вернуться... «А, ладно, возьму мотор, могу себе это позволить,— подумал он,— звякну мастеру, попрошу отгул, есть у меня два дня переработанные».

В такси сел рядом с водителем. Не успели тронуться — счетчик двадцать копеек выдал. «Эх, черт, забыл совсем, что рубля три с лишним до центра придется выкинуть. Ну что ж делать, раз дата!»

Деньги у него в заначке всегда были — рублей двадцать — тридцать. В наше время без денег на улицу нельзя выходить — вдруг что дефицитное попадется. Так он недавно польские сандалеты подхватил в Доме обуви. Зашел случайно, а они на прилавке! Хорошо деньги с собой! Выложил двадцать три рублика — и с сандалетами на лето. А то ищи весной, бегай...

К пивному бару на Пушкинской улице подъехали — три сорок! Считай, бутылки нет! Но все же Дима сдачи с четырех рублей брать не стал, не любил мелочиться.

В этом баре он всего второй раз. Однажды в центре с дружком одним встретился, он и затащил. Диме здесь понравилось — не «стекляшка» какая-нибудь, а нормальная пивная, в подвальчике. На Театральном проезде похожая была, где сейчас «Детский мир». В общем, бар как бар, какие на Сретенке были, на Серпуховке, на Пушкинской площади, только водки теперь в барах не подают.

Выбирать не пришлось, набито было плотно, поэтому подсел он на свободное местечко к столику, за которым сидели ребята молодые, с кудрями. С ними, конечно, разговора никакого не выйдет, но они вроде уж на выход собираются, тогда, может, кто из одногодков подсядет.

Заказал Дима сразу три кружки... По дороге заметил телефон-автомат, значит, позвонить сможет. Да и пора уже звонить, время второй час, на работу все равно уже не поспеешь, если и надумаешь.

Кудрявые ушли, и некоторое время сидел он один, не спеша отхлебывая из кружки пенистое пиво, причем очень хорошее. Пил с удовольствием, забивая портвейную сладость приятной горьковатостью свежего пивка.

Подсели двое... В глазах огоньки, руки потирают, видно, с бутылкой. И верно, еще пива им не принесли, как откупорили они белого и выпили украдкой, по-воровски оглядываясь по сторонам. Зажевали принесенной с собой закуской и сразу повеселели.

— Чего скучный, папаша?— спросил Диму один из них, который помоложе.

— Я не скучный. Просто дата у меня сегодня...

— День рождения, что ли?

— Нет. В сорок втором первый бой принял... Как раз в это время. В середине дня пошли.

— В сорок втором...— протянул второй.— Давненько... Тебя, Валя, и на свете не было,— обратился он к дружку.

— Да... история уже...

— Какая история! Для меня это будто вчера было.

— Может, выпьешь, папаша? У нас осталось,— предложил первый.

— Нет, спасибо.

— Давай, давай, не стесняйся,— начали уговаривать оба.

— Ну, ладно,— согласился Дима.

Выпил, крякнул, а что толку? Разговора с ними не выйдет — история это для них.

Соседи, видно, торопились. Принесенное пиво выпили быстро, о чем-то пошептались своем и ушли, кивнув Диме на прощанье.

А он задумался... Кого бы он хотел увидеть сейчас в первую

очередь? Конечно, помкомвзвода своего, москвича, который на вторую минуту боя превратился во взводного, а еще через несколько минут принял роту и которого тащил Дима на себе раненного семью пулями, уже не надеясь, что живого, но когда притащил на исходные позиции — дышал еще помкомвзвода. Уже через много дней, будучи сам раненый, справлялся Дима у военврача: остался ли живым его командир? Тот ответил, что, видимо, выживет, только одна рана опасная, а остальные пули прошли по рукам и ногам.

Имя и фамилию своего помкомвзвода он помнил, говорил ему тот и адрес свой московский, но бумажка, на которой он его тогда записывал, конечно, потерялась, и теперь даже название улицы он запамятовал.

— К вам можно?— прервал Димины воспоминания подошедший мужчина.

— Конечно.

Мужчина был постарше Димы лет на пять, но седой не весь, а только на висках, и черная прядь, падая на лоб, молодила несколько. «Наверное, вояка бывший, да не рядовой, а из командиров — больно голос басовитый»,— подумал Дима, приглядываясь к соседу. Тот неспешно вынул из кармана маленькую, не таясь и не оглядываясь по сторонам, налил немного в принесенный заранее стакан и опрокинул, не закусывая.

Дима пододвинул ему неначатую кружку:

— Запейте.

— Как принесут, отдам,— пробасил тот и взглянул на Диму каким-то очень зорким, внимательным взглядом.— Воевали?

— Воевал,— ответил Дима с придыханием, предвкушая уже нужный, интересный разговор.

— Рядовой?

— Так точно!— невольно по-солдатски откликнулся Дима.— А вы, наверное, по званию капитаном были?

— Бери выше.

— Майором?

— Подполковником был.

— По годам-то вы не очень старше меня. Значит, быстро в чинах двигались.

— Нормально. Я ж войну старшим лейтенантом начал. Кадровым был.

— Ну, тогда понятно... Вы, товарищ подполковник, никуда не торопитесь?

— Нет. Отторопился.

— Тогда я, если не возражаете, сейчас на работу звякну и в магазин смотаю. Понимаете, сегодня тридцать пять лет, как я

первый бой принял. Надо отметить, как по-вашему? А? Посидим, поговорим...

— Ну, что ж, не возражаю. Где первый бой-то приняли?

— На Западном, у Медыни...

— А я в апреле на Калининском был, подо Ржевом.

— Значит, договорились?

— Идите. Жду.

Дима быстро поднялся, рысцой добежал до телефона, позвонил Афанасьевичу, мастеру, сказал, что такое, брат, дело. Фронтовой друг издалека приехал, всего на один день, сам понимаешь, прошу отгул. Афанасьевич понял. После этого Дима оделся и вприбежку до магазина. Пока стоял в очереди, думал: одну взять бутылку или две? Решил, что две многовато. Не для пьянки же берет, для разговора мужского. Одной вполне хватит.

Заметив, что карман Димы отягощен поллитровкой, подполковник бывший усмехнулся:

— Не много ли, солдат? Четвертинки хватило бы.

— Я на вино крепкий,— ответил Дима, радостно улыбаясь.— Да и вы не девица.

— Ну, сейчас уже не то, а было время...

Дима налил два стакана, развернул сверток с колбасой любительской, разложил на столе, подвинул стакан подполковнику. Тот поднял его и спросил:

— За то, что живым в том первом бою остался?

— Нет,— покачал Дима головой.— Давайте тех ребят помянем, кто там остался навечно...

— Да, за них в первую очередь надо,— подтвердил подполковник, и его голос чуть дрогнул.

Они помолчали и по полстакана, не отрываясь, проникновенно приняли. Потом долго закусывали колбасой. Правда, налегал больше Дима, сосед только ковырялся в еде.

Потом подполковник взглянул на Диму вроде мельком, но каким-то настороженным взглядом и сказал будто вскользь:

— В марте-то тоже годовщина была одна...

— Какая?— не понял Дима.

— Какая?— переспросил чуть раздраженно тот, а потом с горечью добавил: — Эх, солдат, солдат!..

— Что-то не припомню,— сказал Дима, но смутно начал догадываться.

— Ладно, хватит об этом,— резанул подполковник.

Тут Дима догадался окончательно, но виду не подал. Захочет подполковник об этом продолжать — пусть, не захочет — не надо. Диме не о том хотелось поговорить.

Но по тому, как сосед нахмурился и долго молчал после этого, понял Дима, что для него, видимо, это важно. На чеканном,

с резкими морщинами лице лежало раздумье, а может, и тоска.

Молчание становилось уже неловким, и Дима взялся за бутылку.

— Что ж, еще помаленьку?— И приготовился разливать, но подполковник накрыл свой стакан ладонью и отрицательно помотал головой.

Дима себе все же налил, но пить один не стал. Пришлось закурить, но неловкость не проходила. «Эх, надо было ответить, что помню,— подумал он.— Да и верно, разве из памяти ушло, с чьим именем в атаки ходили. Что было, то было. От этого не уйдешь. Но, с другой стороны, чего поминать? И если по правде, то, конечно, призабылось многое. Может, оно и к лучшему?»

— Порядок был на войне,— наконец произнес подполковник, будто и не Диме, а так, себе.

— Да, конечно,— подтвердил Дима, но, вспомнив многое — и наступление сорок второго, и многие другие бои, в которых участвовал,— досказал: — Но не всегда.

Подполковник вскинулся, брови наморщил, глаза выкатил и хотел было сказать что-то, но, махнув рукой в сердцах, потянулся к бутылке, налил себе немного и выпил, не чокнувшись с Димой.

Нет, не выходило того разговора, о котором Диме мечталось. По-разному, видать, они воевали, с разных концов войну видели. Не расскажешь соседу про первый бой по всей правде, со всеми подробностями.

Опять наступило неприятное молчание. Дима подвинул себе стакан с водкой, но руку протягивать для чокания тоже не стал, а отхлебнул так. И начал было он жалеть, что разорился на бутылку и что на работу не пошел, как увидел приближающегося к ним замухрышистого мужичонку, одетого плохо, с припухлым лицом, на котором дрожала жалкая улыбочка, а в глазах надежда затаенная, какая — для Димы понятно, потому как глядели они на стаканы, в которых еще оставалась водочка. Подошел вихляющей походкой, но у стола вытянулся и гаркнул по-военному:

— Разрешите поприветствовать, Петр Севастьянович!

Подполковник поднял голову, и взгляд его поживел.

— А, Иван... Подсаживайся. Это мой солдат. В моем батальоне служил в сорок втором. Иванов Иван сын Ивана.

— Так точно, Петр Севастьяныч! Солдат Иванов прибыл в ваше распоряжение. Разрешите присесть?

— Садись. С похмелья небось?

— Есть маленько.

— Налейте ему поправиться, если не жалко,— попросил подполковник Диму.

— Конечно, конечно,— заспешил Дима.— Чего жалеть, для того и куплено.

Иванов дрожащей рукой поднес стакан ко рту. Был он, наверное, Димин одногодок, но выглядел много старше, лицо сморщенное, под глазами мешки, пьет, видно, крепко.

— Когда завяжешь, Иванов? — спросил Петр Севастьяныч с металлом в голосе.

— Разве с моей завяжешь! Вы же знаете, Петр Севастьяныч, моэ положение семейное, с кем живу-маюсь. Разве она понимает, что ее муж, солдат Иванов, Россию спас, что на войне я битый-перебитый, что ни одного нерва живого не осталось? А после войны что она, стерва, заявила? Ты с одними железками на грудях пришел, а другие, тебя поумнее, отрезики привезли, барахлишко немецкое. А ты гремишь своими железками и водку глотаешь. Знаете, как обидно стало? Это мои-то награды, кровью заработанные, она железками обозвала! С тех пор все наперекосяк у нас идет! Одним словом, баба! Надо было тогда уйти от нее, да Анютку пожалел.

— Пора завязывать, Ваня,— сказал подполковник вроде даже ласково, на что Иванов вскочил со стула, вытянулся:

— Есть завязывать, Петр Севастьяныч!

Подполковник усмехнулся снисходительной, но довольной улыбкой.

И понял Дима невеселую их игру в начальника и подчиненного, хотя оба они сейчас никто, оба поддают, видно, частенько, и вряд ли даже служил Иванов в батальоне подполковника, придумали, наверное.

Петр Севастьяныч немного захмелел, лицо покраснело, но все еще глядел на Диму как-то холодно, и этот взгляд немного смущал Диму, хотя он никогда в армии перед начальством особо не робел, да и какой для Димы этот бывший подполковник начальник? Ну, звание, конечно, высокое было, ничего не скажешь, и возрастом он постарше Димы, но он-то сейчас не солдат, а вольный гражданский человек, чего ему? Чувствовалась в подполковнике какая-то тяжелая сила, которой непроизвольно хотелось подчиняться, однако это и вызывало в Диме такой же непроизвольный внутренний протест.

Поэтому, когда подполковник наклонился к нему и, упершись взглядом, спросил хрипло: «Разве без него войну выиграли бы?» — Дима чуть было не поддакнул, тем более что Иванов ткнул его под столом коленкой и выскочил: «Никак нет!» — видно поняв сразу, о ком речь.

Да, чуть было не поддакнул, но потом озлился сразу на себя за такую податливость и ответил почти твердо:

— Думаю, выиграли бы, Жуков был, Рокоссовский... Да мало ли маршалов...

Подполковник отвернулся от Димы — что с тобой говорить, чего ты понимаешь, дескать. Понял так его Дима. Но вступил Иванов и сказал, как заученное:

— А кто их в руках держал? Кто направление им давал? Ты подумал?

— Брось, Иван, чего ему толковать, не понимает человек,— остановил его подполковник небрежным жестом.

— Почему это я не понимаю?— немного возмутился Дима.

— Вот уж этого я не знаю,— развел руками Петр Севастьяныч.— Значит, ума не хватает.

— Ну, насчет ума...— поднялся тоже Дима.— Я, наверное, свою жизнь не глупее вас проживаю...

— Ладно, ладно, не обижайся,— перебил подполковник, перейдя на «ты». — Понял?

— Понял,— ответил Дима.

— Я выйду на минутку,— вышел из-за стола подполковник.

— Ты действительно в его батальоне служил?— спросил Дима Иванова.

— Служил.

— Как это вы друг друга разыскали?

— Давно уже. Случайно, конечно. Был около моего дома магазин «Вино-воды». Тогда еще в розлив продавали. Ну, я частенько туда забегал после работы стопку пропустить. Гляжу, заладил туда ходить один новенький, и лицо что-то знакомое. Вспомнить, конечно, не могу. Он тогда в форме ходил, колодочек орденских два ряда, и пил аккуратно, все больше коньячок. Я все смотрю, смотрю... Где я этот нос кривоватый видел, где этот голос зычный слышал — ума не приложу. Но, чувствую, встречались мы где-то. Потом разговорились, кто где воевал, тут и выяснилось... Капитаном он тогда был, командиром отдельного стрелкового батальона. Подо Ржевом в сорок втором мы два месяца три деревеньки брали, да так и не осилили.

— Ну, а теперь-то чего ему поддакиваешь? И меня ногой толкал.

— Так.

— По привычке, что ли?

— Какая привычка. Там, на фронте, я с ним и пары слов не сказал. Понимаешь, мужик он хороший. Пенсию получит — гуляй вся братва. Через два дня сам пустой ходит. Хороший мужик.

— Мне он что-то таким не показался. С гонором.

— Ну, это есть. С прежних времен осталось, привык коман-

довать. Ну и насчет **н е г о** возражений не терпит. Я и толкал тебя, что стоило поддакнуть, а человеку приятно.

— Не горазд я поддакивать каждому. Своя голова на плечах есть.

— Жалко, что ли?

— Не жалко, а надо свое мнение иметь.

— У меня, думаешь, нету?

— Тогда чего же?

— А так, не хочу хорошего человека обижать.

— А то в следующий раз стопку не поставит?— усмехнулся Дима.

— Это ты зря. Не в этом дело. Потом, неизвестно еще, кто кого больше угощал.

Подполковник вернулся, прямой, на ногах крепкий, но на стул опустился тяжело и, поглядев на Диму, сразу начал, перейдя опять на «вы»:

— Вы, наверное, думаете, что кто рядовым или там взводным воевал, тем только и досталось? Только те и воевали по-настоящему?

— Нет, я так не думаю. Но разница все-таки была. Вы в мокром окопе по неделям не маялись, наверное?

— Что мокрый окоп! Я даже в блиндажах не отсиживался. У меня командный пункт в двухстах метрах от передка был. Верно, Иванов?

— Так точно!— заспешил Иван.— И в наступление наше последнее сами в цепи шли. Красиво шагали. Мы тогда прямо замерли...

— Это ерунда!— перебил подполковник.— Если хотите знать, мне тогда легче было в цепи-то, чем на командном пункте у телефона сидеть.

— Почему же легче?— спросил Дима.

— А потому, что воевать трудней всего было посередке, между солдатами и генералами. Генерал приказ отдал — и все! Он солдатских глаз не видит. А мне этот приказ выполнять. Мне к живым людям идти, в глаза их смотреть и... своими руками на смерть посылать. Поняли?

— Чего понимать! Солдату куда легче было. Он только за себя в ответе, а у вас, Петр Севастьяныч, тысячи,— опять вклинился Иванов.

— Да, тысячи...— задумчиво произнес он.— Это хорошо, когда тысячи, а когда в ротах-то по двадцать человек, а мне приказ: давай, давай, бери эти деревни, чтоб кровь из носа... А чем брать-то?— Он провел рукой по лбу и замолчал.

Они все немного помолчали, каждый, видно, в своем, в своих воспоминаниях.

— Вот и идешь,— продолжал Петр Севастьяныч,— к ротным, к взводным, к людям, так-то и так-то, братцы, надо! Кто понимает, а кто думает про себя: выслуживаешься, сволочь, на нашей кровушке... вот оно как бывало... Вот небось ваше первое наступление в сорок втором боком вышло? — обратился он к Диме.

— Да, полбатальона положили,— подтвердил тот.

— Ну вот. Тебе что? Натерпелся, конечно, страху на поле, приполз еле живой обратно, залез в землянку, отдышался, закурил, поматерил немца и спать. А комбату твоему? Что? Знал?

— Догадывался, что по головке не погладят.

— Догадывался... А я знаю что! После этого в самое пекло бросишься...

— Уж точно,— опять встрял Иван.

— И получалось, что кругом ты один виноват.

— Я это еще тогда немного понимал.— Диму разговор этот начинал интересовать.

Впервые Диме так запросто приходилось беседовать с большим военным чином, хоть и бывшим. Тогда, в войну, заботы начальства Диму мало трогали, своих хватало. И если по правде, то нередко своих командиров они матерком припечатывали. Им-то со своей точки зрения, которая с окопа, разумеется, многое казалось не так, смысл многих приказов было понять нелегко, а порой и совсем не понимали. И разговор этот становился все занятней, хотя, может быть, со своим братом солдатом и проще был бы этот разговор, душевней, но и с этим подполковником интересно о войне поговорить, потому как по-другому тот ее видел, пошире, наверное. Первое, не совсем приятное впечатление, произведенное на него подполковником, сейчас сгладилось.

Тот сидел, задумавшись, отхлебывая не спеша пиво, уставив взгляд куда-то далеко. Костюм на нем был дорогой, но не новый, а сорочка белоснежная, чистая, и при галстуке. Нос у него и верно кривоватый, набухший немного, брови густые нахмурены. Был он мужик красивый, и в те времена военные, наверное, от баб отбою у него не было.

— Конечно, ребятки, были у нас на войне и праздники... День Победы не забыть никогда, но еще Александр Васильевич Суворов говорил, что солдат не только своими подвигами в бою горд, но и теми лишениями, которые в походе перенес. Вот в последние годы и вспоминается часто сорок первый да сорок второй — самые трудные, самые кровавые. А сорок пятый, победный, так сказать... Тогда сами солдаты наступать рвались, чуть ли не командиров подгоняли: когда дальше пойдем, уж больно хочется поскорей с Гитлером-гадом разделаться.

— Да, тогда веселые были денечки. Потери тоже были, но

тогда о погибших уже не так переживаешь — не зазря, а с толком погибли,— сказал Иванов, и легкая улыбка прошлась по лицу.

Вспомнил и Дима те годы: и верно сказал подполковник, рвались они тогда в бой, хоть и не забывали, что смертью может он обернуться, но рвались. Он-то, Дима, День Победы в госпитале встретил в одном городке на юге Горьковской области. Название городка забыл, но помнил — съедобное какое-то. Так вот, когда о победе объявили, так из каждого окошка в том городке старинные платки вывесили — красные с цветами, и так это было красиво, словно весь город в настоящих цветах. Выскочили они тогда — кто ходячий — на улицу, народу тьма, все радостные и смеются и плачут, раненых в дома зазывают, угостить хотят. Попал Дима тогда к одной женщине, немолодой уже, так та его и водочкой угостила, и картошечкой вареной, и плакала все, плакала, то ли от радости, то ли потому, что Победа пришла, а сынки ее уже не вернутся. Да что говорить, те дни тоже не забыть. Под Кенигсбергом уж на что бои сильные и кровавые выдались, но зато настроение какое — и смерть не страшна, да и не верилось в нее что-то. Уверен был Дима, что до Победы доживет. И дожил, и сейчас живет, и вроде на здоровье не жалуется.

— Знаете, чем День Победы запомнился,— сказал Петр Севастьяныч.— Бои-то уже второго мая закончились. Расположились мы по домам, которые целыми остались в Берлине, но темнота еще в городе, в комнатах свечи жжем, «катюши» или лампы керосиновые, и вдруг девятого мая, когда капитуляцию подписали, свет зажгли! Электричество. Понимаете, все четыре года во тьме, маскировались, при коптилках сидели, и вдруг — с в е т... Какое-то чувство необыкновенное — значит, все, кончена война... Отвоевались... Победили...— Он откинул прядь волос и улыбнулся.

И у всех улыбки на лицах... Такое вспомнить радостно. Трудный путь прошли — в крови, в грязи, но в душах-то чисто было. Долго они так молчали растроганно, потом Дима тихо спросил Ивана:

— Где работаешь-то?

— А,— махнул рукой тот,— в продмаге рабочим.

— Ну и как?

— Чего как? Сыт, и выпивка, почитай, почти каждый день.

— Так и спиться можно, каждый день-то.

— А я уж давно... Иначе чего мне в продмаге делать,— ответил Иван без боли, словно был примирен с этим давно и окончательно.

Дима покачал головой.

— Нехорошо это.
— Чего нехорошего.

Подполковник вдруг поднял голову, лицо скривленное, губы дрогнувшие.

— Иван, а Катеньку мою помнишь?—спросил негромко, умеряя мощь своего голоса и стараясь удержать его от дрожи.

— А как же, Петр Севастьяныч! Как не помнить. Век не забуду.

— Когда же на могилку съездим?

— Да нет, наверное, могилки-то. Сколько лет прошло, сравнялось все.

— Помню я то место, Иван. Найду.

— Как прикажете, так и поедем. Я завсегда готов. Те места взглянуть тоже хочется.

— Помянем Катю,— торжественно сказал Петр Севастьянович и поднялся.

— Помянем,— вскочил Иван. Поднялся и Дима, хотя и не знал он этой Кати, но догадался, что, наверное, любовь это военная.

— А ты знаешь, Ваня, беременна она была, с дитем погибла.

— Да, говорили вы.

— Кабы знал я тогда, мигом бы ее с передка в санроту отправил. Но скрыла она от меня, чтоб со мной, значит, не расставаться. Уж потом сказал мне доктор, что приходила она к нему с этим делом. И вот, ребятки, мог бы быть сын у меня... Теперь бы ему тридцать пять лет было... А сейчас — никого...

— Без детей плохо,— заметил Дима.— Они, дети, устойчивость в жизни дают.

— Как ты сказал? Устойчивость? Что ж, верно, пожалуй,— подтвердил подполковник.

— А вы без жены, значит?— спросил Дима.

— Лучше Кати не встретил, а с худшей — зачем?

— Ну, бабы-то сохли по вас, наверное?

— Что бабы? Друга мне было надобно, а такой не попалось.

— Какой друг из бабы может быть?— взвизгнул почти Иван.— Что вы! Враг она, баба, злейший мужику, вот что.

— Это ты брось, не понимаешь ничего.

— Есть бросить,— машинально ответил Иван, а сам усмехнулся снисходительной знающей усмешкой: — Я-то понимаю, а вот вы...

Опять подполковник задумался, подперев подбородок руками, видно, Катю свою вспоминал. У самого Димы на фронте женщин не было. Только когда в госпиталях отлеживался, иной раз удавалось ему тиснуть какую-нибудь сестричку в коридоре, а серьезного ничего не случалось. Молод он еще был, мальчишка сов-

сем, к концу войны только двадцать два стукнуло, а сестренки больше поглядывали на офицеров, потому как и вид у тех был другой — в пижамах ходили, а рядовые в халатах фланелевых, стираных-перестираных, из-под которых торчали кальсоны. Куда с таким фасадом к девчатам подъезжать, да и стриженные наголо головы тоже ни красоты, ни смелости не придавали.

— Вздрогнем еще по разику,— выступил Иван.

— Погодите, куда торопиться... Так когда же, Иван, мы с тобой подо Ржев тронемся?

— Я сказал, хоть сейчас. Но мы с вами, поди, уж сколько лет собираемся и никак собраться не можем, то одно, то другое. Мне что, я десятку на дорогу в любой момент заиметь могу, но вы-то хотите по-богатому... Всю деревню эту, за которую столько жизней положили, угощать, что ли, надумали? Всего-то тридцать целковых надо...

— Нет, надо с деньгами ехать. Вот пенсию получу...

— Так у вас на эту пенсию со всех сторон, как воронье, всякие приятели слетятся. Вы же там, у банка, уже компании строите. Видал я. Не один раз с вами ходил.

— Надо сразу — с банка и на вокзал.

— Вот именно.

— Там, у Рижского, в гастрономе купить всего и на поезд.

— А я что говорил. Так и надо. Иначе до смерти не соберемся.— Иванов стряхнул пепел от папиросы прямо в кружку, а потом вопросительно взглянул на Диму — не пора ли еще налить.

Но тут крикнул кто-то с дальнего столика:

— Севастьяныч! Подойди-ка к нам на минутку!

— Ну, вот,— сказал Иванов.— Уже зовут. Это Михаил Михайлович. Угостит вас, Петр Севастьяныч, на копейку, а вы ему на десятку выставите. Не ходите.

— Разговорчики!— прикрикнул подполковник.— Друг он мне, майор бывший,— объяснил он Диме.

— Какой друг!— вскинулся Иван.— Нету у вас друзей, кроме меня. Давно пора понять.

Подполковник поглядел на Иванова, улыбнулся ласково, хлопнул того по плечу.

— Это я, Ваня, давно понял... Меня вообще солдаты любили,— обратился он опять к Диме.— Держал я батальон — во-о,— он сжал кулаки,— в строгости, но любили ребята, любили... И когда полком командовал, тоже любили, но расстояние чувствовали, панибратства я не терпел. Ладно, Иван, отойду я на минутку, может, чего сказать ему мне надо.— И пошел к дальнему столу.

— И верно любили его солдаты?— спросил Дима.

— Вообще-то любили...— Иван задумался.— Но знаешь, в

том последнем наступлении один тип его кокнуть хотел...

— Да что ты говоришь?! — поразился Дима.

— Ну, свихнутый он был маленько. Да и, честно говоря, до последнего братва дошла. В мокроте, в голодухе, и каждый день ожидаешь, как бы не послали сегодня опять эти проклятущие деревни брать... Он уж потом мне сказал об этом, что, как увидел — лезет под пули первым комбат, понял: есть совесть у человека, сам в цепи идет, жизни не жалеет, ну разве после такого рука поднимется. Да и догадывались мы, что жмет на него высшее начальство, что не ради орденов и выслуги в пекло лезет... Ты только не проговорись про это. Слышишь?

— Что ты, Иван, про такое говоришь,— сказал Дима.— Мне аж страшно стало. Я всю войну провоевал и слыхом не слыхал, что такое мог кто-то задумать.

— Измученные были... Двое по-настоящему свихнулись, в госпиталь отправили.

— Может, симулировали?

— Нет, по правде... Один из себя Героя Советского Союза воображал, из консервной банки звездочку вырезал и нацепил, а другой по-тихому спятил: молчал, слова не добьешься, ну и вообще ни на что внимания не обращал. Обстрел идет, а он будто и не чует... Подполковник сам про этот бой обязательно помянет. До сих пор переживает...

Они помолчали немного, потом Дима спросил:

— Я все не пойму, чего ты перед ним, как перед начальством каким, изгиляешься, поддакивать торопишься?

— Жалею.

— Кого?

— Севастьяныча самого и жалею.

— А чего его жалеть? Пенсия у него, наверное, поболе твоего оклада вдвое...

— При чем тут пенсия,— махнул рукой Иван.— Ладно, ты в наши отношения не встревай, отчего да почему.

— Я просто удивляюсь.

— Нечего тут удивляться,— перебил его Иван Иванов, солдат.— Можно плесну еще малость?

— Валяй.

— Вот выпью, может, расскажу тебе...— Он налил полстакана, отглотнул и, закурив, начал: — Во время первого нашего наступления я был связным у ротного, ну и бежал вместе с ним, а он к танку подбитому направление держал, чтоб укрыться за ним и оглядеться. До танка мы не добежали — обстреляли нас оттуда, и ротного убило. Когда наступление захлебнулось и вернулись мы, я помкомбата увидел и доложил ему, что под танком подбитым немцы. А фриц тем временем огонь сильный по

передку вел, и связь вся была перебитая. Помкомбат решил, что надо комбату об этих немцах доложить, и дал ходу к штабу и меня прихватил. Я, конечно, рад с передка смотаться, пока немец бушует. Прибежали в Черново, помкомбат в блиндаж к капитану, а я около присел, жду. Холод зверский, да и дрожь после наступления не отпускает. Сижу мечтаю — выпить бы сейчас. Тут помкомбат и сам Петр Севастьяныч из блиндажа вылезли. Он на меня посмотрел, на озябшего, дрожащего, и на помкомбата напустился: «Вы почему бойца на холоде оставили? Сами в блиндаж теплый, а его на морозе...» Тот что-то в ответ промямлил, дескать, не решился, думал, нельзя и тому подобное, а комбат, то есть Петр Севастьяныч, меня в блиндаж пригласил, налил кружку водки, кусок черняхи дал и мяса вареного. И уж после того, как я выпил, закусил, стал он про тех немцев, что под танком, расспрашивать и попросил меня на карте показать, где и что... Понял теперь?

— Да...

— Понимаешь, в такой-то момент внимание, слово ласковое? Это, брат, на всю жизнь запомнится. А ты — почему да отчего?

— Понимаю я,— сказал Дима и как-то по-другому поглядел на бывшего солдата Ивана Иванова.

— Это хорошо, что понял... А вообще война настоящая у меня не с ним была,— сказал Иван после некоторой паузы.— После первого ранения там, подо Ржевом, я знаешь в какую попал?

— В какую?

— Панцири у нас были под шинелями. Ни одна пуля не брала!

— Да ну?— удивился Дима.

— Вот тебе и ну! В рост в атаки ходили. Немцы стреляют, а мы идем! Знаешь какой страх на них нагоняли. Идем, и все! Только голову беречь надо было. А в грудь — не убьет! Так вмятинка от пули оставалась, ну и удар, будто кулаком тебя двинули...

— Я всю войну провоевал и не слыхал даже. Ты того, не заливаешь?

— Под Витебском в сорок третьем зимой действовали. Под их рождество здорово фрицам наклали. Понимаешь, в упор стреляет, гад, а нам хоть бы хны, идем и идем...

— Даже не верится,— заметил Дима.

— Мне на это наплевать, верится тебе или не верится, я факт рассказываю. Даже названия тех деревень помню: Сверчки и Лобаны. Рикошетили пули запросто. А тут и живот был прикрыт и пах. Идешь спокойно, ну а руки-ноги не в счет — это не страшно.— Иван отглотнул немного, закурил.

— А тяжелый панцирь-то был?

— Килограмма три всего.

— Но все же ранило тебя?

— Конечно. Руки и ноги открыты. В ногу и долбануло осколком. Знаешь что, ты Севастьянычу про это не говори.

— Почему?

— Опять почему? Не говори, и все. Я ему про это не рассказывал.

— Хорошо, не буду.

Подполковник вернулся к столу немного покрасневший, видно, принял дозу там, куда его приглашали. Уселся поудобней и взялся за пиво.

— О чем разговор вели?— спросил он.

— О чем мы можем, Петр Севастьяныч, все о том же, о войне,— ответил Иванов.— До конца дней, наверное, о ней будем вспоминать. С нами она только и уйдет, а пока мы живы, она все еще в воздухе висит миражем каким-то. Другим не видать, а нам только приглядеться маленько — и вот плывут дымы-пожарища, гудят в небе самолеты, грохочет где-то громом «катюша», догорает на поле танк... Разве не так?

— Так,— подтвердил Дима.— Иной раз даже запахи войны чуешь.

— Да, ребятки...— протянул подполковник.

— Иван рассказал мне, как угостили вы его после первого боя,— сказал Дима.

— Каков человек, помнит до сих пор,— усмехнулся Петр Севастьяныч.

— Как же не помнить, товарищ подполковник,— сказал Иван.

— А я вот другое забыть не могу...— начал тот.

— Не надо об этом, Петр Севастьяныч,— сразу перебил Иван.— Не надо.

— Нет, надо! Каждому солдату должен я рассказать об этом, каждому в грехе повиниться — русский же я...

— Опять расстроитесь, Петр Севастьяныч. Что было, то прошло,— уже без надежды остановить подполковника пробормотал Иванов.

— Не прошло! Вот тут сидит! И никогда не уйдет! А если пройдет, значит, время приспело пулю в лоб пустить. Значит, совести уже не осталось и жить не с чем. Вот я говорил вам,— наклонился Севастьяныч к Диме,— что во всем война виновата. Это, конечно, верно. Но был у меня один момент, когда я сам был виноват, только сам...— Он задумался, вперив взгляд в сторону, провел по лбу большой, крепкой еще ладонью.

Иванов плеснул в стакан Севастьяныча, тот машинально выпил, прижег папироску, затянулся и стал продолжать:

— Понимаете, честили меня, честили за те деревеньки, которые взять мы никак не могли, каждую ночь они мне в кошмарах снились, и вот надумал... Надумал взять их ночью. Навалиться на фрица нежданно, навести на него панику... Комбригу докладывать не стал. Думал, возьму, тогда и доложу. Победителей не судят. Ну, собрал по крохам людей, ездовых, разведчиков, писарей, из комендантского взвода два отделения, ну и пополнения немного прибыло, и решил...

— Бросьте, Петр Севастьяныч. Опять плохо вам сделается. Опять валидол глотать придется.

— Не мешай, Иван! Молчать!— негромко, но приказным голосом одернул подполковник, а у самого на глазах нависли слезы, сам согнулся, сгорбился, потом лицо руками прикрыл и застыл надолго.

— Может, действительно, Петр Севастьянович, не стоит вспоминать,— сказал Дима, почувствовав что-то похожее на жалость к Севастьяпычу.

Но тот вдруг поднялся, отнял руки от лица и с трудом, комкая в груди всхлипы и не давая прорваться им наружу, давясь словами, сказал:

— В общем, если есть бог, он меня Катей и наказал за то неразумное наступление. Через три дня ее убило. Только зачем молодую жизнь взял, да еще с ребеночком, лучше бы мне на том поле вместе с солдатиками и лечь костьми, чем теперь всю жизнь мучиться... Братцы солдатики!— неожиданно другим, каким-то причитающим голосом начал он.— Только одни вы в этой войне ни в чем не виноватые, только у вас совесть как слеза чистая, дайте обниму вас сердечных.

Силенка у подполковника еще сохранилась, прижал он их крепко. Дима подумал, что сейчас целовать полезет, но он не стал, подержал их обоих в своих ручищах и отпустил.

— А теперь помянем тех ребятушек, в том наступлении погибших, которые все до единого на моей совести.

Помянули стоя и, выпив, сели не сразу, а постояли еще немного молча. А когда сели, тоже разговор долго не начинался. Подполковник валидол сосал, а Иван жевал мундштук папиросы и что-то часто глаза протирал шершавой нечистой рукой.

— А ведь почти подобрались тогда... — задумчиво сказал он, но подполковник оборвал:

— Хватит!

Тут подошел к их столу высокий мужчина, чернявый, только седая прядь во всю голову, на вид нерусский, армянин или грузин вроде, и бросил, чуть картавя:

— Привет, Севастьяныч, привет, Иван.

— А, Саша. Садись, дорогой,— обрадовался, видно, подполковник.

— Я со своим,— предупредил тот, ставя кружку пива на стол.

— Садись, садись... Вот тоже фронтовик. У него сегодня дата. Первый бой принимал в сорок втором году в этот самый день. Как звать-то вас, а то говорили, говорили...

— Дима.

— А это Саша, солдат либерти.

Чернявый протянул Диме руку, пожал крепко, заглянул ему в глаза и спросил:

— Значит, помнится первый бой?

— А как же...

Из кармана пиджака выглядывала у него какая-то иностранная газета. Присмотревшись, прочел Дима название — «Юманите». Отхлебнув пива, этот «солдат либерти» увидел стаканы с водкой и выложил на стол два рубля.

— Ты что, Саша?— буркнул подполковник.— А ну, забери обратно. Налей ему, солдат,— сказал Диме.

Тот налил. Саша не стал ломаться, забрал деньги обратно и взял стакан у Димы. Диме это понравилось, видно, у них всех так принято, по-фронтовому, без церемоний. Понравилось и то, что все друг друга по имени называют — Ваня, Саша, только подполковника по имени-отчеству величают. Словно молодые они и нету на их плечах тридцати с лишним годков, что после войны прошли.

И представилось вдруг Диме, что сидят они не здесь, а в землянке, сидят молодыми и пьют не пиво, а трофейный ром, и где-то невдалеке урчит передовая, но они знают, что туда их не пошлют, так как на отдыхе они, и очень у них у всех на душе хорошо: от тепла, от рома, от задушевного разговора и оттого, что передовая, хоть и недалекая, их пока, до времени не касается, и он сказал:

— Эх, ребята, сейчас бы не в кабаке, а на воле где-нибудь посидеть...

— В землянке, что ли? — усек сразу Димины мысли солдат Иван и усмехнулся.

— А что — хорошо. Печурка горит, дымком попахивает, лапник кругом накидан... И картошечка печеная.

— Ностальгия?— спросил «солдат либерти».

— Что?— не понял сразу Дима.

— Я говорю, фронтовая ностальгия томит вас. Что-то, наверное, в мирной жизни не получилось, вот и...

— У меня все вроде получилось,— перебил Дима.— Но все равно тоска иногда забирает по тем денькам. Понимаете, по-

другому тогда все было. Ну, вот, взять меня, например: токарь я сейчас, скажу не хвастаясь, неплохой, но, предположим, уйду со своего завода, и ничего от этого не случится, ничего не изменится, поставят другого работягу, и будет тот вкалывать, а на войне... Нет меня на левом фланге с ручником — что будет? А то, что прорвется фриц в этом месте! Там я — задержу гада! Не пройдет, подлюга! На войне я был до необходимости необходим. И не всяким меня заменить было можно. Вот, предположим, что вместо меня на том левом фланге с тем же ручником другой солдат. И уже уверенности нет, что он немца задержит — и глаз другой, и смекалка, и характер послабже, может... И результат другой уж. Там такое чувство было, словно ты один в своих руках судьбу России держишь... Ведь верно?

— Верно,— пробасил подполковник.

— А сейчас,— продолжил Дима,— есть я, нету меня, все по-обычному течет.

«Солдат либерти» посмотрел внимательно на Диму и сказал:

— Вы очень правы, дорогой. И это даже серьезней, чем вам самому кажется. Но...— он пожал плечами,— другие времена — другие песни.

— А кстати, о песнях... Не так поют «Землянку»-то. Не так. Обратили внимание?— Петр Севастьяныч хлопнул кулаком по столу.— Не так!

— Вот уж точно! Совсем по-другому. Без души,— подтвердил, конечно, Иван.

Они еще немного поговорили о том, что многое стало не так, но «солдата либерти» это, видать, не очень интересовало, и он развернул газету и стал эту «Юманите» бегло просматривать, страницу за страницей.

Что ни говори, подумал Дима, интересный народ ему попался: один большой чин, хоть и бывший, другой по-французски читает запросто и почему-то «солдатом либерти» зовется, да Иван этот Иванов не так прост, как по первому взгляду... И видно, часто они тут встречаются, и компания у них дружная, крепкая, друг дружку несомненно выручают, но, наверное, бессемейные все, кроме Ивана. Но, судя по разговорам, у него та семья. Семейному человеку, конечно, по барам рассиживаться не очень выйдет — ни времени, ни денег на это дело не хватит.

«Солдат либерти» отложил газету.

— Что там братья по классу пишут?— спросил Петр Севастьяныч. Тот пожал плечами в ответ и что-то пробурчал по-французски.— Это что значит, Саша?— поинтересовался подполковник.

— Так,— махнул рукой «солдат либерти».— Что ж, добавим?

— Не торопись,— сказал Петр Севастьяныч.— Ты лучше рас-

скажи человеку о себе. Он с тебя глаз не сводит — что за «солдат либерти» такой? Так, что ли?

— Да, интересуюсь очень,— ответил Дима.

— Рассказывать долго. Вот, возьмите,— и чернявый дал Диме очень потрепанный номер «Московской правды», а там на целый подвал статья «Солдат либерти».— Тут все рассказано.

Дима начал читать, и так его захватило, что не слышал он, что говорили между собой бывшие фронтовики, потому что история Александра Стамбуляна была необычная.

Был он кадровым лейтенантом-артиллеристом и в первых же боях на границе раненым в плен захвачен. А там — лагеря немецкие, побеги, участие во французском Сопротивлении, какая-то француженка Жанна, товарищ по борьбе... В общем, считался он погибшим за Францию, и там, в Париже, была напечатана его фотография вместе с другими погибшими, а он оказался жив-здоров и живет в Москве и работает юристом. И сам де Голль, когда приезжал в Москву, вручил ему французский орден...

Вот это да! А посмотришь — обыкновенный мужчина, ничего в лице геройского, и водку хлопает, как все, а поди, какие дела совершал — офицерское казино в одиночку гранатами закидал.

— Во здорово!— вырвалось у Димы, когда он до этого казино дочитал.

— Что?— усмехнулся Саша.

— Как вы казино... в одиночку...

— А,— передернул тот плечами.— Всего мозгами забросало, бр-бр, противно вспомнить.

Дима удивленно вскинулся — такое дело, и противно вспомнить?

— Нечего удивляться,— продолжал «солдат либерти».— Тогда все по-другому казалось, а теперь... Теперь крики, стоны вспоминаешь, брызги крови на себе, клочья мяса... Два дня я отмывался тогда. Убивать, дорогой мой, и страшно и противно... Да чего, сам знаешь. Сейчас такое не смог бы.— Он вытащил сигарету и с жадностью затянулся.

— А Жанна...— начал было Дима, но осекся, так как подтолкнул его в бок Иванов.

— Жанна была... И никогда больше не будет,— с расстановкой, очень тихо произнес «солдат либерти» и опустил голову. Потом налил себе немного и выпил, не закусив.

Понял Дима, что не надо было этого касаться... Видно, тут у каждого своя боль, своя рана живая, временем не залеченная. И война для этих людей еще не ушла, сидит в душе, тревожит воспоминаниями, мает. Да если поглубже копнуть, то и у Димы не ушла еще война из сердца. Вот почему и томила его сегодня

тоска, вот почему и хотелось однополчан увидеть или, по крайней мере, с кем-нибудь из фронтовиков словом перекинуться, уйти от будней повседневной жизни, вспомнить незабвенное время своей юности, пусть и лихой, пусть и тяжелой, но все же юности, со всеми ее острыми чувствами и переживаниями, юности, от которой чем дальше, тем милее она и дороже, потому как понимаешь, что ушла она безвозвратно и никогда уж не вернется.

Тем временем «солдат либерти» начал рассказывать.

— Помню, привезли нас в Брест-Литовск, то есть в наш Брест. Есть же Брест и во Франции. Привезли, расселили, оружие приказали сдать. Много нас было, советских, из французского Сопротивления, человек двести. Ну, сидим без дела. Через день на допрос вызывают — что и как? Как в плен попал? Когда и откуда бежал? Кто может подтвердить? Каким образом в Сопротивлении оказался? И так далее... Мне все эти вопросы, как теперь говорится, до лампочки. У меня все в ажуре, ни одного пятнышка темного... Меня другое гложет — с Жанной разлука уже навеки, уже навсегда... Понимаете, мне же всего двадцать шесть лет было — и первая у меня настоящая любовь. И какая! Ведь на чужой земле, среди чужих людей, и вдруг — такая девушка, родной человек... Понимаете?

— Понимаем, конечно,— вставил Дима.

— Меня год немцы в одиночке держали. Допросы, пытки, разумеется. Не знаю...— «Солдат либерти» задумался.— Не будь Жанны в нашем отряде, может быть, и не выдержал бы. Но как представлю ее в руках немцев — все терплю и молчу. Год молчу! Приговорили меня немцы к расстрелу. Вот по этому приговору я и попал в список погибших за Францию. А я бежал. Как удалось, до сих пор не понимаю. Фантастический по неправдоподобию был побег... Мне там, в Бресте, вначале не верили. Но нас двое спаслось, и второй тоже живым оказался, тоже в Бресте был. Плесните-ка мне кто-нибудь...— Дима поспешно налил полстакана, Александр отпил немного и стал продолжать: — В общем всего, конечно, не расскажешь... Я о Бресте доскажу. Такая тоска меня там обуяла, мочи нет. Думал, один бы только раз на Жанну взглянуть, а там будь что будет... Ну, и махнул.

— Во Францию?— охнул Дима.

— Да. Почти половину Польши прошел. Притворился французом. Но на одном ночлеге вырвалось у меня русское слово. Утром задержали. Привезли в Брест, но уже арестованным. Могли бы кокнуть, если бы у меня не было заслуг в Сопротивлении, ну и поняли, конечно, что бежал-то я только Жанну повидать. Учли все и дали только три года. По тому времени — детский срок.

— Про это, Саша, ты вроде не рассказывал нам,— заметил Петр Севастьяныч.

— К слову не приходилось. А сейчас что-то вспомнилось все так ясно, будто вчера было.

Все помолчали немного, взволнованные рассказом «солдата либерти», а потом Дима спросил осторожно:

— А сейчас есть жена?

— Какая жена,— пожал плечами тот.— Разорвали меня надвое, так и живу.

— Ладно, Саша, война всем душу разорвала и до сих пор рвет... Я тоже Катю забыть не могу,— решил успокоить Петр Севастьяныч.

Опять они сидели молча, думая каждый о своем, потом солдат Иван Иванов, вздохнув, намекнул негромко:

— Добавить бы треба.

Дима сразу полез в карман, зашелестел десятками — есть еще — и сказал:

— Сейчас схожу.

— Нет,— резанул подполковник.— Хватит. Для разговору достаточно было, а остальное от лукавого уж будет. Верно, Саша?

— Да, конечно. Не ходите никуда.

Дима руку из кармана вынул — и верно, хватит, не алкоголики же они, выпили для разговора помаленьку, и хорошо, тем паче разговор получился, да и впереди предстоит не менее интересный, так как Петр Севастьяныч начал:

— Я армию любил, и жизни своей без нее не мыслил... А вот ушел в запас и места себе не нахожу. Что я без армии? А? Ну что? Помню, у Федора Михайловича в одном романе капитан говорил: ежели бога нет, то какой же я капитан. Так вот вроде и я,— горько усмехнулся он.

Тут и Дима решил свое рассказать, как он своего помкомвзвода с поля боя тащил, а пули кругом — фюить, фюить... Все уже, кто мог, с поля уползли, только они одни на виду у немцев остались, и так страшно было Диме, но бросить сержанта он не мог. Так и тащил ползком. Только чуть приподнимешься, а пули опять — фюить, фюить и рыхлят снег рядом...

— Вот за это я войну и любил,— вступил подполковник.— Когда скажешь такое — удивляются: как это можно войну любить, когда в ней смерть и кровь? А не понимают, что любил-то я ее за тот взлет душевный, о котором сейчас и рассказал бывший солдат. И страшно ему, и душа в пятках, а делает он свое дело, выносит с поля боя раненого командира, то есть выше себя берет, выше своих страхов, выше своих инстинктов. Молодец солдат,— хлопнул он Диму по плечу, и Диме почему-то эта похвала пришлась по сердцу: и верно же, выше себя брал...

Но дальше, к сожалению, пошли разговоры уж чересчур громкие, друг дружку перебивали, и каждый о своем говорил, не слушая других, и Диме, который трезвее остальных был, стало вдруг душно и захотелось на улицу, а точнее, домой захотелось, в свою квартиру, в уют домашний, к Лидухе и дочке. Его жизнь, что ни говори, устроена, идет в спокойном прямом русле, ему война, по счастью, ничего не переломала, а вот у этих ребят, видимо, все идет наперекосяк, до сих пор войной живут, словно и нет мирной жизни, словно они эти тридцать с лишним лет и не жили, будто ничего, кроме войны, у них не было. Правда, подполковник говорил, что историей своей части занимается, воспоминания пишет, но это ведь тоже о войне. А «солдат либерти» юристом работает. Кстати, он, пока остальные шумели, какие-то бумаги перелистывал, дело какое-то. Адвокат он, наверное... Но было у этих людей в войну такое, что не забывается, вышло вот так, да и бессемейные они. Семья все же устойчивость в жизни дает, от себя и своих переживаний отвлекает, так как требует внимания, да и работы. Во-первых, надо так сделать, чтобы все как у людей было: и телевизор подходящий, и холодильник хороший, и обстановку, чтоб людей в дом не стыдно было пригласить, и еще всякое. Ну, а, во-вторых, самое важное — дети. Их вырастить надо, дорогу им в жизни определить. Его Нинка вот еще и музыке обучается. Получится ли что из нее или нет, вопрос другой, но, во всяком случае, в консерватории не будет рот со скуки разевать, как он сам, к примеру. Что они, родители, не получили в свое время из-за трудностей жизни, то своим деткам должны дать обязательно, а для этого многое требуется. Потому сам Дима о войне, о прошлом своем, только порой думает. Накатится, как сегодня, а в основном-то другие заботы.

А у этих, друзей его сегодняшних, семьи нет, да и поломала их война, видать, покрепче, чем его. Они, наверно, и дома, как в походе, живут?.. И стало Диме почему-то жалко их всех до невозможности: и подполковника Петра Севастьяныча с его неспокойной совестью и Катенькой убитой, и солдата этого «либерти», которого война надвое разломала, и Ивана Иванова, видать спивающегося понемногу в продмаге, но который так своего бывшего командира оберегает и пустячное дело — стопку, им поднесенную, тридцать пять лет помнит.

Да, все-таки подразвезло их маленько от пивка, с водкой перемешанного... «Солдат либерти» на французский перешел, выкрикивал что-то, потом по-русски клялся и божился, что непременно на этот год в Париж поедет и свою Жанну разыщет. А подполковник опять своих солдатиков погибших вспомнил и тоже божился, что подо Ржев, на Катину могилку, обязатель-

но этой весной отправится, а сам Дима все порывался в Мосгорсправку бежать и разузнать адрес своего помкомвзвода, а его удерживали, убеждая, что без отчества и точного года рождения никто ему справку не выдаст. Потом петь надумали, но ничего не получилось, потому как один помнил одно, другой — другое, третий — третье.

Еще договаривались, конечно, на День Победы, девятого мая, тут в баре обязательно встретиться, потом хвастались, что они, кадровые солдаты, рождения с восемнадцатого по двадцать третий, первыми грудью приняли страшный немецкий удар, и все выдержали — и отступления и окружения, и все-таки сломали хребет фрицу, и что осталось их, наверное, считанные единицы, совсем малым-мало, и что надобно встречаться почаще, держаться друг за друга, как в войну держались... Да мало ли что еще говорили они, тиская друг дружку в объятиях, хлопая по спинам, и взмокли от искренних, хоть не совсем трезвых слез их исхлестанные морщинами лица... А как расстались, Дима и совсем не помнил.

Очнулся он только в такси, которое сквозь мокрый снег неслось по центральным улицам, мча его на окраину, в микрорайон, где ждет его девятиэтажная башня, его родной дом до конца дней, ждет пришедшая уже с работы Лидуха, с которой предстоит еще объяснительный разговор, где это он вместо работы пропадал. Но этого Дима не боялся, так как виноватым себя не чувствовал, да и поймет Лида, что было ему просто необходимо отметить тридцатипятилетие своего первого боя под деревней Прохоровкой, где вынес он под пулями своего командира, что ему обязательно нужно было поговорить об этом с ребятами-фронтовиками, отвести душу.

И все происшедшее казалось ему очень важным, не простой, обыкновенной выпивкой, а делом нужным и необходимым, потому как, не случись этой встречи, не случись тех разговоров, прошел бы этот день незаметно, обычно, не оставив в душе и следа. А сейчас у него на сердце какое-то приятное и горделивое чувство значительности его поколения, людей, вроде бы на вид совсем обыкновенных, от других не отличающихся, но которых стоит копнуть вглубь, как откроется такое, что только удивляться можно, как это они все пережили, выдержали, совершили... Ведь что ни говори, а они же спасли Россию...

Владимир Куропатов

ТАИНСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО*

Первые ученики идут на экзамен первыми, слабые — последними. Как обычно, Мишка Дерюгин зашел последним. Боязливо, чуть исподлобья взглянул на меня.

Он не раздумывал, не выбирал билет глазами, как другие. Взял, который был ближе к нему, крайний.

— Номер?

— А?

— Скажи номер билета и садись готовься.

— Восемнадцатый,— произнес он с такой тоской и обреченностью, что мне стало ясно: завалит.

Впрочем, еще раньше, считай с первых дней занятий, было понятно, что горная электротехника — орешек не по зубам Дерюгину. Я видел: он старался... Внимательно слушал объяснения материала, аккуратно вел конспект, готовился к каждому уроку, но — увы! — проку было немного. Я тайно — как, похоже, и другие преподаватели — жалел Мишку. И чего уж греха таить, немножко благоволил ему. Будь он откровенным лентяем, как его друг, башковитый лоботряс Мокосов, не давал бы я ему спуску. Но Дерюгин старался. Изо всех сил.

В электротехнике требуется понимание, умение логически рассуждать. Зубрить же — бесполезно.

— Устройство асинхронного короткозамкнутого двигателя переменного тока.— Я делал паузу.— Вопрос ясен?— И склонялся над журналом. Я старался как можно дольше «искать» фамилию ученика, который пойдет отвечать, чтобы Мишка Дерюгин мог собраться с мыслями, а то и в конспект заглянуть украдкой и хоть что-то освежить в памяти.— Отвечать пойдет Дерюгин.

Мишка, будто мы с ним заранее условились, с готовностью поднимался, выходил к доске. Строгий, собранный, деловой. Брал указку. Как оратор перед долгой и ответственной речью, прокашливал в кулак, как бегун перед стартом, делал глубокий вздох, четко и громко, громче, чем требовалось, начинал:

— Асинхронный короткозамкнутый двигатель состоит из следующих частей...— Поворачивался к плакату, поднимал указку.

— Так, хорошо,— торопился я подбодрить его, хотя в произнесенных им словах не было ничего ни хорошего, ни дурного — просто зачин, вступительная фраза, не содержащая никакой информации.— Хорошо. Из каких же?

Мишка держал указку на весу, а глаза его беспокойно бегали по плакату, будто искали что-то такое, что еще только сейчас было на нем и вдруг куда-то исчезло.

— Шу-шу-шу...— доносилось из глубины класса.

Я «не слышал» подсказок. Мишка же резко оборачивался, бросая протестующе:

— Да кончайте вы! Я сам!..

— Не отвлекайся, Дерюгин. Думай. Сначала назови две основные части двигателя.

Мишка усиленно напрягал память, морщился, досадливо вертел головой... Нет, все-таки он не был, как я думал поначалу, тупицей от природы. У тупиц взор рассеянный, угасший, глаза — не глаза, а бессмысленные костяные пуговки. У Мишки они — быстрые, живые, горячие, даже очень горячие. И я думал: может, соображает он не хуже других, ну, хотя бы средних учеников, а все дело в странной организации его мышления. Если у другого мысли как бы выстраиваются в строгую очередь, и он их выдает постепенно одну за другой, то у этого они создают толкучку, всем хочется поскорее наружу, а в результате — ни одной: заклинили выход... Впрочем, поди пойми, что там в голове и как.

— Ну?.. Только спокойнее. Покажи нам первую и назови ее.

— Значит...

— Шу-шу-шу...

— Да перестаньте вы!— уже нервно выпалил Мишка и опять морщился, теребил свободной рукой волосы и с упреком самому себе: — Учил же!..

— Знаю. Возьми себя в руки, не волнуйся.

Переносица Мишки покрывалась росинками пота. Он бросал на меня взгляд, полный отчаяния, потом зло тыкал указкой в плакат.

— В общем у него есть лапки с дырками для болтов и кожух...

Класс взрывался от смеха. Я оборачивался, делал строгое лицо. Становилось тихо.

— Верно, Дерюгин. Есть у асинхронного двигателя и лапки, и кожух. Но не с них надо начинать. Давай начнем все-таки с основных частей. Одна из них называется ста-а-а...

— Статор! — подхватывал Мишка. Глаза его, расширившиеся от восторга и радости, говорили: «Как же! Как же! Конечно, он, статор!» Указка тут же находила на плакате статор и показывала его всему классу.

— Очень хорошо, Дерюгин. А внутри статора вращается?..

— Этот...— суетливо обрывал меня Мишка, мол, теперь-то, когда уже начато, я сам.— Как его...

— Так, так...

— Ну этот...— Мишка снова начинал морщиться, крутить головой.

— Р-р-р...

— Рротор! — и Мишка снова сиял от удовольствия, показывал на плакате ротор.

И так до самого конца, то есть до лапок и кожуха. Делая Мишке намеки, наталкивая его на правильный ответ, я и шипел, и лалакал, и чуть ли песни не пел. Как говорится, и смех и грех.

— Садись. «Три», Дерюгин.

Он клал на стол указку и сникал. Никакого удовлетворения от полученной оценки не испытывал. Угрюмо шел к своему столу, вяло опускался на стул, прятал склоненную голову в ладонях. И я, и ребята старались не смотреть на него: а что, мол, все было не так уж и плохо. Чувствовалось, в группе его за что-то уважали, во всяком случае, я не замечал, чтобы над ним строили злые шутки, или подтрунивали, или еще что-нибудь. Слабые ученики, как правило, в загоне, к Мишке же было доброе расположение.

В экзаменационной ведомости пустовала только клеточка против фамилии Мишки. В классе остались он да я.

— Ну, готов, Дерюгин?

— Готов,— отозвался Мишка. И пересел за стол для отвечающих.

— Так. Какой там у тебя первый вопрос?

— «Цепь переменного тока с индукционным сопротивлением»,— прочитал Мишка.

Боже мой! Ты, Дерюгин, не только самый слабый ученик в группе, но, наверное, еще и самый невезучий. «Цепь переменного тока с индукционным сопротивлением»! Сколько раз я давал эту тему?! И всегда, не будучи уверенным, что не напутаю что-нибудь в формулах, заглядывал в свой конспект. А уж ты-то...

— Ну, хорошо. Отвечай. Только не торопись и не волнуйся.

Мишка подался корпусом вперед, уткнулся в листок, на ко-

тором была изображена синусоида без каких-то обозначений и какая-то малопонятная электрическая схема.

— Значит, если цепь переменного тока...— Мишка умолк и от волнения стал тереть под столом ладони.

— Так, хорошо. Только спокойнее, Дерюгин.

— Значит, если в цепь...

В это время дверь чуть приоткрылась, послышался шепот Мокосова:

— Баба Нюра, не подкачай...

Мишка досадливо ерзнул на стуле.

— Да ну вас!..

— Мокосов, прикрой дверь!— сказал я строго.

— Значит,— повторил Мишка упавшим голосом.

Наверное, с минуту мы оба молчали.

— Где твой конспект?— поинтересовался я.

Мишка поднял на меня встревоженные, но честные, чистые глаза.

— В коридоре. На подоконнике.— И торопливо: — Я не подглядывал.

«Ну и дурак»,— обругал я его про себя. И вслух:

— Я в этом не сомневаюсь.

— Значит...

Эти мне его «значит» напоминали коня-трудягу, который увязнул вместе с возом в болоте по самое брюхо: бесполезно стараться — не выбраться, а он все одно — дерг да дерг.

Уткнувшись в свой листок, Мишка поднял руки на уровень груди и стал нервно ломать пальцы: хрусть, хрусть, хрусть...

На безымянном пальце левой руки яростно сверкнуло кольцо.

— Золотое?

— Что?— не понял Мишка.

— Кольцо, спрашиваю, золотое?

Мишка мельком взглянул на свое кольцо, смутился, покраснел.

— Да это так.— Он снова спрятал руки под крышку стола.

— Покажи.

Мишка снял кольцо, протянул мне. В драгоценностях я, конечно, ничего не смыслил, но кольцо нашел великолепным, и оно показалось мне очень дорогим. «Эту штуку завел, а вот в голове у тебя... Ни тяти ни мамы не знаешь»,— подумал я с осуждением.

— Не рановато?

Мишка дернул плечом.

— Сколько стоит?— я взвесил кольцо на ладони.

— Пять копеек,— улыбнулся Мишка.

— Шутник ты, Дерюгин. А если всерьез?

— Если из пятака сделано, так сколько?

— Так это не золото? Сам, что ли, сделал?

— А то кто же.

— Выходит, ты из меди золото делаешь?! Молодец! Я за настоящее принял.

— Я не смогу ответить на билет.

— И долго ты над ним корпел? — оставил я без внимания Мишкины слова.

— Да так. В мастерской как-то... Между делом.

— Возьми, — вернул я кольцо. — Тебе бы, может, на ювелира надо было идти, а ты пошел на подземного электрослесаря. Не ошибся? Как считаешь?

— Не знаю. Нет, наверное. У меня папка электрослесарь.

— В шахте работает?

— Нет, в трамвайном депо.

Дверь опять приоткрылась.

— Ну как, Баба Нюра?

— Мо-ко-сов!

Дверь притворилась.

— А чего это тебя ребята Бабой Нюрой зовут? Уже который раз слышу.

— Да... — Мишка смутился. — В общем, ставьте мне двойку.

— Это дело простое. Успеем. А все-таки почему — Баба Нюра?

Мишка смутился еще больше.

— Эфирная кличка.

— Ты и в эфир выходишь?

— Это раньше.

— А что теперь?

— Папка запретил.

— Строгий он у тебя?

— Да есть.

— Через приставку работал?

— Ну... Когда можно пересдать электротехнику?

Пересдать! Если по-доброму, Дерюгин, так уж, во всяком случае, не через неделю, как заведено, и не через три тебе надо бы прийти. Спроси закон Ома, святая святых электротехники, ты ведь, уверен, и его не знаешь.

— Договоримся — когда. А после радиохулиганства чем увлекся?

— Мотоциклом.

— У тебя есть мотоцикл?

— «Иж».

— Отец купил?

Дерюгин отрицательно мотнул головой.

— За свои.

— Откуда они у тебя?

— Как откуда? Я каждое лето... Уже три лета работал на лесоскладе. Заработал и купил.

— Новый? — удивился я.

— Да вы что! Разбитый. У одного там. Считай, раму. Всю зиму перебирал да собирал.

— Работает?

— Конечно, — со скромной гордостью улыбнулся Мишка. — Только вот резину надо новую купить.

— Так, так. Скажи, а как двигатель внутреннего сгорания работает, знаешь?

Мишка посмотрел на меня робко, но насмешливо, будто возразил: «Чудак-человек! Как же бы я собрал?»

— Что, почему, отчего. Принцип действия можешь объяснить? — допытывался я.

— Но я же сделал, — уклончиво ответил Мишка.

Он же — сделал! И все тут. Это интересно.

— Слушай, — оживился я, — а приставку, с помощью которой ты выходил в эфир, кто делал?

— Сами, конечно.

— Ты и еще кто?

— Вовка Мокосов.

Я посмотрел в экзаменационную ведомость. Мокосову я поставил «четыре». Очень башковитый, дьявол, мог бы стать круглым отличником, но лентяй — поискать надо.

— Главный конструктор — Вовка?

Мишка вдруг рассмеялся, но тут же спохватился, конфузливо опустил голову.

— Он больше по снабжению. Любую деталь, хоть из-под земли, а достанет.

— Ясно. Значит, конструировал — ты?

Мишка смутился, как смущаются неиспорченные, совестливые люди, когда их заслуженно хвалят.

— Ну, а... — Это был самый важный вопрос, ответ на который подтвердит или опровергнет зародившееся во мне предположение. — А катушку для приставки? Вовка достал?

— Он проволоки притащил. А намотать долго ли?

Вот!..

Все-таки до чего же таинственное существо человек! Сколько в чем необъяснимого, невероятного! К примеру, был у нас в шахте случай. Сидел горняк в лаве, доедал свой «тормозок». Вдруг кровля колыхнулась, заскрежетала и поплыла вниз, прямо на горняка. Подхватился он, а сунуться некуда. Справа забой, слева — органный ряд — сплошняком, как частокол постав-

ленные, деревянные стойки. Одну стойку еще раньше выдавило — образовалась щель. Горняк — в эту щель. И спасся. Но как?! Как он мог проскользнуть в эту щель, когда ширина ее была не больше тринадцати (да, тринадцати) сантиметров?! Потом в нее пытались пролезть самые щуплые — не получалось. Как объяснить, что в критические и роковые моменты человек в несколько раз превозмогает свои силы и возможности?.. Тайна? Тайна.

Умельчество Мишки Дерюгина — другая тайна... Скажем, я при своих каких-никаких, а знаниях не сделаю приставку, а Мишке вели — за ночь сработает. Только чтоб Вовка Мокосов добыл ему проволоки, а уж катушку-то намотать — плевое дело. А что катушка эта как раз и есть то самое индукционное сопротивление, о котором Мишка так и не сказал мне ни единого слова, для него ничегошеньки не значит. Не вдаваясь в теорию, он и мотоцикл соберет, и часы электронные починит... Да все, что понадобится...

— Когда у вас экзамены кончаются? — спросил я у Мишки.

— Все. Это последний.

— Значит, завтра уже можно идти на лесосклад? На резину зарабатывать?

— Можно бы, да... Когда мне прийти на пересдачу?

— А зачем?

— Что?

— Зачем пересдавать? Я знаю: готовился ты добросовестно. Ведь так?

— Готовился...

— А коль так — давай зачетку.

Мишка уставился на меня непонимающе.

— Зачетку, говорю, давай... «Три». И будь здоров...

Он вышел, как и вошел — робко, будто мышонок, считал, конечно, чистоплюй, что не заслужил свою «тройку».

Я же никаких мук совести не испытывал. Я не завысил ему оценку, скорее даже занизил.

К примеру, в двенадцатом — пятнадцатом веках ведь ни вузов, говоря по-современному, ни даже профтехучилищ, готовящих архитекторов, не было. А храм Василия Блаженного и множество других храмов есть. И, считай, каждый — загадка для современных ученых. Кто они были, Постники или Бармы? Мужики, разумеется. Но не простые, не заурядные — народные умельцы. Сродни им, из того же разряда и Мишка Дерюгин. Как и они, он не казус-явление, как и они, он творит не столько по разумению, сколько по наитию, вдохновению, что есть проявление таланта... А, кстати, что такое талант?.. Тайна же? Тайна...

Но что талант штука хрупкая — каблуком наступишь — не расцветет — это несомненно...

Когда Мишка закончил училище, мы с ним частенько встречались в городе.

— Здравствуйте,— скажет и смутится.

— Здравствуй. Ну, как твои дела?

— Нормально,— ответит просто, с достоинством, и я не сомневаюсь, что у него действительно все в жизни хорошо, нормально.

— Ну, будь здоров,— улыбнусь я ему.

Мишка, тоже улыбнувшись, кивнет и смутится еще больше.

Алексей Ливеровский

ТЕПЛИНКА*

В сумерках пошел снег, густой, мелкий. Как всегда в начале зимы, непривычен еще человек к холоду, к ранней темноте; стало неуютно, и — с большой ходьбы, с пота зябко. Место незнакомое. Плетемся еле-еле, оставляя черные следы на тонкой пороше. Сквозь мглистый полог снегопада с трудом, с превеликим трудом, пробился, затеплился живой огонек. Не сговариваясь, мы привернули на него и пошли прямиком через поле, проклиная глубокие крутые канавы, что пересекали путь. Падали, помогали друг другу выбираться по скользким откосам. Огонек мерцал, казался то ближе, то дальше.

Снеговая туча ушла на закатную сторону, и вскоре над нашими головами вызвездило. На высоком протяженном холме — деревня. Нежилая: избы целые, крепкие, пустые. Окна и двери заколочены.

Сумерки сгустились, но взошла луна, свежий снег поблескивал, и вокруг было видно. Мы шли по прямой главной улице вдоль ровного ряда мертвых домов. И так это было тоскливо, странно и для нас, городских, непривычно. Глухая страшная тишина, хотя бы голос человеческий, собака бы тявкнула, кот мяукнул. Путеводный огонек звал в дальний конец деревни.

Светлое окно, единственное. Устало поднялись на высокое крыльцо, потянули за веревочку защелки, вошли, из темных сеней постучали. Дверь открылась, пахнуло теплом. На пороге невысокая, сухонькая старушка:

— О-ой! Никак люди? Проходите, проходите! Да не снимайте сапог, у меня еще не мыто. Проходите, раздевайтесь, подтопок запалю, подсушим. Отдыхайте. Сейчас самовар.

Просторная изба, за большой русской печкой отгорожена кухонька. Знакомый обиход и украшения северного жилья: на лавочке, рядом с умывальником, ведра, на залавке прикрытый домотканым полотенцем хлеб и горшки. В чистой половине за

откинутым ситцевым пологом — кровать с пирамидой подушек под кружевной накидкой. В красном углу — божница, несколько икон, пучок вербы, пасхальное яичко на розовой ленте, лампадка. На стене в двух рамах за стеклом множество фотографий и отдельно увеличенный портрет строгого бородатого мужчины в косоворотке. Уютно тикают ходики.

Нам было несказанно хорошо, тепло, очень тепло и спокойно. В одних рубашках сидели за столом у самовара, слушали неторопливую, певучую, окающую речь хозяйки. А говорила она, словно оправдываясь, будто виновата в чем-то важном:

— Одна я, одна я, никого в деревне нет — все уехали. Вот так, поди знай, как вышло. После войны-то, так или не так, справились. Жили-поживали. Свое хозяйство и получка каждый месяц. И вот, скажи пожалуйста, один уехал, за ним другой, стадом зачали мужики уезжать. Как паспорта стали давать — кати, куда хочешь,— они от хорошего да к лучшему — в города подались. Глядь, и на поле работать некому: ни молодых — теи первые ушли, ни старых. И мои за всеми — сын и дочь. Пейте чай, пейте, скоро картошка сварится, грибов соленых достану.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, мы сыты. Как ваше имя-отчество?

— Анна Васильевна. Поедите, поедите, брюхо не совесть — старого добра не помнит. Уехали, уехали мои. Живут в городу справно — своя полная квартира, три комнаты и еще маленькая. Служба хорошая у него и у женки. Это у сына. У дочки тоже, одна она с сынишком, мужика выгнала. Сильно пил, беспощадно. Главное, пьяный худой — может и руки распустить, а так неплохой был...

Анна Васильевна призадумалась, вспоминая и, может быть, оценивая, головой кивнула:

— Неплохой — не ленивый и рукомесленный. Теперь ходит к сыну, плачет, кается: «Прости,— грит,— Маруся». Так если бы в первый раз...

— А вам не хочется в город, к своим?

— Звали, звали и сейчас манят. Была там, пожила. Привечали, все чинно, благородно. Что есть в доме — всем берегли. И, скажи пожалуйста, не живется. Худого не думайте, избави бог, чего не было, того не было. Я сама: домой тянет, как медом намазано. Вернулась, и котоньша с собой привезла, Ваську,— эва, на печке гмырится, большой стал, полный... Еще — сын помог — двух курочек и петуна. Он у меня и за часы, когда станут, и для живого в доме... Да что я все про худое да про глупое, про Ваську, про куриц...

Старушка налила себе чашку чая, деликатно, прямо-таки жеманно, кончиками пальцев взяла наше угощение — ломтик кол-

басы,— посмотрела в черное ночное окно и будто там радостное увидела:

— Летом здесь хорошо, благодать. Снег потает — птюшки. Прилетят всякие-всякие, шуму-то, свисту, песен! Поля зазеленеют, цветики покажутся. Тепло. Солнышко, считай, с неба не сходит. Воздух какой! За птюшками и народ. Наедут бог весть откуда, со всех краев, много: наши староселы с детишками. На машинах примчат, на мотоциклах. Еще веселей станет. Ребятишки с утра до вечера по всей деревне ватагами, что литва; ружей деревянных наделают, с низины на бугор наступление, ура, ура! Моложа постарше к озеру — озеро не озеро, так, ламбинка: с той стороны, с лесу — мшарина, с нашей — песок. Видали в подгорине? Да что я — вы в темках шли. У воды заголивши лежат — загорают, у них такая вера. Раньше не было. Или мяч кидают, подкидывают, полный день так могут: пырк! пырк!— Анна Васильевна показала как: кисти рук два раза вверх выбросила и рассмеялась: — И мои приедут. Андрей-то, сын, еще весной на денек-другой. Картошку посадит, огород вскопает, дрова в лесу заготовит. Летом — на полный отпуск. Где бы отдохнуть, нет, гулять не ходит, полный день по дому стучит — то крышу поправит, то забор.— Тут старушка смущенно улыбнулась: — И, скажи пожалуйста, коса и брусок припрятаны, отобьет косу-то — и косит полны утра. Смотреть ненавидит, что трава пропадает и топчут. Каждое лето полсарая набьет. Мне ни к чему, отдаю весной. Кому надо — знают, приедут и спасибо скажут. Я все болтаю, болтаю, а вам спать надо. Обождите, сейчас белье сменю, постелю. Ляжете на моей, я на печке. Не оспоряйте, я хозяйка.

Какое это блаженство, невероятное блаженство — лежать усталому, раздетому, сухому на мягкой, опрятно пахнущей кровати, знать, чувствовать, что там, рядом, сразу за бревенчатой стеной, холод, неують, тьма, стынущая снежная протяженность до ближайшего и такого далекого жилья. Слушать, как за печкой поет сверчок, неторопливо, как кажется, отстукивают время ходики, позванивает вьюшкой неожиданно разыгравшаяся вьюга. Не спать, слушать рассказ старушки про свое, такое человеческое и здесь очень важное:

— Зимой худо, ой, худо! Как завеет, заморозит — родима матушка! Первый год как уехали, на том краю Катька жила, подруженька, в молодых гуляли вместе. Со своего окна глянешь — на том конце живой огонек, подвеселишься: не одна. И видались не скажу часто: я к ей иль она ко мне — вот и гости, вот и праздник. И не то важит, главное — есть кому другую чашку налить. Горел, горел огонек, да погас — померла Катерина в тую же зиму. Зима была суровая, снегу по самы окна накутило. Родные на тракторных санях пробились — увезли Катю

хоронить. С поминок все пьяные, не ведаю как и доехали. Теперь по всей деревне одна. Бывает, заскучаю. Снег донимает. Считай, чуть не каждый день дорожку разгребаю на улицу и до колодца. В пургу совсем худо: так занесет, что из дому не выйти. Два раза рамы вынимала, через окно на улицу выползу, вывалюсь, снаружи дверь открою. Ни людей, ни дороги, живу, как мышь в стогу, одна-одинешенька.

Всхлипнула Анна Васильевна, нечаянную слезу вытерла, справилась и дальше рассказывала почти весело и как бы со стороны:

— Ничто — жить можно. Дров сын заготовил полный придворок, сухие, больше береза, топлю без стесненья. Картошка в подполье, хлеб сама пеку. Чаю, постного масла, муки, даже белой, у ребят навезено. Много ли надо? Со светом плохо — на второй год перестали давать, сижу с керосином. Ложусь раньше раннего, сна нет, думаю. Сколько за эти зимы передумала, не выразить: всю жизнь, может, десять, а может, и сто раз переворохала, а жисть-то долгая. Почту давно не носят. Сын-то нарочно на меня побольше газет выписал и два журнала. Не стали носить. Сын узнал: «Как так? Не имеют полного права». Я ему: «Оставь, Таське-почтарихе из-за меня одной на лыжах в два конца, считай, десять верст. Брось, говорю, да я и очки куда-то девала, или Васька баловался, закатил». Нет, пожаловался. Ему бумага: «Отдаленность, недостаток письмоносцев, гражданка Криушина — это я — переведена на самообслуживание». Куда пойду? Дороги зимой нет — одна лыжня, лесник Иваныч когда ходит.

Анна Васильевна убедилась, что мы не спим, решила рассказать нам, охотникам, интересное:

— Людей-то нет, а зверья... Зайцы садушки гложут, лоси заходят. Однова гляжу в окно: лось у самого крыльца с моей рябинки лыко дерет — зубы выпятил, кору поддевает, скоблит. Ах ты, нечистая сила! Вышла, гейкнула, убежал, завихрил во все долги ноги. Поросята дикие прям за домом в огороде роют. Волк приходил, большой, что телок. У моего дома стал, нюхтит, удивился, что жильем пахнет. Глаза на солнце рыжие и не сказать злые, все равно страшно. И еще вот печаль-забава — лошадь приходила. Наш деревенский мерин Буян, по снегу, без дороги. К моему крыльцу. Хлеб ему вынесла. Он губищами с ладони: хлоп, хлоп. Тихонечко. Я к его морде свою глупую голову приторнула: «Здравствуй, желанный!» Шерсть мяконька, дух от нее конский, сладкий. Разом отцов дом вспомнила и как девчонкой была. Сена вынесла. Тут он и остепенился. Хотела во двор загнать, не могла: у сына ворота забиты и снегу толсто. Несколько ден прожил. С утра всю деревню обойдет: к старой конюшне,

к сеновалу, к колодцу — как хозяин. Вернется, я с ведра напою, сена брошу. А то выйдет на околицу, голову вздынет, на дорогу смотрит, смотрит, не идут ли друзья-приятели. Пришли, да не те. Приехали за ним с совхозу. Говорю: «Оставьте до весны, прокормлю, только двор откройте». А они: «Зачем тебе, бабка, мы его увезем. Еще раз сбежит — сдадим на колбасу». На хлеб с солью подманили, загнали на тракторны сани, увезли. Уж я плакала, плакала; скажи, животная, а родное место тянет. Да что я все про своё. У вас други дела. И спать надо.

— Нет, мы слушаем. Скажите, не страшно одной, без людей?

— Люди? Их зимой вовсе нет. Один Иван-лесник зайдет, в тепле покурить, погреться. Другой раз булку ситную принесет, посмеется: «Это тебе тепловое. Знаешь, бывалыча, мужики-обозники зимой в деревнях ночуют, пустят их в избу — платят за сугрев тепловое». Я чаек Ивану согрею, он посидит, расскажет, что где. Бояться? Чего? Волк ко мне в избу не скочит, а худого люду в округе нет.

Задумалась Анна Васильевна, что-то вспомнила, нахмурилась, колебалась, говорить или нет. Решилась:

— Зимусь приходил один, непонятный. В глухое время, в самое тёмное — утренники уже в день задерживались, а снегу нет. Был снег, порядочно навалило, да сошел: на теплое лег. Я поужинала, спать ладила, он вошел. Ни постучавши, ни «здравствуйте», шапки не снял, сел за стол: «Согрей, бабка, самовар и картошек». Росточку он невеликого, в плечах широкий, глаза, что у мыша — маленькие, запавши и в стороны. Я человеку рада, здравствуйте, говорю, я сейчас. Пошла в кухоньку, самовар угольками, картошку на керосинке — долго ли. На стол собрала. Меня усадил, рукой показал. Из кармана шматок сала вынул, грязный, с табаком вместе. Молчит, ест, все в шапке. Поел, покурил, огляделся, говорит: «Бабка! Ведь я тебя убью». Сразу и не поняла, переспросила, утвердил: «Убью». Тошно сердцу! Забилось, что у курчонка, часто-часто. Молчит, я тоже. Думаю, надо говорить, молчком хуже. Скрепилась, спрашиваю: «Чем бить будешь?» Ответил: «Хоть бы тем ножом, что ты картошку чистила». Не могу сказать почему, успокоилась, сердце потише стучит, говорю: «Разреши, мил человек, свечку у иконы зажечь. Есть на божнице — для отходной берегла, сама затеплю». Усмехнулся: «Зажигай, мне что». Не успела я от стола крянуться, он встал, шапку на стол положил — голова бритая, чуть чернь пошла,— на печку забрался, лицо от занавески выпростал, глаза — или помстилось — что угли горят, говорит: «Торопиться некуда, устал, посплю». Худо он спал — то храпит по-дурному, то ворочается, стопет. Я на кровати — какой там сон — дрожу, как мокрая собака на ветру. Пришло на ум, что богу виновата, зачем

смерти просила. Было это, было! По-глупому, в худой час: дескать, прибери, господь,— старость, болезни, зажилась. И что? Смерть пришла — мне страшно. Тут опять успокоилась — будь что будет. Так и лежим: он на печке, я на кровати, ночь до-о-олгая...

Под утро закричал в придворке петька, раз, другой. Повозился мой гость за занавеской — что там делал, не ведаю,— сполз ногами на коник, посидел чуток, шапку со стола взял и вон из дома. Господи Иисусе, ушел! Совсем. Я к окну, не видать, темно. В сени выбежала, дверь закрыла и щеколду веревкой замотала...

Да вы никак спите? Все равно, отдыхайте, отдыхайте, и мне пора.

Утром мы не стали дожидаться самовара, собрались и вышли. Старушка провожала. Постояли на крыльце. Красным шаром взошло над лесом солнце. Осветило ослепительную перенову. Грустными, но не мрачными выглядели дома.

— Так и будете здесь жить, Анна Васильевна?

— Буду, буду. Подожду, должны люди вернуться. Не может быть того, чтобы земля не сеяна да не кошена.

Поклонились мы хозяйке и пошли.

Анатолий Макаров

НОЧЬЮ, НА ИСХОДЕ ЗИМЫ*

И так мне сделалось муторно от созерцания чужого веселья, от сознания своей совершенной к нему непричастности, что я, дождавшись мстительно нового музыкального взрыва, потихоньку смылся в гардероб. Натянул пальто и со сладким чувством отверженности вышел на улицу. Было часов девять, промежуточное время, когда спектакли еще не кончились и компании не разошлись, и потому пустынная, под уклон идущая улица просматривалась из конца в конец. В воздухе ощущалась замечательная свежесть отлетающего холода, мельчайший снег искрился в лучах фонарей. Вокруг были мои места, моя земля, здесь я столько раз бродил в пору первой любви и в годы упоения первой серьезной дружбой; в последнее время мне всего этого не хватало, мне все казалось, что стоит только выбрать время и побродить по своему району, как все вернется: прежнее предвкушение перемен и прежняя полнота бытия,— вот наконец и выпала эта минута.

Я подумал о свадьбе, которую только что оставил, без малейшего сожаления подумал и без горечи, просто невнятность собственной судьбы сделалась мне очевидной. Два, а может быть, три года назад одна прелестная женщина, с которой мы знакомы очень давно, но видимся крайне редко, можно сказать, вовсе не видимся, несомненно умная и тонкая женщина, к тому же мать двоих детей, спросила как-то, посмотрев на меня то ли с насмешкой, то ли с сожалением: «Зачем ты живешь?» В ее тоне угадывалось не только превосходство, но также искреннее желание поделиться истиной.

Я смутился тогда, потом пытался прикрыться бравадой, плел нечто высокопарное и ироническое о своем так называемом предназначении на этой земле и понимал, что уличившая меня собеседница, очевидно, права. Что толку в предназначении, коли обычная жизнь не дается в руки, вывертывается и ускользает,

---

оставляя в виде насмешливой компенсации зрелища вроде сегодняшней свадьбы.

Внезапно я понял, что добрел до своего переулка. Я жил здесь, на этом крутом московском склоне, двадцать восемь лет подряд, об его не существующий уже булыжник я обдирал себе колени, здешние дворы и закоулки были моей природой.

«Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было никогда!»

Мимо обычных московских домов прошлого века, мимо бывших меблирашек, а ныне общежитий, мимо типографии, в которой теперь полиграфический техникум, мещанских особнячков и безликих построек я добрался до дома № 3. Это была некогда усадьба купца первой гильдии, с многочисленными флигелями и невидимыми с улицы задними подворьями.

Ноги сами вели меня, я вошел в ворота и вдоль палисадника направился к дальнему флигелю, где на первом этаже, в квартирке, чудом выгороженной в двадцатые годы из бывших людских, проживает мой одноклассник Павлик Синицкий. Лет двадцать назад это была единственная отдельная квартира, куда я был вхож. Все мои родственники, одноклассники и дворовые друзья обитали в коммуналках, иногда небольших и вполне приличных, на две-три семьи, иногда в огромных, с бесконечными коридорами, где хоть в мяч играй да катайся на велосипеде, и гулкими уборными, куда вели двери, украшенные овальным матовым стеклом. В квартире Павлика, тесной от старомодной мебели, было так же по-старомодному уютно; отец его, спортивный тренер, в прошлом конькобежец и теннисист, играл на гитаре, мать постоянно пекла что-нибудь не по-нынешнему сложное и ароматное, за печкой в своем уголке среди икон сидела восьмидесятилетняя бабка, ради которой я специально раздобыл православные святцы, чтобы вовремя поздравить ее с покровом или духовым днем.

Теперь все они умерли — и мать Павлика, и отец, и бабка. Теперь он сам хозяин в старом своем доме, глава семьи, отец двух девчонок — семи и трех лет.

Я постоял возле окон знакомой квартиры, они светились все тем же непоколебимым московским уютом, что и в те далекие зимы, лет пятнадцать или двадцать назад, когда мы с Павликом были неразлучны и виделись каждый день.

Все правильно; все верно, все так и нужно. Куда же еще идти мне, одинокому пешеходу, позднему прохожему, гостю, улизнувшему со свадьбы втихаря,— куда как не к старому товарищу.

Павлик сам отворил мне дверь. Он был в старых тренировоч-

ных штанах и в тельняшке, словно бы в память о своей упущенной спортивной карьере и о службе на флоте.

— Привет, привет, а я уж на тебя всесоюзный розыск объявил. Три шестьдесят два за голову.

Это была его нетленная шутка. Прежде он давал за мою голову три двенадцать, два восемьдесят семь, а еще раньше двадцать один двадцать старыми.

— Здорово, шея,— улыбнулся Павлик и ради дружеской ласки прихватил меня своим излюбленным борцовским приемом. В такие мгновения мне сразу же становится очевидной тщета моей ежедневной утренней зарядки с утюгами вместо гантелей. Освободиться от этой товарищеской железной хватки невозможно. Я понял это еще в девятом классе.

— Ну-ка, ну-ка,— Павлик проницательно потянул носом,— все ясно, уже выступил. Лучшего школьного друга, конечно, не дождался.

Я принялся оправдываться, напирая особенно на свое самовольное внезапное бегство со свадьбы.

— С чужой, надеюсь?— поинтересовался Павлик.— Со своей бы так просто не слинял. По опыту знаю.

— Это по какому же такому опыту? Что-то я не припомню.— В переднюю, улыбаясь, вышла жена Павлика, и стало очевидно, что Татьяна очень подходит моему другу, а была она высокая, крепкая, румяная, как деревенская девушка.

— Не припомнишь, ну и ладно,— рассудил Павлик, стягивая с меня пальто.— Думают, что все про нас знают, что все им понятно. Как только заявление подал, предложил, как говорится, руку и сердце, так и привет, конец всем сложностям. Учти.

— Не слушай его,— засмеялась Татьяна.— Ты проще будь, доверчивее, я ведь тебя знаю, ты невесть что такое ищешь, а ты на землю спустись.

Вот так всегда, хоть не ходи в гости к старым знакомым. Всем и впрямь все про меня понятно и ясно, что я ищу да чего я хочу, можно подумать, что я объявил об этом по радио. И никуда от этих расспросов и советов не денешься. Вероятно, они будут длиться еще несколько лет, до тех самых пор, пока гипотетическая моя женитьба не сделается уже темой для анекдотов и соболезнований.

— А куда ему торопиться?— как верный друг, вступился за меня Павлик.— Что, на его век невест, что ли, не хватит? В крайнем случае, скоро наши девки подрастут.

— Вот золотые слова,— обрадовался я поддержке старого товарища,— чем не жених, зрелый мужчина около пятидесяти, некурящий, непьющий и к тому времени, может быть, даже состоятельный. Представляешь, как это красиво, взять да и же-

ниться на девушке, которую еще девчонкой держал па коленях.

Несколько легче рассуждать о себе самом в таком вот условно предположительном тоне, будто о литературном персонаже.

Тут, словно почувствовав, что речь идет о них, на пороге комнаты появились обе будущие невесты. Первоклассница Дуня уже немного стеснялась меня, вероятно, в ее сознании я и впрямь обретал таинственные мужские черты. Зато младшая, Настя, тут же принялась скакать на одной ножке, взывая пронзительно к моему вниманию:

— Дядя Морозов, посмотри, как я прыгаю!

— Ну вы, подруги,— неумолимо произнес Павлик,— это что еще за разгул жизни? Передачи ваши закончились, усталые игрушки давно кемарят, то есть, это, спят. Ну-ка, на счет «три» умываться и спать!

Кто бы мог подумать, что Павлик, первый в школе лентяй, завсегдатай «камчатки», веселый бездельник, в любую минуту готовый к авантюре — сорваться ли с уроков, выпить ли пива,— именно Павлик окажется таким вдохновенным и рачительным отцом. Угадав мои мысли, Павлик усмехнулся:

— Ты чего смотришь так, тоже мне, наблюдатель жизни. С ними же нельзя иначе. Упусти момент, они тебе по такой линии пойдут... Ты вон на Настьку взгляни — три года всего, а уже готовый женский характер. И ложь, и лесть, и притворство. А то еще моду взяли — стучать друг на дружку, друг друга подкладывать. С ангельским видом, из лучших побуждений. Представляешь, как это мне приятно. Мне, который фискалов всю жизнь давил, как класс... Так что разговор у меня с этими барышнями флотский. Школа выживания.

Девчонки, уловив в отцовском тоне отступление от непреклонной суровости, стали ластиться к Павлику, хныкать, кокетничать. И столько прелести было в этих капризах, столько простодушного коварства, что я неожиданно вновь, как будто бы со стороны, подумал о своей судьбе — зачем я живу, кому от этого легче и теплее.

— Ну а как молодая-то, что ж не рассказываешь?— дав волю любопытству, поинтересовалась Татьяна.— Красивая хоть?

— Красивая,— ответил я не сразу.— Ты знаешь, я, кажется, только теперь это окончательно понял.

Татьяна захохотала:

— Ой, не могу!.. Сколько раз говорила: гляди по сторонам!

В конце того дня в наш отдел заглянула Алена Навроцкая, как всегда, безупречно элегантная.

— Сергей Александрович, можно вас на минутку?— сугубо деловым тоном спросила она, не переступая порога.

Тем не менее все наши девицы и дамы за своими кульманами и столами переглянулись. Я помедлил немного, делая вид, что мне чрезвычайно трудно оторваться от сметы проекта, потом отложил карандаш и не спеша вышел в коридор. От Алены, по обыкновению чуть-чуть, как будто бы издали, пахло горьковатыми духами, она немного волновалась, но, впрочем, вполне владела собой.

— Сергей Александрович,— она улыбнулась,— будьте любезны пожаловать на мою свадьбу. В субботу, в клубе артистов, к четырем часам.

Вот так, Сергей Александрович. Как раз тогда впервые за все время нашего знакомства Алена показалась мне почти красивой. Я поцеловал ей торжественно и почтительно руку уже как будущей новобрачной и обещал, что непременно буду.

Итак, церемония приглашения состоялась, и я вернулся в нашу комнату. Слишком быстро вернулся, к разочарованию дам, они ожидали некоего сюжета, развития событий, может быть, даже выяснения отношений. Но в том-то и дело, что никаких отношений не было, была лишь внешняя видимость.

Впрочем, чего уж притворяться, основания для любопытства имелись: Алена была влюблена в меня некогда, вот ведь какая история. Почему в меня, по какому странному капризу, у нас в институте пруд пруди молодых специалистов, длинноногих и длинноволосых, причем изящно, изысканно длинноволосых, все-таки, считай, архитекторы и дизайнеры, выпускники почти художественных институтов. Есть выбор для пятикурсницы, пришедшей в знаменитый НИИ на преддипломную практику. Бог ее знает, в силу каких обстоятельств она остановилась на мне. Я понимаю, что юной девушке может, даже должен, наверное, понравиться однажды солидный мужчина, но ведь то-то и оно, что этой самой солидности, основательности или зрелости, назовем ее иначе, во мне ни на грош нет. Внутренне я ощущаю себя молодым человеком, ее ровесником, пацаном, ничуть не удивлюсь, как говорит один мой приятель, если со двора крикнут: «Выходи с мячо-о-м!»

Роковую роль сыграло, надо думать, открытое обсуждение проекта издательства в центре города. Алена — человек серьезный, одержимый редкими для девушки таких лет профессиональными амбициями, вполне понятно, что дискуссии она внимала с благоговением. Я тогда произнес одну из самых знаменитых своих и бессмысленных речей.

«В защиту Секста Росса», как выражается наш сотрудник Юлиан Григорьевич, получивший образование в классической ру-

мынской гимназии. На самом же деле в защиту жилого дома начала века, который в соответствии с новым проектом намеревались снести. «Исторической и художественной ценности не представляет» — есть у них такая сакраментальная формулировка. Больше всего на свете я люблю русский модерн начала века, «сецессион», «арнуво», «либерти», но не в этом суть. Если бы речь шла о ненавистном мне послевоенном ампире, я бы все равно взъерепенился: ненавижу архитекторов, которые не умеют, построить, пока предварительно что-нибудь не сломают. Я говорил тогда что-нибудь такое: «Не понимаю, что мы строим — ансамбль в столице или центральную усадьбу целинного совхоза? Там простора действительно хватает во все стороны. А здесь, куда ни ткни, то важнейший сосуд, то артерия, то нервное окончание. Откуда только такая у нас уверенность, такая легкость суждений? С такой точки зрения можно вырубить на земном шаре все деревья, кроме эвкалиптов и каких-нибудь баобабов. Не представляет, и все! В самом деле, какая художественная ценность в ольхе или осине? Только вот жизнь потом среди экзотических несомненных шедевров сделается бесчеловечной. И пресной. Как в некоторых наших квартирах... Вот мы полагаем, что сносим малоценное здание. Так, ерунду, пустяк, доходный дом начала века, собственность купца такого-то или генеральши такой-то. А ведь мы материальный мир уничтожаем. Среду существования целых поколений русских людей. Целой эпохи — блоковской Незнакомки, скрябинской музыки, героинь Комиссаржевской... Представьте себе, что все это подлежит отмене только на том основании, что теперь существует новая поэзия или «Алло, мы ищем таланты!» по телевизору». Ну и дальше в том же роде. Однако, судя по всему, я поразил Алену. Во всяком случае, с тех пор она по делу и без дела зачастила в нашу комнату. Приходила, садилась в единственное наше кресло, сложив изящно и скромно длинные ноги, и смотрела на меня круглыми, удивленными глазами мультипликационного персонажа. Мужчины с сердечным стеснением отводили глаза от ее ног и еще успевали при этом состроить мне восхищенную сочувственную гримасу. Женщины, по моим расчетам, должны были осуждать Алену, однако они ее порывы морально поддерживали.

А я им не доверял. То есть, разумеется, все это трогало меня и самолюбию льстило, и в груди вдруг ни с того ни с сего как-то сладко щемило, но я себя постоянно одергивал. Не давал себе воли. Я боялся, я позорно трусил, откровенно говоря, уж слишком щедрым казался мне этот поворот судьбы и нелогичным. Я же всю жизнь пытаюсь нащупать в ее противоречиях и скачках закономерную логическую линию. Потом случился у нас в институте какой-то местный праздник, а может быть, юбилей, а

может, на пенсию кого-то провожали,— с дозволения начальства выпили шампанского, включили портативный магнитофон, был май, это я точно помню, теплый вечер стоял за окнами, верхнего света не зажигали, горели только две-три настольные лампы, от этого в присутственной нашей комнате создалась небывало интимная атмосфера. Алена вдруг подошла ко мне с отчаянным видом и пригласила танцевать. Я обнял ее за талию целомудренно и даже снисходительно немного, а она отважно, обмирая от собственного героизма, закинула мне руки за шею, я вдыхал запах ее волос и ощущал, как часто-часто бьется ее сердце.

Я по-прежнему не торопил событий, я их сознательно откладывал. Надо было уяснить, что же все-таки происходит, как все-таки я отношусь к этому юному созданию в высоких сапогах и длинном кавалерийском плаще. Ужасно не хотелось суетиться, шустрить, забегать вперед, использовать момент, когда она слаба и беззащитна. Я знаю, конечно, что девять из девяти моих друзей скажут, что все это блажь, что о слабости и говорить не приходится, что женщина, даже очень неопытная, сто раз простит любой обман, но только не отказ, вот он-то и есть слабость.

Как бы там ни было, я получал странное удовольствие от своей неторопливой созерцательности, от сознания своей незаслуженной и полной власти. Наверное, высшее тщеславие в том и состояло, что властью этой не хотелось пользоваться. Мне просто любопытно было взглянуть, на что же способна нынешняя молодежь. Я в возрасте Алены на многое был способен. Господи, неужели все дело в том, что я попросту жаждал реванша за страсти своей юности, долгие бдения под забытыми ныне окнами, за письма, которые, надо думать, так никто и не прочел, за одинокие, якобы непреднамеренные прогулки без видимой цели в определенном районе города, когда случайная, минутная, абсолютно ничего не значащая встреча представляется едва ли не смыслом бытия.

Летом начинались командировки, по нашим проектам строят во всех концах страны, вот я и мотался то в Сибирь, а то в Среднюю Азию, лирические соображения не выдерживали давления производственных проблем. Я погружался в лирику, засыпая на гостиничной койке или ворочаясь без сна на верхней полке скорого вагона, это были приятные и бессвязные ночные мысли, они могли и днем явиться ни с того ни с сего посреди планерки или же на лесах во время разговора с прорабом, днем, однако я научился ими управлять.

Алена же благополучно завершила практику. Юлиан Григорьевич написал ей велеречивую характеристику, отмечавшую

природное чувство стиля будущего специалиста, ей предстояла защита, потом последние каникулы.

В конце сентября я возвратился из Крыма, шли долгие дожди, иногда вперемежку со снегом, слишком ранним и потому обидным, деревья облетели в несколько ночей, отпуск, и без того не очень-то удавшийся, представлялся уже событием давних лет. Однажды вечером я вышел от приятеля, он жил почти напротив театра, там начинался разъезд. Я раскрыл зонт и остановился на краю тротуара над широким и быстрым дождевым потоком. Светлый автомобиль «Жигули», весь в каплях дождя, дрожащих и сверкающих, проплывал мимо меня. Встречные фары высветили на мгновение салон, рядом с водителем сидела Алена, улыбающаяся, с кукольно-яркими, по моде, губами, с блестящими, как будто бы даже немного хмельными глазами. Она что-то говорила все время, забавное и веселое вероятно, и мужчина за рулем слушал ее с выражением ласковой и усталой иронии, так свойственной бывалым автомобилистам. Вся эта картина удачного светского выезда показалась мне столь вызывающе неожиданной, столь не похожа она была на зрелище покорной и смущенной практикантки, что я так и застыл на месте. Ненужная привычка во всяком событии видеть потаенный символический смысл. Вредная привычка. Автомобиль между тем в одно мгновение нарастил скорость, водитель решительно начинал обгон, из-под шелестящих колес с силой вырвалась тугая струя воды и окатила меня с головы до ног.

Спустя некоторое время Алена вновь появилась в нашем институте, теперь уже как равноправный член коллектива, мы встречались на заседаниях, конференциях или просто в буфете, отношения у нас сложились самые корректные. Даже больше, я вскоре понял, что Алена всячески отделяет себя нынешнюю, деловую, уверенную в себе сотрудницу, от взбалмошной и наивной практикантки прежней поры. Отделяет и просит не путать. Что было, то было. Мне стало немного обидно, как будто бы кто-то посягнул на некую мою несомненную привилегию, которой я великодушно пренебрегал, но которую привык считать своим не подлежащим пересмотру правом. Иногда, спускаясь вечером по институтской лестнице, я живо представлял себе, что Алена, может быть, ждет меня сейчас за углом, как наверняка бы ждал ее я, будь я на ее месте. Но нет, за углом торговали сигаретами и цветами, это был прелестный уголок для свиданий и ожиданий, замаскированных под случайное совпадение обстоятельств.

Отныне же в этом не оставалось никаких сомнений. Извольте пожаловать на церемонию бракосочетания и все такое прочее.

До самой субботы я не был уверен, пойду ли я на свадьбу.

Я надел модную рубашку в синюю широкую полоску, повязал

галстук, привезенный приятелем из Варшавы, костюм был не самого последнего покроя, но вполне приличного шитья.

По дороге на рынок я думал о том, что давно уже не ходил па свадьбы. Близкие мои друзья переженились лет десять назад, многие из них с того времени успели развестись и наладить другие семьи, свадьбы в этих случаях, как известно, бывают не слишком торжественные, без кукол на бампере такси и без лишних гостей. Откровенно говоря, я уже привык думать, что ближайшее бракосочетание, на котором мне придется гулять, состоится лет этак через семь-восемь, когда моим приятелям придет пора женить и выдавать замуж своих детей. Однако дело вот как обернулось.

Гардеробщик приветливо сообщил:

— На свадьбу пожалуйте налево. В малый зал.

В фойе уже толпился народ, большею частью солидный, хотя и нестарый еще, подтянутый, бравый, увлеченный утренним бегом, амосовской гимнастикой и всевозможными австралийскими, японскими и бог их знает какими еще диетами. Впрочем, среди стройных этих силуэтов попадался традиционный мешковатый бостон, торжественный и добротный, как не ведавшая диет эпоха.

Я притулился где-то с краю, пожалев впервые, что бросил курить, сигарета в таких случаях создает иллюзию дела и прибавляет уверенности.

И тут я заметил, что моложавая статная дама в длинном вечернем платье, встречавшая гостей посреди фойе, направляется в мою сторону и мне улыбается.

— Вы Сережа?— спросила она, улыбнувшись еще сердечнее и еще обворожительнее.— Я тотчас же догадалась. Аленушка столько о вас рассказывала, что же вы стоите так скромно в углу.— И я опомниться не успел, как она уже взяла меня под руку, вот в кого у Алены такая решительность, в мамашу, да и прочие свойства, вероятно, например, ее замечательное умение держаться на людях, смело преодолевать смущение.

Мы вошли в уютный зал с большим камином и дубовой, на взгляд скрипучей лестницей, ведущей на хоры. С другой стороны сквозь стеклянные двери виден был соседний зал, уставленный свадебными столами. Меня подводили к разным людям, я кланялся, пожимал руки, улыбался, кажется, даже шаркал ногой совершенно уж неожиданно для самого себя, выслушивал из уст Алениной матери превосходные характеристики почетных гостей, судя по ее проникновенному тону и выражению лица, они и впрямь были выдающимися людьми, по темноте своей их имен я никогда прежде не слышал. Впрочем, хозяйка была склонна к преувеличениям, она ведь и меня рекомендовала как лучшего

Алениного друга, руководителя на архитектурной стезе и, можно сказать, благодетеля.

Больше всего на свете мне хотелось затеряться в толпе, я совсем уже было достиг своей цели, однако именно в этот момент прибыли молодые.

Это был как раз тот самый случай, когда свадебное понятие обрело совершенно конкретный смысл. Алена и ее муж выглядели в окружении гостей почти детьми. Ибо мужем оказался вовсе не тот респектабельный автомобилист с усталым лицом, а совсем юный паренек с аккуратной гривкой пепельных волос и нежной девичьей кожей. Я представил себя на его месте, и мне сделалось грустно. Не из ревности, нет, не в том дело, что я, чего доброго, мог стоять теперь рядом с Аленой и, наверное, выглядел бы уж совсем глупо, просто вспомнил себя в его годы. Разве так давно это было, вчера, честное слово, вчера, с места мне не сойти,— куда они делись, эти двенадцать лет, куда утекли? На что они потрачены, неужели только на то, чтобы я стал приблизительно так же одет, как и жених? Чтобы дотянуться, так сказать, до уровня следующего поколения?

Молодых окружили, стоять одному в стороне было неловко, и я тоже подошел с поздравлениями. Как и положено, Алена была в фате, тончайшей, эфемерной, колеблемой дыханием. Подвенечное платье, кружевное, прелестное, крохотное, чуть не доходило до коленей и потому невольно вызывало мысли легкие и непочтительные. Что на свадьбе, как известно, не возбраняется.

Я приложился к ее руке, пробормотал какие-то невнятные слова, а потом внезапно, для самого себя неожиданно, поцеловал Алену. Впервые и как-то не совсем скромно для поздравления — в шею. И тут, к счастью, грянул мендельсоновский марш, распахнулись стеклянные двери, крутобедрые официантки с профессиональной сноровкой кокнули на счастье хрустальный фужер и ловко усыпали паркет там, где предстояло ступить жениху и невесте, алой и белой гвоздикой. И они пошли, тоненькие, стройные, как-то ненатурально высокие из-за своих аршинных платформ, непринужденно пошли и независимо, не смущаясь ни метрдотеля с подносом шампанского, ни сияния старинных люстр, все так и надо, так и должно быть, за ними, слегка выдержав дистанцию, потянулись собравшиеся, получилось целое праздничное шествие на манер демонстрации, только транспарантов не хватало и знамени. Если бы я женился, то не смог бы пригласить и десятой доли гостей из числа родных и знакомых. У меня бы их просто-напросто столько не набралось.

И все... А теперь сиди и слушай Павлика. Внимательнее гляди по сторонам. Все-таки странно оказаться вдруг в категории

лиц, которым принято давать наставительные советы, ничуть не стесняясь никаких их достоинств и достижений, поскольку имеется в виду, что в самом главном они свою жизнь позорно и очевидно прошляпили.

— Я, кажется, вообще сегодня многое понял,— сообщил я.— Наверное, по причине свадебной музыки. Страшная вещь. Называется «Кровь, пот и слезы». Без преувеличений действует на все, как говорится, стихии организма и души.

Павлик скорчил иронически-компетентную мину.

— Как же, как же... в курсе дела. У нас в конторе молодежь намостырилась культурно отдыхать. Аппаратура-то казенная, какая только хочешь.

Мы с Павликом вошли в комнату, которая сделалась вроде бы выше и просторнее с тех пор, как после смерти родителей Павлик вывез отсюда допотопный комод из мореного дуба, источенного жучком, и высокую кровать с никелированными шарами. И все же, несмотря на стеллаж и огромный телевизор, здесь витал дух вовсе не теперешнего, не нашего века жилья.

— Ты прав,— согласился я.— Сначала просто обалдение, отключение, затмение. Зато потом ого-го! Реакция обостряется, и многое становится очевидным. Из того, чего раньше не замечал. Например, что молодость прошла.

— Успокойся,— подмигнул мне Павлик,— припасов еще хватает. Нервы сдают, дед, нельзя тебе молодежную музыку слушать. Ты помнишь, лет пятнадцать назад, когда мы пацанами были, юность считалась... ну вроде бы преддверием жизни. Как бы подготовительной стадией — все еще впереди, настоящая жизнь, взрослые дела, свершения, удовольствия,— пока лишь пробная стадия, период предпусковых испытаний, как бы сказать. А теперь сразу пуск! В четырнадцать лет уже не готовятся к жизни, а живут на полную катушку — своя мода, музыка своя, свой мир. Нормальный ход! Знамение времени, пусть неудачник плачет. Помнишь, меня со школьного вечера за американскую пластинку вытурили? «Египтинелла» — буги-вуги. И еще карикатуру похабную в стенгазете намалевали — любитель музыки толстых.

Кухня в этой квартире была не совсем обычная — крохотный закуток без окон и дверей, но очень уютная. На дощатом столе оригинальной конструкции — Павлик сам его вычертил, сколотил и отлакировал — стоял уже пузатый семейный графин с желтеющими заманчиво в прозрачной влаге лимонными корками, и граненые трактирные рюмки теснились тут же, и нехитрая домашняя закуска, о которой вспоминаешь чаще, чем о любых ресторанных разносолах,— квашеная капуста, грибки, сливы, маринованные на дому.

— Минуту подождать можете, сейчас картошка сварится?— не отрываясь от плиты, спросила Татьяна.

Но Павлик был не в настроении ждать.

— Мы пока со свиданьицем в виде аперитива,— решил он, разливая водку по рюмкам.— Слушай,— с необычайным подъемом вспомнил Павлик,— ты представляешь, кто ко мне забегал? Перуанец. Куда что девалось? Будка — во, плешь, фиксы вставил. Два раза, говорит, расходился, а теперь нашел гражданку старше себя лет на пятнадцать. Представляешь, отдуплился?

Я на мгновение опешил, какой такой перуанец, что за бред, потом не выдержал и рассмеялся.

Павлик все-таки поразительный человек. Он пять лет служил на флоте, ходил на подлодке в полугодовое автономное плавание, в своем офисе он уже десять лет старший механик группы, незаменимый специалист, его посылают налаживать оборудование в разные города Союза, он отец семейства, наконец, и при этом помнит все школьные прозвища и произносит их с интонацией былой однозначности, и все наши мальчишеские приключения переживает с таким счастливым энтузиазмом, будто случились они вчера вечером.

— Что поделаешь, Паша,— вздохнул я несколько лицемерно о судьбе нашего незадачливого приятеля, к которому, по соображениям ныне уже совершенно туманным, прилепилась некогда кличка Перуанец. То ли уничижительная, то ли лестная напротив того, пойди теперь разбери.

— Время, Паша, проходит. Скоро только и останется, что вдов подбирать.

— Все понял,— завелся вдруг Павлик, уже блестя немного глазами.— Заглуши в себе эту кровавую и потную музыку.

И надо же было, чтобы именно в этот ностальгический момент кто-то тревожно и пронзительно позвонил в дверь...

Так я женился. Но это, как говорится, уже из другой оперы.

Василий Маковецкий

НЕДАЛЕКО ОТ ЭЛЬТИГЕНА*

I

Всю дорогу Семен Иваныч спешил, жал на полную железку и к началу девятого, как и рассчитывал, дошкрябал-таки до Старого Крыма. Но когда повернул с асфальта на гравий и стал подыматься к каменному карьеру, глазам открылась безрадостная картина: впереди, на опоясывающей горный склон дороге, стояла длинная очередь самосвалов. Журавлев на своем Сивом оказался чуть ли не двадцатым. Он зажмурился, уронил голову на согнутый локоть и произнес несколько подходящих такому случаю слов. Потом спрыгнул на землю.

— Братцы! Какая там раззява села поперек лопаты? Долго будем стоять?

— Экскаватор порвал троса,— отозвался водитель ближней машины.— С полчасика позагораем...

Семена Иваныча перекосило.

— Полчаса? Ну, без ножа режут, карьеристы проклятые! Это, считай, они час проваландаются... Лучше бы я, дурак, сегодня отгул взял.

На двенадцать ноль-ноль у него была назначена важная встреча с председателем профкома комбината. Теперь эта встреча могла сорваться. Говорить же Семен Иваныч хотел о своем старшем сыне Павле, который месяц всего как отслужил в армии и вдруг надумал вдвоем с невестой уехать по вербовке на Север. Хороший парень, водитель второго класса. Она мастер на аглофабрике. Тут даже не о родительских чувствах речь. Неужто упускать с комбината такие кадры? А чтобы остались, им, кровь из носа, надо расстараться хоть какую-нибудь комнатенку. На семейном совете этот разговор был продуман до мелочей, и, пока ехал, Семен Иваныч не выпускал его из головы, а тут... Будьте вы неладны с вашими тросами! Хоть порожняком домой заворачивай.

Он с силой ударил дверцей и, отойдя к обочине, уселся над

крутизной — спиной к порвавшему троса экскаватору. Вырвал из пачки папиросу. Привычно хороня огонек в ладонях, хмуро глядел на ровное желтое пламя. Даже здесь, на высоте, ни ветерка. Весна!

Внизу за шоссе пестрел черепичными крышами и скатывался в долину старый тихий городок. Горы по окоему забирали все выше и выше вправо и вдруг расступались, открывая следующую гряду; за нею синела еще одна горная цепь, и едва проступала, теряясь в облаках, самая дальняя, голубая. Уже цвел миндаль. Всюду в садах и на огородах возле шоссе шла работа. Копают, садят, жгут прошлогодний бурьян. Старается народ, не теряет попусту дорогого времени!

Подхватившись, Семен Иваныч вернулся к машине и свирепо засигналил. Три или четыре машины в разных концах колонны поддержали его. Очередь дернулась. Передние на полкорпуса подались вперед, и ему тоже надо было двинуться, но он... словно бы вдруг выключился. Застыл чуть не в испуге, держась за дверцу своей машины: среди прозвучавших сигналов ему почудилась знакомая нота. Очень, очень знакомая! Живая, с двойным перехватом, похожая на звон пионерского горна, она отозвалась в груди дрожью и долго замирала эхом в окутанных зеленой дымкой весенних горах и распадках. И пока не затерялся последний запоздалый отголосок, Семен Иваныч стоял околдованный. Потом перекинул взгляд на дорогу, забитую самосвалами, хлопнул дверцей и быстро, с подбежкой, пошел вдоль колонны. Миновал голубой ЗИЛ, оранжевый КамАЗ, два зеленых молодцеватых КрАЗа и возле третьего, тоже с прозеленью, но, скорее, пегого, сильно помятого, задыхаясь остановился.

Да! Это был его Соколик, его любимая, лучшая в мире машина, шедевр автомобильной промышленности, самосвал, на котором он проработал без малого три года и с которым так неожиданно и горько расстался. Он самый... Но какой! Его сплошь покрывали вмятины и рубцы, а на кузове — с левого борта — зияла рваная дыра непонятного происхождения, будто просадило снарядом. Весь он стал пятнистый, обшарпанный — родной брат Сивому. Видать, один только голос остался от прежнего Соколика, чудом остался, и то лишь потому, что редкостной выделки медные рожки кто-то догадался упрятать с кабины под капот.

Перекосив лоб страдальческими морщинами, Семен Иваныч узнавал любимую машину. Вот подкова, которую он приварил на счастье к козырьку. Вот бортовые пластины с рудничным номером. Черти, и закрасить-то как следует не сумели... Знаменитый «триста первый»! У всех рудничных самосвалов номера были на кабинах, а он, пригнавши с завода своего Соколика, уродо-

вать его не захотел и наварил на бортах специальные пластины, объяснив завгару, что на кабине краска, мол, не держится. А краска и вправду не держалась: в тот день, когда девчонка-малярша пришла ставить номер, он схимичил — натер дверцы салом...

— Моя бывшая! — сказал Семен Иваныч молодому, с усами и бакенбардами водителю, который меланхолически наблюдал из кабины за этим осмотром. — Как она бегает, ничего?

— Та бегает...— зевнул и потянулся парень.

— А сигнал ты догадался спрятать или кто?

— Это еще до меня... Тут уже было, было хозяев!..

Оно и видать. Внутри кабина прямо-таки поражала грязью и неуютом. Исшарканная резина на полу сквозила щелями и дырами. У Семена Иваныча раньше под ногами был коврик, вырезанный по форме всех выступов: вымолил, выпросил у жены, так потом и оставил в кабине чужому дяде... А выдвижные пепельницы? Такие чистенькие были на каждой двери пепельницы: сыновья всегда прятали в них конфеты, папке в дорогу. Нету пепельниц, выдраны с мясом. Из угла сиденья выпирает пружина, торчит какая-то рвань...

Семен Иваныч замычал и крепко потер грудь.

— Ты что?— не понял его жеста водитель.

— Это я так... Ты его моешь хоть иногда?

— Бывает...

— Молодец твой отец, на полу спал, ни разу не упал!

— Чего, чего?— опять не разобрал усатый.

— В хороших руках машина — вот что! По углам грязи на палец, в скатах камни. Сидит, развалился! Попал бы ты к нам в гараж, там за такую работу тебе ряшку живо начистили бы!

— Ряшку? Мне?— удивился водитель.

Ах как захотелось Журавлеву немного потаскать этого увальня, встряхнуть, чтобы у него клацнули зубы и пропал сон! Но тут очередь машин тронулась, снизу закричали, и Семен Иваныч, плюнув, побежал к своему Сивому. Подвигаясь помалу к загрузочной площадке, он не спускал взгляда с Соколика. От него не укрылось, как неловко усатый поставил машину под экскаватор — ему так и насыпали, и он отошел от загрузки с сильным креном на правый борт. «Ах ты ж, подлая твоя душа!» — простонал Семен Иваныч.

Он смотрел вослед Соколику, пока тот не скрылся; и потом, уже поворотивши домой, чуть не до самой Феодосии вздыхал, не мог успокоиться: «Сволочи, такую машину загубили!»

II

С тяжелым старческим храпом Сивый греб и греб по шоссе, и пассажиры шустрых «Жигулей», то и дело его обгонявших, морщились, попадая в полосу черного дыма. Некоторые оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на эту развалину и на водителя. Они выглядели под стать друг другу — старый, обшарпанный КрАЗ и водитель, седой, тощий, с большим носом, в надвинутом на глаза рябом от масляных пятен берете. Семену Иванычу было начхать, как он выглядит. Он спешил, надеясь еще успеть в профком, и старался не растерять в уме приготовленных слов.

И вдруг его как громом ударило: Пашка не потому заволновался и грозится уехать на Север, что ему в родительском доме надоело тесниться и спать на раскладушке наполовину под обеденным столом,— хотя и это, понятно, не последняя причина. Ему досадно и обидно за отца, за его старую машину и вечное невезенье! Писали же ему в часть: вот-вот должны получить новую квартиру — и опять отсрочка, неизвестно, последняя ли. Писали, что отца хотят наконец пересадить с калеки Сивого на новый КамАЗ — и тоже никаких перемен. Ведь как у него давеча прорвалось: «С тобой, отец, здесь не считаются!» Ему, поди, и перед невестой стыдно... И таким несправедливым показался Семену Иванычу этот сыновний стыд за него, что он в сердцах ударил кулаком по баранке и громко сказал:

— Дурак ты, Пашка!

«Дурак, дурак,— продолжал он думать,— ничего ты не понимаешь. Ну, езжу на Сивом. Что ж, надо кому-то ездить и на нем. Это ли в жизни главное? Ты потолкайся по гаражу, послушай, что обо мне люди говорят. А если на твоей стороне есть какая-то сермяга — допустим такую возможность,— то тем более, какое ты имеешь право уезжать, покидать отца с матерью? Не прав, сынка, я тебе докажу!..»

Навалились на Семена Иваныча думы, отяжелили взгляд. Так и ехал — смотрел вперед, будто читал на бегущем под колеса асфальте строчка за строчкой свою жизнь. Богатую? Не скажешь... Бедной тоже не назовешь... А что самым большим несчастьем за последние годы была у него потеря Соколика — это факт.

Девять лет назад в конце нежаркого, не скупого на дожди лета вот по этой же дороге Журавлев вел его с Кременчугского автозавода домой в Керчь. Только-только с конвейера! Мелькали вдоль лесополосы островки белых ромашек, гривы зелени, россыпи ярко-красных огоньков; над убранными полями носились стаи голубей. Казалось, все радуются его обнове — трактористы притормаживали на перекрестках, ждали, пока он проедет. Придер-

жал лошадь молодой чабан, прогонявший краем дороги свою отару, и даже чабанская собака лаяла вослед, весело махая хвостом... Ехал он не спеша, на второй передаче. Страшно хотелось прибавить оборотов, но он был не враг двигателю, чтобы нагружать его, не обкатав на малых скоростях. «Ничего, ничего, Соколик, потерпи,— приговаривал он,— мы с тобой еще возьмем свое!» А дома ждали сыновья, Пашка с Димкой, в ту пору еще совсем шкеты были. Две недели с отцом не виделись, заскучали. И вот она, эта самая минута... Родной дом! Сыны слетелись с двух сторон, как соколята, один прямо с крыши, другой с дерева — чумазые, глазастые, шальные от счастья. «Папка, папка приехал! Ура! На новой машине! Открой, папка!» Ворвались в кабину, кинулись все хватать и ощупывать, и новый КрАЗ тоже, казалось, радовался — ублаготворенно урчал мотором, тихонько ржал, как лошадь под ласковой рукой. Потом все трое поехали в гараж. Улицы после дождя были мокры, а на Соколике, новеньком, блескучем, вода не держалась... Угадали подъехать точно в пересменку: вся бригада была в сборе. Батюшки, что поднялось!

Новый КрАЗ был праздником для всех — и для семьи, и для бригады. Пять машин в бригаде; ну-ка кто-нибудь поломался или вдруг соседняя бригада начни дышать в затылок — на кого надежда? Только на Журавлева. Никто, понятно, не хотел, чтобы друзья ломались, но какая это роскошь — воля, когда можно прибавить оборотов и вырваться из нудного ритма вскрышной карусели! Холопов, Черняев, Завалишин да и сам бригадир Дымов — скоро все оказывались позади. На своем Соколике он их обставлял, как стоячих. «Не путайся под ногами, мелочь пузатая! А ты, экскаваторщик, чего егозишь ковшом, как старая баба поварешкой? Я подъезжаю, у тебя уже ковш должен быть наготове!» Экскаваторщик сердился, рычал: «Замотать меня вздумал, варварюга? Да я ж тебя первого!..» И шуровал вовсю, да только прыти его хватало ненадолго. В конце концов прижимал руку к груди, умолял о передышке: дай, мол, сойти на землю, справить малую нужду... «К-куда на землю? Скоро перерыв! Грузи давай!»

Да, с новым КрАЗом прошли лучшие годы его зрелой жизни. Вполне можно так сказать, никакого тут нету преувеличения. Начинал после армии на сто пятом ЗИСе, потом, уже на руднике, водил «каруцу» с деревянным рулем — так называли тогда самосвал марки ЯАЗ. Потом был разбитый КрАЗ, собранный по винтику... Набрался горя с развалюхами! Вечно лазил по свалкам, искал детали. Смену молотишь, даешь план, а потом заляжешь до ночи с переноской под машину, чинишь, и, глядишь, кто-нибудь из пацанов ужин несет. Новый КрАЗ всему этому дал отставку. Началась другая жизнь. И не было на всем Камыш-Бурунском

комбинате бригады крепче и спаянней, чем их шестая бригада.

Не было, пока не пришли БелАЗы.

До того о БелАЗах, об этих чудищах толстоногих, только слухи ходили. Мол, наработал их Белорусский завод видимо-невидимо, и скоро всем вскрышникам придется пересаживаться на новую технику. Но зачем пересаживаться? Разве КрАЗы не успевают открывать руду, свозить вскрышной грунт? Вполне. Никогда за ними не было остановки. Какой же смысл в замене? Смысл, оказывается, был тот, что бедная камыш-бурунская руда слишком дорого обходится государству — БелАЗы ее удешевят. Выигрыш тут — две копейки на кубе грунта, но и копейки приходится считать.

Грянул день, бригадира Дымова послали в Минск за БелАЗами. Оказали честь передовой бригаде. А они, водители, никак этого не хотели! Просили Дымова: не езди, тебя ж потом заставят их и обкатывать, рассыплется бригада!.. Так оно и вышло. Бригада распалась. Двое перевелись в бензиновый парк на «газоны», третий уволился, ушел рыбалить в дальние моря, а он, Журавлев, не захотел расставаться со своим Соколиком и начал ездить по разным участкам — с одного карьера на другой, везде, где требовалась подмена. Понятно, такая работа нравилась ему не шибко, но держался он гоголем и старенький свой берет носил лихо сбитым на правое ухо.

— Нет,— говорил он Дымову, который при каждой встрече заманивал его к себе в напарники.— Трусись в блин со своим БелАЗом! Я на таких скоростях не могу. Это скорость для спанья, а не для работы. Я на нем высплюсь, а что дома буду делать? Нет, Витек, не по нутру мне твоя дуроломина. Не могу!

— А ты попробуй,— не отступал Дымов.— Сделай со мной ходку для интереса. Или боишься перевернуться?

Вот так он спросил однажды зимой на руднике, остановив свой БелАЗ около журавлевского КрАЗа, когда Семен Иваныч лопатой очищал кузов от намерзшей глины. Спросил и засмеялся. Журавлев посмотрел в разбойные глаза Дымова и хотел его маленько осадить, но что-то в груди дрогнуло ответным задором, и, бросив лопату, он со своего кузова переступил на высокий паровозный трап БелАЗа. Бесцеремонно потеснил бывшего своего бригадира,— очень довольный, Дымов примостился в углу на крохотном, с ладонь, стажерском сиденье.

— Ну что ж, правильно: собачья будка!— сказал Журавлев, с брезгливой миной оглядывая прямоугольное пространство чужой кабины.

Щелкнул по рычажку с правой стороны у кресла:

— Подъем кузова?

— Ну!

Рычажок оказался, на удивление, легким. Семен Иваныч только чуть его двинул, и кузов пошел задираться кверху. У КрАЗа рычаг тугой, к концу смены рука отваливается, а здесь — ишь ты!.. Неплох был и переключатель скоростей — как у «Москвича» на рулевой колонке. Зато само рулевое колесо показалось ему страшно неудобным — плоским, без наклона.

— Будто поднос в руках держишь,— пробормотал он.— И приборов... Раз, два, три, четыре...

Дымов кинулся объяснять, что к чему, но Журавлев отстранил его руку — сами не маленькие. Он озирал все эти премудрости с брезгливым и скучающим видом, а внутри у него все дрожало и даже как будто подташнивало — то ли от сдерживаемого волнения, то ли и впрямь от страха. Почему-то так пакостно было на душе!

Нет, не принимала душа эту махину!

— Давай трогай.— Дымов зорко следил за руками и ногами Журавлева и не замечал капель пота, покрывавших его лоб.— Стой, стой, не жми! Эта педаль не сцепление — тормоз!

— Как тормоз?

— А вот так: у тебя на КрАЗе сцепление, а здесь тормоз. Сцепление — вот оно, где твои скорости. Понял?

— Тьфу ты!

— Ничего. Трогай помалу. Езжай под экскаватор.

С застывшей усмешкой Журавлев дал газ и начал потихоньку разворачивать. В управлении эта уродина была на диво послушной. Но именно в легкости управления ему чуялось коварство. Он качнул баранку едва-едва, на пробу, и машина тотчас отозвалась, повела в сторону тупой мордой. Даже не возникло ощущения, что она поддалась его воле,— двигалась словно сама по себе. Мягко покачиваясь, переваливала дуроломными своими скатами через закаменевшую после дождя колею.

— Ну как? Ну как?— ликовал Дымов.— Я ж тебе говорил!

Журавлев молчал. Весь в поту, напряженными руками держал, чуть покачивая, рулевое колесо и с опаской глядел на далекую внизу дорогу. Каждую секунду ждал от машины подвоха. Высота! Сидишь, как на голубятне. У такой махины для устойчивости надо бы, чтоб колеса пошире стояли... Он хотел прибавить скорость, нажал на сцепление — в тот же миг машина резко дернулась и встала. Его кинуло вперед, он больно ударился лбом в стекло.

Предательский этот удар оглушил его. Дрожащей рукой потрогал лоб, потом достал из кармана платок и вытер лицо. Дымова в углу от смеха прямо-таки переломило вдвое.

— Я ж тебе!.. Ну, брат!.. Вот оно где сцепление! Вот, вот, я ж тебе показывал! Но ты духом не падай, Иваныч. У меня понача-

лу было точно так же: хоть ногу привязывай! Раза три стукнулся, пока привык. Привыкнешь и ты.

— Нет!— сказал Журавлев.— Чтобы я променял Соколика на этого бегемота? Под расстрелом!

Это было его последнее слово. Напрасно Дымов рисовал завидное будущее водителей-белазистов, превозносил гидравлику и кузов, который не нужно чистить, потому что в нем подогрев и глина не намерзает,— не сумел переломить Журавлева.

— Пожалеешь, Иваныч,— сказал он напоследок.— Рано или поздно твой КрАЗ спишут. Это ты понимаешь?

— Ничего,— отвечал Журавлев.— Спишут со вскрыши, найдется другая работа. Комбинат большой.

Конечно, работы хватало. Когда на вскрыше полностью воцарились мощные БелАЗы, Журавлеву в некотором смысле стало даже интересней: он стал ездить «на подхвате» по всему громадному хозяйству комбината, по всем цехам и участкам, а иногда удавалось вырваться и на трассу — в Днепропетровск, Запорожье, Харьков.

Хороши были рейсы и не слишком дальние — например, как этот, сегодняшний. На Соколике его тоже часто посылали в Старый Крым за щебенкой. Но, конечно, одно дело ехать на развалюхе, поражающей всех встречных своим дряхлым видом и копотью, а другое — на красавце КрАЗике, чистом, умытом, с ковриком под ногами, с занавеской за спиною и с мотором, который на каждый твой намек отзывается, как преданный пес.

Кое-кто из шибко догадливых в гараже считал, что он не хочет менять Соколика на БелАЗ из-за калыма. Дескать, ему во всех этих ближних и дальних рейсах перепадает свежая копейка. Но это была неправда. Сейчас действительно, при случае услужив человеку, он от денег не отказывается, а раньше платы ни деньгами, ни спиртным никогда не брал; хватало и того, если насыпали в берет вишен или дарили арбуз. Грела душу людская благодарность.

Однажды, отработав смену на руднике, возвращались они со слесарем Митей Заботиным в гараж. У села Приозерного их остановил бородатый и слегка горбатый старик-колхозник, с которым когда-то Заботину довелось гулять на свадьбе,— попросил подвезти кубометра три старых шпал, оставшихся в карьере после ремонта путей. Обычно их сжигали, чтобы не замусоривать территорию. На этот раз шпалы, хоть и продавленные, помятые, еще годились; старик хотел построить сарай и договорился с начальником участка,— тот не возражал, дело было вполне законным. Пока погрузили, пока проехали по узенькому сельскому закоулку и кое-как, после нескольких попыток, заехали во двор, а потом из него выбирались, прошло около часа. Хозяин пригласил за-

кусить. Журавлев отмахнулся. В другой раз! Когда выехали на главную дорогу и покатили прямиком к гаражу, Заботин, толкнув Журавлева плечом, показал ему новенькую трехрублевку. Журавлев скривился:

— Взял? Зачем? Он же тебе чуть не родич.

— Ну, я и взял по-родственному!— смеясь, отвечал Заботин.— Если совсем не взять, он обидится. Подумает, что мало предложил. И скажет про себя: «Ну и шкура этот Журавлев!» Так что, Семен Иваныч, я из чистой заботы о твоем авторитете!.. Раздавим бутылочку при случае.

Журавлев ничего не сказал на эти речи, только головой крутнул — умеет, собака, объяснить!— и сплюнул за окно.

Еще минут пять потеряли у переезда, ожидая, пока пройдет состав с рудой, и подъехали к гаражу ровно в половине шестого. Выруливая на гаражный светофор, Журавлев привычным глазом окинул пространство за воротами, строй БелАЗов у дальнего края бетонки и группу водителей на крыльце диспетчерской. Среди них, возвышаясь на целую голову, стоял хмурый и насупленный начальник автобазы Синько. Он сошел с крыльца навстречу выезжавшему КрАЗу и поднял руку. Неужто засекли на шпалах? Со страхом и страданием Журавлев вглядывался в суровое смуглое лицо подходившего начальника, готовый тут же повиниться. Следом за Синько шли двое незнакомых — один в черном овчинном полушубке и в зимней меховой шапке набекрень, по всей видимости, свой брат водитель, а другой в красивом кожаном реглане, с цепким, оценивающим взглядом и пренебрежительной усмешкой, какой-то начальник. Синько прогудел:

— Ты где шатаешься? Смена давно кончилась. Сдавай вот им машину.

Журавлев смотрел на него из открытой кабины и не мог вымолвить ни слова.

— Ты что, не слышишь? Сдавай машину!— повторил Синько.

Он был свойский мужик и с Журавлевым всегда разговаривал шутливо, симпатизировал ему. А тут... Да, видать, засекли!.. Ватными ногами Журавлев сошел с машины, захлопнул дверцу. Ватными руками начал свинчивать с кронштейна медные сигнальные рожки.

— Э, нет, уговору не было, не трогайте!— донесся до него голос незнакомца в реглане.

— Пусть берет,— сказал Синько.— Сигналы его личные, за свои деньги покупал.

Руки у Журавлева дрожали, и гайки не свинчивались. Он снова открыл кабину — взять плоскогубцы — и забыл о них. Погладил баранку, осмотрел панель. А мотор продолжал работать тихо и доверчиво. Над сиденьем висел в кобуре пластмассовый пис-

толет, подаренный Димкой — «обороняться от бандитов». Сорвал его и спрятал за пазуху. Потом осторожно отцепил красный вымпел передовика, висевший у изголовья. Совсем он уже был выцветший, этот старенький вымпелок, много раз стиранный Катей, полученный еще в то благословенное время, когда он работал в бригаде Виктора Дымова,— снял, сложил, сунул в боковой карман. Все молча за ним наблюдали. Захлопнув дверцу и никому не махнув рукой, не кивнув даже, прошагал прочь.

— Потом зайдешь ко мне!— сказал вслед Синько.

Журавлев не ответил. Вышел за гаражные ворота, и привычным путем — через переезд, мимо аглофабрики — ноги сами понесли его домой. Кто-то его окликал, здоровался,— он не слышал и не видел. За аглофабрикой на подъеме шоссе остановился: с воем, с натужным ревом его обгонял родной КрАЗ. На половине подъема водитель перевел скорость — машина дернулась и, взревев, поползла вверх. И Журавлев тоже вздрогнул, болезненно перекосился. «Ты ж порожняком идешь, гад, разве можно так врубать скоростя?» — чуть не закричал он. Загубят машину чужие руки, ох, загубят... Будто от жара, когда случалось пережидать у переезда состав с горячим агломератом, замутилась и поплыла перед ним дорога... Так и шел он за своим Соколиком, почти не видя его, пока тот не затих вдали.

Дома в этот час никого не было. Журавлев бухнулся лицом в подушку и лежал без движения, без чувств, отупелый, будто бревно под текучей водой. До тех пор лежал, пока в коридоре не послышались шаги жены. Тяжело, через силу поднялся, отошел к окну.

Она зашуршала плащом, пристраивая его на вешалке; скинула туфли. Потом стало тихо, целую минуту было тихо, и он затылком ощутил ее встревоженный взгляд.

— Что случилось, Сеня?

В пальцах его правой руки, дрожа, дымила папироса. Смял ее в кулаке, шевельнул плечом:

— Ничего.

— Но я же вижу!

— Ничего ты не видишь!

— Ничего, так иди курить на крыльцо!— Катя со стуком стала выкладывать из сумки на стол купленную по дороге домой провизию.— Иди, иди, я тебе не нанималась каждый праздник потолки белить! Сил у меня нет спорить с тобой. Я тоже небось не гуляла — работала. С кем ты там поскандалил?

— Ни с кем!

— Неправда! Я же не слепая!

— Ну и что?— обернулся он, стараясь не сорваться на крик.— Что ты видела? С кем это я мог поскандалить? Нашла

скандалиста! Ты лучше не доводи меня до скандала, а то я вам действительно такой кордебалет с музыкой устрою, что будете на деревья запрыгивать!— Он был весь белый, перекошенный яростью и страданием.— Командиры, мать вашу!.. Каждый хочет показать нрав, каждый хочет быть сверху!

Какой только ерунды он не молол, облегчая душу. Катя сидела на тахте, молча на него смотрела — ждала, когда выкричится. Наконец он затих. Затих и начал разминать дрожащими пальцами новую папиросу.

— Так что же все-таки случилось?— спросила Катя.

— Говорю, ничего! Просто... меня с машины сняли.

— С КрАЗика?

— Ну! Откуда ж еще? Какая у меня была машина?

— И на БелАЗ переводят?

— Мало ли что! Ты уж и рада — на БелАЗ!

— А что же плохого, Сеня? Люди ездят, хорошо зарабатывают.— Он так посмотрел на нее, что она осеклась и быстро прибавила:— Ну, ладно, ладно. Не надо никаких БелАЗов.— Подошла к нему, обняла, усадила на тахту.

Она его гладила и успокаивала, а он, как мальчишка, выговаривал, вышептывал свою обиду:

— Понимаешь, если бы хоть предупредили! Хоть бы за день...

— Ничего, Сенечка, ничего. У людей бывает хуже. Сам знаешь, бывает, получит человек машину, не нарадуется, а на другой день... Не приведи господи! Все ж таки ты на ней три года поездил!

— Да, поездил... Но теперь все, завязано с гаражом! Найду другую работу. Электриком пойду в центральные мастерские — помнишь, как меня уговаривали?

— Да тебя везде с руками и ногами возьмут. Горевать тут нечего.

— Об этом я и не горюю... Сыны! Что они подумают! Не последний же я был человек в гараже!

— Не бойся, ты для них всегда батькой останешься, хоть прав, хоть виноват. Ты-то сам... Тебя, часом, ГАИ не задерживала?

— Катя, о чем ты? Какое ГАИ? Да ведь ясно: Синько с этими варягами, которые увели Соколика, давно был в сговоре! Это точно! А я сперва подумал — из-за шпал!

— Каких шпал?

— Да ерунда... Тут одному старику после смены подбросил. Катя так и ахнула.

— Боже мой! Чего же ты после этого на людей жалуешься?

— На кого я жалуюсь? На кого?— опять закипело в нем.—

Пошли вы все знаете куда? То были списанные шпалы, законные, без никакого калыма. Тоже, нашла калымщика!

Сгреб со стула берет и, весь взъерошенный, с тоской в глазах, вышел на улицу.

«Стекляшка» в приморском парке в тот вечер не работала. Он ушел к обрывам и допоздна сидел на кривой стволине, курил, смотрел в черноту. Свет фонарей из-за спины едва очерчивал ближние ветви и камни, а дальше сгущался сплошной мрак, непроглядное пространство. Только редкое мигание буев на далеком фарватере обозначало водную поверхность. Но вот в глубине ночи забрезжило слабое зарево, замерцали огоньки. И теперь по проливу со стороны Черного моря уже скользил целый городок праздничных, в три этажа огней. Должно быть, из дальних краев в Керчь возвращалось рыбацкое судно, большой траулер или даже плавбаза. «Вот оно, мое будущее!» — враз решил он. Уйти от всей этой маеты и нескладухи в море! Мало ли таких, ушибленных на берегу, ударяются в скитания, лечат душу тяжелой морской работой. И помогает! Через два-три рейса, глядишь, все как водой смыло, осталась только ласковая печаль да любовь. Вернусь — здравствуй, семья, такая-рассякая. Соскучились? Вы говорили, батька ничего не умеет добиваться? Держи, мать, гроши на кооперативную квартиру! Держи на мебельный гарнитур! А вам, охламоны, старшему — мопед, а младшему — африканского попугая в клетке! Потом созвать в ресторан старых корешей, и Витю Дымова, и начальника Синько. Ну, дорогие товарищи, пейте, ешьте и давайте все-таки разберемся, как же это у нас получилось с машиной?

Он потом уж узнал, рассказали ему, как это получилось. Соколика, оказывается, поменяли на автобус. Этот автобус был гаражу позарез нужен, чтобы возить белазистов на рудник и обратно. До той поры ездили каждый на своем БелАЗе — туда четыре с половиной километра да обратно столько же; зря сжигалась прорва горючего. Так что у гаражного начальства не было выхода, и оно использовало первую подвернувшуюся возможность... Потом-то все это дошло до ума, а поначалу он своей потерянной головой ничего не мог сообразить. И даже когда ему объяснили, долго не мог взять в толк: зачем отдали именно Соколика? Ведь были другие КрАЗы, постарей. Были, конечно. Этим людям, строителям из Феодосии, предлагались даже два старых КрАЗа. Не захотели. Им нужен был новый — с гидравликой, для езды по горным дорогам. Они где-то возле Судака строили новый курорт. А что сделали из Соколика те дороги и немилые руки, он сегодня увидел. Это ж надо так запустить машину! Если бы не подкова на козырьке и не пластины на бортах, мог бы и не узнать...

С загранплаванием, конечно, номер не прошел: Катя не пустила. Три дня он ее молил-уговаривал, а на четвертый, больной и исхудавший, как после холеры, явился в гараж и попросил, чтобы ему дали какой-нибудь подлежащий списанию кразовский мотор.

Да, все-таки пришел он в гараж, никуда не делся. Взял побитый КрАЗ, стоявший на колодках в углу гаражного двора. Перебрал его с ног до головы, повесил в кабине свой знаменитый вымпелок, прицепил рядом кобуру с Димкиным пластмассовым пистолетом — и стал ездить.

Чего он только за эти годы не возил на Сивом: песок и гравий для стройки, соль рыбакам, уголь для поселковых ЖЭКов и железные костыли для комбинатских путейцев. А сейчас вот уже вторую неделю возил щебень для БАМа, как называли на комбинате новый дизельный гараж по соседству с автобазой. Работа спокойная. Ложатся под колеса, уходят назад пологие поля, увалы, извилистые балки с едва проблескивающими на дне речушками. Все здесь знакомо, а ездить нескучно. Копоти выдаешь на сторону чуть не мешками, зато сам дышишь свежим воздухом. Летит ветер с азовских берегов и, что ни встретит на своем пути, все несет тебе в кабину... Кошарой вдруг запахло, овечьим тырлом! Не сразу ее и увидишь, эту кошару, на далеком скате балки. Там возится бульдозер, величиной с жука, сгребает в кучу перегной, готовит удобрения на поля... Да! Еще же, кроме всего прочего, и в колхозе пришлось поработать...

Месяца через три после того, как он стал ездить на Сивом, послали их в компании с одним пожилым кразистом по арендному соглашению в колхоз — отсыпать гравиевые дороги. Было там, в общем, хорошо, хотя сельский люд встретил командированных, если честно сказать, с прохладцей. Как понял Журавлев, слишком уж стары и неказисты были их машины. Встречают по одежде, а машина для водителя — та же одежда. Но, главное, там никто Журавлева не знал, не было знакомых, которые, видя его на Сивом, спрашивали бы о причинах такой печальной перемены.

Для жилья им дали бывшую четырехклассную школу, где все дети когда-то учились в одной комнате. В ней стояли пять чисто застланных коек и стол с графином. Табуретки не было ни одной. «Ну, а как насчет питания?»,—спросил Журавлев бригадира, грузного моложавого мужчину, который их привел. «Все будет»,— отвечал бригадир. Пытаясь открыть окно, он толкнул створки посильней и чуть не вывалил их вместе с рамой. Успел подхватить. Кое-как вправил на место прогнившие завесы и кивнул на аккуратный саманный домик через дорогу. «Вон там живет наша повариха, Демидовна. Мы ей выделим продуктов, и она будет вас кормить. Прощевайте покеда!»

На плите стоял большой алюминиевый чайник, но не было ведра, чтобы принести воды. Умывальник тоже отсутствовал. Нет, ну и бог с ними. Семен Иваныч лег на первую попавшуюся койку, закинул руки за голову. Старик Федосеев выходил, заходил снова, звякал чайником, трещал щепками. Потом стало слышно, как загудело пламя в плите, и Федосеев заскрипел койкой, присаживаясь у Журавлева в ногах.

— Семен, ты, часом, не больной?

Журавлев открыл глаза. Посреди комнаты светила голая электрическая лампочка на кривом шнуре. В окнах было уже темно. Он сел, потер ладонями лицо.

— Нет... Просто усталость какая-то... Ну, что тут? Как?

Федосеев уже сходил к бабке, к этой самой Демидовне, за ведром. Дать-то она дала и яичек отпустила полтора десятка, но о будущем союзе в вопросах питания и слушать не стала,— мол, пусть за это дело берется кто помоложе, хотя бы и женка этого самого бригадира, который всегда людям попусту головы морочит. Словом, по всему видно, придется им тут хлебнуть горя.

— Ничего, приведем этого деятеля в чувство,— пообещал Журавлев.

Конечно, поговорили бы с ним по-свойски и чего-нибудь от него добились бы, но в первый день пришлось улаживать дела со строителями-дорожниками, жившими в соседней деревне, а потом, чтобы не простаивал грейдер, сразу же начать отсыпку щебня,— бригадира они так и не увидели. Второй день был уже вовсю рабочим, и бригадир опять куда-то запропастился. На обед они варили гороховый суп из пакетов, которые прихватил с собой запасливый Федосеев. Старик приуныл, он был уже пенсионер и болел желудком, у него была плохо залеченная язва. Тогда Журавлев решил принять свои меры. Утром, проснувшись, Федосеев увидел его сидящим на кровати и большим перочинным ножом вырезающим из куска мягкой кожи какую-то загогулину. На полу валялся старый ботинок с оторванным боком, а на подушке лежали две тонкие полоски красной резины и рогатая акация толщиной с палец.

— Чего это ты делаешь? Уж не рогатку ли?— удивился Федосеев.

— Правильно. Угадал! Видел, сколько здесь шастает голубей? Будем охотиться!

— На голубей? Из рогатки? Ты с ума сошел!

— А что? Околевать с голоду? Шалишь, брат!.. И, между прочим, я этих горлиц ненавижу. Ты прислушайся: только усядется какая-нибудь на дереве, сразу же начинает канючить: «Че-ку-у-шку, че-ку-у-шку!» Очень отчетливо выговаривает. С пути людей сбивает! Только чекушки нам здесь не хватало!..

Ясно было, что голубями Семен Иваныч готов заняться всерьез. Доделав рогатку, он попримеривался, пооттягивал резину, подчистил еще немного на держачке, а потом отпихнул рваный ботинок на середину комнаты, достал из кармана гайку, зарядил и с одного маху загнал этот ботинок под самую дальнюю кровать.

— Ставь чай,— сказал он.— Я пошел.

— Сеня! Люди-то что скажут! Мы же с тобой рабочий класс!

— А что скажут? На голубей охота разрешена. Из ружья — пожалуйста, а из рогатки нельзя?

Приехал бы он сюда на Соколике, ему, может, и в голову не пришло бы стрелять голубей из рогатки, а сейчас на все было наплевать.

Сама-то рогатка тут была не в диковину. Но здорового мужика, шофера, уже немолодого, с сединой, который всерьез занимался бы таким делом, тут еще не видели. Деревенские мальчишки ликовали. Он показал им класс! За каких-нибудь пятнадцать минут возле бригадного амбара подстрелил пять голубей. Чайник еще не успел закипеть, когда он вернулся и бросил свои трофеи на лист жести перед плитой. Федосеев горестно на него посмотрел.

— Потроши, а я добуду дров,— сказал Журавлев.— Да поживей поворачивайся, живот подвело!

Вскоре снаружи донесся жалобный скрип доски, выдираемой с гвоздями, затем треск. Залаяла собака, лай прервался испуганным визгом. Послышались шаги, Журавлев свалил у плиты охапку топлива и молча начал помогать Федосееву.

Тушки голубей румянились на проволочных шампурах, когда явился красный, разгоряченный бригадир.

— Граждане дорогие, что же это такое?— с ходу заговорил он плачущим голосом.— Приехали, понимаете, шефы и... и... Вы, пожалуйста, это прекращайте!

— Голубей мы прикончим за неделю,— сказал ему Журавлев.— А потом возьмемся за ваших кур. Ты сядь! Я тебе сейчас дам для пробы... Держи!— Протянул шампур.— Только осторожно, не закапай брюки. И подуй, подуй!

— Да ты что?— отшатнулся бригадир.— Не хочу, вы эти штучки бросьте! Вы какие-то странные, ей-богу...

Железными пальцами Журавлев взял его за локоть и усадил на кровать.

— Ты наш гость. Пробуй... Вроде бы ничего. А?— сказал он, когда бригадир, сокрушенно качая головой, крепкими зубами оторвал от горячей тушки кусок.

— Угу! Очень даже того... Здорово!

— Здорово, а все-таки чего-то не хватает. Верно?

— Чарки!— догадался бригадир.

— Молодец твой отец, и ты парень с умом. Только мы по утрам не употребляем. Ты нам сперва обеспечь харчи. Хлеба, хлеба печеного нам дай! Ты что себе думаешь? Смотри, бригадир, если мы займемся твоим воспитанием, горькими слезами заплачет вся твоя родня!

После этого разговора снабжение наладилось. Покряхтывая и ворча, старуха Демидовна стала готовить им обеды. Но слава про истребителей голубей разнеслась широко, и местный правдолюб написал в комбинат жалобу на Журавлева. Теперь, мол, все подрастающее поколение на селе вооружилось рогатками...

Да, вел он себя в колхозе, что и говорить, не лучшим образом. Кроме всего прочего, накатило еще одно лихо: бессонница. Как ни убивал себя днем работой, половина ночи проходила без сна.

Началось с того, что приснился Соколик. Почудилось — стоит Соколик во дворе, остывает после работы, и кто-то около него крутится, хочет поднять капот. Семен Иваныч босиком выбежал на крыльцо. Ночь была на удивление тихой и ясной. Луна заливала улицы, серебрила крыши, листву. Поперек дороги лежали от столбов и деревьев черные тени. Было так светло, что на запотевших капотах обеих машин, стоявших борт о борт, видны были дорожки от стекающих капель росы — корявые, кривые, и все щербины и вмятины на капотах выглядели в лунном свете еще резче и безобразней, чем днем. Целую минуту Журавлев с каким-то остолбенением смотрел на Сивого, не узнавая его, а потом плюнул и вернулся на свою койку.

С этой ночи и пошла маета. От усталости валился с ног, засыпал мгновенно,— казалось, из пушки не добудишься, а около двух, в начале третьего, будто кто толкнет: глаза открывались, и чередой шли неотвязные думы. Ничего путного, сплошная горечь, обиды... И то сказать, раньше в такие командировки, в аренду, посылали только пенсионеров под стать Федосееву, а нынче и он, Журавлев, оказался в стариках...

Из-за бессонницы он и рыбалкой занялся. Привез из Керчи удочки и, едва начинало поутру синеть в окнах, уходил на озеро. К завтраку возвращался. Озеро это, небольшое, с одной стороны заросшее тростником, а с другой — вытолоченное скотиной, лежало среди холмов в каких-нибудь трехстах метрах от деревни, и там водились толстые, с ладонь величиною, караси. Местные мужики пробовали ловить бреднем — ничего не получилось из-за того, что посредине озера ржавело с военных лет какое-то намертво ушедшее в ил железо, а сидеть с удочкой тут не было охотников. Журавлев протоптал в тростнике короткую стежку на зеркало и с берега закидывал удочку.

Иногда поутру садились на озеро дикие утки; сначала опускалась серенькая самка, потом дымчато-сизый большеголовый селезень. Вертя головой и покрякивая, селезень начинал кружить по воде около подруги. Чтобы их не спугнуть, Журавлев осторожно гасил окурок и сидел как истукан даже при клеве. Любовался... А то, бывало, на ясную, протоптанную им стежку выйдет водяная курочка, перебежит по плывуну, плюхнется у самого поплавка и начинает поклевывать, туда-сюда поворачивается, будто напоказ... Красавица!.. Уж ее-то Семену Иванычу и в голову не приходило стебануть из рогатки. Озерных птиц он любил.

Однажды он поймал карпа килограмма на три. Еле выволок на берег. И не думал, что здесь водятся такие. От радости загототал, пустился в пляс. Ага! Все же не совсем невезучий он — вон какого богатыря подсек! Теряя золотую чешую, карп бил хвостом по траве и зевал огромным ртищем. Журавлев повесил его на кукан и, гордый, с тяжелой своей ношей пошагал в деревню. Конечно, сейчас же набежала ребятня. «О, гляньте, гляньте! Вот дядьке Журавлю повезло!» И все взрослые, кто ни попадался навстречу, тоже останавливались и качали головами. Остановился и колхозный чабан дед Трофим, шедший к своей кошаре. Поднял шалашиком седые брови, поцокал языком: «Так, так, так!.. Матку поймал... Ей-ей, это матка, сыночек! Грех ее губить».— «Такая у нее доля, батя!» — весело отрезал Журавлев. Но прошел еще десять шагов, и стало нехорошо, неспокойно. Приостановился, приподнял рыбину, потрогал. Вроде бы не время ей сейчас нереститься, а живот действительно... Правду сказал чабан! И, махнув рукой, повернул Семен Иваныч назад, чуть не бегом поспешил к озеру. За ним с радостным голошением неслись мальчишки. Сначала мальчишек было трое или четверо, а когда, вытащив кукан из окровавленной пасти, Журавлев опустил самку двумя руками в воду, на берегу уже теснилась толпа. Рыбина держаться прямо не могла, ее клонило набок; большой, выпуклый, с красным ободком глаз смотрел обреченно. Но вот она, пуская пузыри, раз, другой двинула жабрами, шевельнула хвостом и с малой помощью журавлевских рук обрела устойчивость. «Ну, давай, давай, шевелись!— говорил Журавлев, легонько поглаживая у плавников и под животом.— Ты нас извини... Но и ты тоже будь поумней. Ну, ходу, ходу! Смелей!» Самка тыкалась лобастой головой в руки Журавлева, зевала все шире, все загребистей и вдруг, сильно ударив хвостом, обдав всех брызгами, ушла на глубину. Будто медным тазом блеснуло напоследок из глуби... Мальчишечья ватага радостно возопила. Забрызганный Журавлев смеялся и вытирал рукавом лицо.

Оказывается, как он потом с удивлением узнал, его в деревне сперва посчитали чуть ли не извергом, детей боялись выпускать

на улицу. И даже Демидовна, которая его поняла раньше всех, даже она поначалу при нем робела и, если надо было принести воды, просила не Журавлева, а старика Федосеева.

После колхоза оба командированных почувствовали себя лучше. Федосеев подлечил свою язву. И Журавлев начал потихоньку обретать устойчивость, «шевелить жабрами». В тихонькой той деревеньке ему так понравилось, что стукнула даже мысль: а не переехать ли туда всем семейством? Катя, конечно, и слушать не стала. Но долго он вспоминал своих колхозников — Демидовну, бригадира, мальчишек — и радовался, если в той стороне шли в пору хорошие дожди.

Одно было досадно: пока он там работал, на автобазу комбината выделили по разнарядке четыре новые машины: два БелАЗа и два КамАЗа. Узнай он про это вовремя, очень возможно, один из КамАЗов достался бы ему и он смог бы наконец развязаться с калекой Сивым...

III

Нагруженный Сивый тянул тяжело, прямо-таки тяжко и безбожно дымил. Черный дым из выхлопа отлетал на голую, еще только-только начинающую оживать лесополосу и дальше па умытые дождями зеленя. Сидевшая на придорожной абрикосине ворона раз, другой пригнулась, собираясь слететь, потом вроде бы раздумала; но Сивый ударил на подъеме новым зарядом копоти, и ворона сорвалась прочь. Семен Иваныч оглянулся и сокрушенно хмыкнул. Тут не только птицу у дороги, но и, чего доброго, дальнего зайчишку посреди озимых сгонишь с лежки!.. Стыд и позор ехать в ясный весенний день на такой машине. А что поделаешь? Цилиндры отработанные, с сыпью. И форсунки старые. Сколько их ни отлаживай и ни чисть, новыми не станут. «Нет машины лучше КрАЗа, считал Семен Иваныч, не существует в природе, но если ресурс кончился, если ее доездили до полуживого состояния, никакой доктор не поможет. Так что, товарищ Журавлев, вкалывай на развалюхе и не вини судьбу. Никто в твоих бедах не виноват. Слишком скоро пошла вперед новая техника. Отстал ты от жизни, Семен Иваныч, отстал, а еще хочешь что-то доказать сыну! Что ты ему докажешь! Тут одно только — гляди, как бы сыновья твоих ошибок не повторили... Не секрет: было бы побольше грамотешки, и с БелАЗом поладил бы. Поладил бы, неправда! Пошел бы со всеми вместе на курсы, подучился маленько. Конечно, стыдно стоять у доски неграмотному, под обвальный хохот искать букву в слове... Как бы и тебе, Паша, так потом не пришлось, восемь классов тоже не сад-виноград. А на Севере не учатся. Там деньги зарабатывают. Пройдут го-

ды — спохватишься! Все равно ж на родину потянет. Вон какой здесь простор да красота! Вспомни, сколько вы с Димкой в эту пору тюльпанов приносили из степи! А лето начнется? Маки, ромашки, море синее... Климат! Зря, что ли, едут сюда люди за тысячи верст! Ты, конечно, на это скажешь... Понятно, что скажешь. Но насчет жилья, Паша, давай сперва посмотрим, какой получится разговор в профкоме. Сегодня уже навряд ли успею, дотерпим до понедельника. А в понедельник я нашему председателю скажу. Скажу: учти, Прокопьич, мой Пашка — третье поколение рабочей династии Журавлевых, а династии на дороге не валяются. Дымова еще подключу к разговору... Во! Хорошая мысль. Дымов меня уважает, он крепко может помочь. Увидишь, сынок, считаются со мною на комбинате или не считаются. Уж это я тебе воистину докажу. Только ты шибко не горячись. Не поддавайся Ольгиному заводу, будь мужчиной. Она тебя за рукав, а ты: стой, потерпи, голубка. Деньги мы еще успеем заработать, а родителей оставить не могу. Они у меня единственные. Мол, с отцом мы через год-другой построим на берегу моря гаражик, купим лодку с мотором, будем тебе по воскресеньям бычков привозить. Мидий будем для плова по ведру надирать! Или, еще того лучше, отвезем на Среднюю косу, разобьем на песке палатку, и — отдыхай, набирайся сил сколько душе угодно, хоть весь отпуск. Главное, Оля, не верь сплетням. Может, это когда-то у бати и наблюдалось — выпивал; теперь же, если кто скажет, смело плюнь в глаза! Ты-то сама хоть раз его сильно выпившим видела? Ну вот... Батя наш золотой человек, его понять нужно, а не ехать от него за тридевять земель...»

Возле Горностаевки Журавлева грузно обошел старый автофургон для перевозки живой птицы, обошел и почапал впереди, медленно удаляясь и покачивая из стороны в сторону решетчатым кузовом. Из-под фургона вдруг что-то вырвалось и закружило на асфальте — то ли смятая газета, то ли... курица? Ну да! Беспорядочно крутящийся ком обернулся очумелой курицей, стоящей посреди шоссе на широко расставленных лапах. Семен Иваныч успел притормозить. Выскочил, схватил курицу и засвистал, замахал вослед фургону: «Эй! Раззява! Остановись, возьми свое добро!» Не остановился. Ушел... Ну и скатертью дорога. Куротка вроде бы неплоха. Килограмма на полтора завесит. Будет жене гостинец!

Смеясь неожиданной прибыли, Семен Иваныч сел в кабину, достал из рундучка бечеву и привязал курицу за лапу к ручному тормозу. Она была явно инкубаторской породы — белая, голенастая, с коротким красным гребешком и огромными когтями.

Знать, этот деятель с фургона отвозил партию птицы и одну оставил для себя. Но откуда она могла у него вывалиться?

Удивительно, как мало иной раз человеку надо, чтобы он забыл о своих заботах и горестях. Журавлев вел тяжело хрипящего Сивого по асфальту к маячившим на горизонте керченским холмам и то и дело с улыбкой поглядывал на пассажирку. Держалась она вполне пристойно. Видать, в этой суматошной жизни ее уже не удивляли никакие перемены. Что-то поклевала на резиновом полу, подергала привязанной лапой, определяя степень свободы, и, взмахнув крыльями, вскакнула на сиденье.

— Поговорить захотелось, подружка?— спросил Семен Иваныч.— Валяй, порассуждаем. Нынче нам обоим повезло. Но никто не знает, что ожидает нас впереди... Жизнь, она полосатая.

Курица смотрела на него и слушала. Подвинулась ближе и вдруг долбанула его в палец правой руки, опущенный на рычаг скорости: как раз угодила по сбитому черному ногтю! Километров пять Журавлев ехал, мотая рукой и дуя на палец, а когда боль поутихла, достал из рундучка еду. Там у него лежал завернутый в газету хлеб с колбасой. Отломил кусок:

— На, жри!

От оставшейся половины откусил сам. Так они некоторое время и ехали — он жевал, покачивая баранку, а она усердно стучала клювом. Подобрала все крошки, ничего не оставила и, раскрыв клюв, опять запоглядывала на Журавлева. Похоже, пить захотела.

— Потерпи, скоро будем дома, напьешься,— сказал он.— Хотя стоп! Где-то здесь должна быть копанка...

Точно, возле поворота на Ивановку справа под деревьями заблестел небольшой квадратный пруд. Семен Иваныч остановил машину у обочины и с курицей под мышкой пошел к воде. По другую сторону пруда зачерпывал ведром воду молодой парень в желтой форменной безрукавке — дорожники неподалеку выстилали асфальт. Улыбаясь от уха до уха, парень воззрился на Журавлева. Напоить курицу оказалось не просто. Не понимая, чего от нее хотят, она трясла гребнем и захлебывалась.

— Давай, давай, подруга!— пригибал к воде ее голову Семен Иваныч.— Ну, глотай!..

Вдруг она вырвалась, взлетела свечой и со страшным кудахтаньем упала посреди копанки. Журавлев кинулся за нею. Глубины там было всего по колено, но дно илистое и скользкое, и пока он с этой мокрой дурой выбрался из копанки, с шоссе уже набежал народ. Парень с ведром, хохоча, подал ему руку.

— Курица, ей-ей, курица!— кричал он.— Ты что, утопить ее хотел?

— Ее утопишь!— Журавлев левой рукой держал спасенную

куру, а правой отжимал мокрые брюки.— Она сама кого хочешь утопит. И это не курица вовсе. Это петух. Болгарский водоплавающий петух! Он, зараза, уже чуть было не занырнул. Если бы занырнул, все, пиши пропало!

— Ври!— смеялся парень.— Ишь, чего надумал! Болгарский водоплавающий петух! Сам ты петух!

— На, глянь!— Семен Иваныч показал парню когтистую курицыну лапу.— Ты когда-нибудь видел такие когти? Он, когда ныряет, ими за дно цепляется. Может до двух часов под водой сидеть! Не веришь, прими за сказку.

Кинув пассажирку в угол кабины, Семен Иваныч уселся, отжал тормоза и газанул черным облаком. Посмотрел в зеркало: дорожники смеялись ему вослед. А что? Пусть посудачат добрые люди, недорого стоит!..

— Небось и ты думала, что хочу утопить?— покосился он на мокрую, взъерошенную курицу, прижавшуюся в углу.— Нехорошо, подруга. Глупо так думать о Журавлеве... Да! Но вода-то не летняя. Надо бы посушиться.

Снял набрякшие туфли, выбил об пол. Стащил и выкрутил носки. Тряпкой вытер досуха ноги, прижал ступни к моторной стенке. Тепло, но не очень. Туфли и носки возле такого тепла не просохнут, надо их на воздушок. И почти до самой Керчи он ехал, придерживая баранку правой рукой, а в левой на отлете то трепались по ветру голубые его носки, то покачивались растоптанные, сорок третьего размера туфли.

На стройку въезжал уже в полном порядке. С ходу развернулся, высыпал на кучу возле бетономешалки свои семь тонн щебня, потом с путевым листом пошел отмечаться в прорабский вагончик.

— Тю! Тю! Гляньте!— услышал он за спиной голоса женщин-подсобниц.— Журавель, что это у тебя за диво?

Он оглянулся. Видно, от удара дверкой забытая кура проснулась и, взлетев, умостилась на руле. Очень подходяще устроилась — перед смотровым стеклом.

— Это мой петька,— бросил на ходу Семен Иваныч.— Певчий болгарский петух!.. Братцы, где прораб? У меня времени в обрез!

— Какой? Какой петух? Болгарский?

— Ну! Никогда не слышали? Темный народ! Я за него, между прочим, триста целковых отвалил. Редкая птица!.. Эй, Трофимыч, куда ты запропастился?

— Здесь, здесь,— вышел из-за вагончика озабоченный прораб, пожилой, лысый, с очками, вздетыми на лоб.— Чем это ты народ бунтуешь?

— Это они на моего певчего петушка удивляются. У меня в Старом Крыму живет кореш, привез по заказу из Болгарии.

— И что, хорошо поет?

— Я ж говорю, триста целковых за него отвалил. Не надо соловья! Но поет только с креста. Просто так, с земли или с забора, от него ничего не добьешься.

— С какого креста?— заинтересовался Трофимыч.

— С обыкновенного. Какие на могилах бывают,— сам про себя усмехаясь складной выдумке, честными глазами глядел на прораба Журавлев.— Будь добр, Трофимыч, помоги с этим делом, с крестом, а?

— Можно! Вон Свиридов кончит гнуть трубы, скажешь ему, он тебе из остатков сварит.

— Вы что, Журавля не знаете?— смеясь, закричали женщины.— Не слушайте вы его!

— Спасибо,— продолжал Журавлев, не обращая внимания на женщин.— Но, понимаешь, железный крест не годится. Петух нежный, на железе у него лапы мерзнут. Не запоет! Надо буковый или дубовый.

— Ну тебя к черту, балаболка!— рассердился прораб и выхватил у него путевой лист.— Давай подпишу и чеши отсюда, без тебя канители хватает...

Подписал и ушел в вагончик, а Семен Иваныч, по виду сильно озабоченный, с некоторой даже досадой стал озираться — нет ли где подходящих для креста плашек. Поднял доску, другую, погнул, пробуя на крепость, и сокрушенно отбросил. Одна из женщин, маленькая, веснушчатая, готова была, кажется, ему поверить — морщила лобик и смотрела то на куру, сидящую на руле, то на Журавлева. Для нее-то он и старался. Но тут откуда ни возьмись выскочил в своем негнущемся брезентовом плаще скандальный сторож Колесников и закричал:

— Эй, эй, кто позволил? Дерева недостача сто кубов, а он еще тащит! А ну, положь!

Семен Иваныч оставил доску и пошел к машине. Этот Колесников еще в крепкую свою пору был в составе профкома и разбирал на него анонимную жалобу про голубей. Всем раззвонил: потом об отцовской охоте у Пашки даже в школе спрашивали...

— Дури кого хочешь,— надрывался он, спотыкаясь следом,— а я тебя знаю как облупленного!

Не хотелось Журавлеву с ним связываться, но напоследок не выдержал, огрызнулся:

— Трусись ты со своими досками!

IV

Дома Журавлев привязал курицу к стволу вишенки под окнами и тяжелыми шагами поднялся на крыльцо. Навстречу с пол-

ным тазом белья прошла соседка Сазоновна, посмотрела и усмехнулась загадочно. Такая ее усмешка всегда была для него плохой приметой. Но сегодня он и без примет знал, что ничего хорошего его дома не ждет. Со вздохом пересек полутемный общий коридор и толкнул дверь своей квартиры.

Катя стояла у раковины, что-то там ополаскивала и на его «здравствуй» не повернула головы. Что ж, дело твое. Он бросил берет на вешалку, ступил из туфель в тапочки, с брезгливым вниманием глянул в зеркало на свою тощую небритую физиономию и прошел в комнату. Катя молчала. Ждала объяснений. Всегда почему-то надо перед ней оправдываться. Ну и жди!.. Достал с подоконника электрическую бритву, пристроил на телевизорном столике зеркало и стал бриться. Во! Тут жена и подала голос из кухни.

— Чего, чего?— переспросил он, выдернув вилку.

— Я говорю, что ж ты бреешься? Там они уже все порасходились. Тебе когда велено было прийти?

— А я виноват? — взвился он, глядя в проем кухонной двери.— Или я не в пять поднялся? Или я там с корешами водку пил? Я думал, первый буду, загружусь и назад, а там уже прорва стоит, черт знает откуда понабежали!

Снова зашумел бритвой, но сейчас же выключил, видя, что Катя, вытирая полотенцем полные свои руки, вошла в комнату.

— Сейчас поеду в универмаг, может, достану Павлуше плащ,— сказала она.— Мальчику ходить не в чем. А ты порубишь мясо и поставишь в зеленой кастрюле вариться. А пока будет вариться, переберешь картошку для огорода. Паша из сарая принес, в коридоре вон стоит.

— Ясно, товарищ начальник,— с готовностью отозвался он на такой человеческий разговор.— Значит, едем на огород?

— Да. Вы тут не телитесь! Придет Павел, берите все, что нужно, и гайда. Мы с Димкой потом подоспеем. Там и пообедаем.

— Добро!

— Не забудь рыбу разморозить и почистить!

Семен Иваныч испуганно на нее уставился.

— Мамочка, да ты что? Когда же я успею? Мне же еще камеру латать на мотоцикле!

— Ничего, вдвоем успеете!.. Да! Вот еще чего, чуть не забыла. К Паше приходил какой-то мужчина с вашего гаража, незнакомый.

— Сегодня приходил?

— Сегодня утром. Еще до восьми.

— Так! А что Паша?

— А Паша... Не знаю. Я на работу ушла, они остались чай пить.

— Ага! Остались чай пить! Это хорошо. Это очень хорошо, Петровна!

— Будет видно,— сказала она.— Поди, на БелАЗ приходил сватать? Только смотри, с пути его не сбивай.

— Да разве я сбиваю?

— А кто же? «В гробу я видел это чудище мохноногое» — не твои слова? Я, мол, кразист, человек трассы!.. Тьфу на твою трассу! Что ему эта трасса даст, молодому, только-только со службы, ты об этом подумал? Она его испортит, как и тебя испортила.

— Ничего она меня не испортила,— миролюбиво возразил Семен Иваныч.

— Испортила! И ты мне мальчишку не коверкай, пусть идет на БелАЗ!

— Я не против.

— Ну вот и ладно. И молчи. Жить не умеешь — и упрямый как козел!

— Ладно, мамочка. Ты собралась — иди! А то, я вижу, мы с тобой сегодня договоримся!— Семен Иваныч похлопал себя по карманам, ища спички, прошел мимо жены на кухню и там, сдерживая себя, закурил.— Жить не умею,— пробормотал он,— странные дела. Люди приходят моего сына сватать в бригаду, а я, видите ли, жить не умею! Или мой авторитет здесь ни при чем?

— Начинай хвастать!

— Но это же правда! На вскрыше я уже эвон сколько не работаю, а люди меня помнят, сына моего приглашают.

— Людей нету, вот и приглашают. Ты мне лучше скажи, что ты ему на свадьбу подаришь? Ну? Ну? Чего замолк? Они вон уже наладились расписываться. Что ты ему приготовил? Машину «Жигули»? Мебельный гарнитур? Или квартиру новую? Просила, как человека: постарайся, приди сегодня пораньше. И этого не смог!

Хлопнула дверью, ушла. Однако тут же вернулась.

— Что это за курица привязанная?

— Какая курица? А-а, это я на трассе подобрал... Ну, что смотришь? Шел впереди фургон, и выскочила из него курица.

— Выскочила! — повторила Катя, глядя на него с глумливым презрением. Теперь она не сомневалась: было у него с этой курицей в пути какое-то приключение — потому и опоздал.

В последний раз сверкнула на мужа взглядом и захлопнула за собой дверь. Семен Иваныч схватил лежавшую на тахте подушку и с силой влепил ее в кресло. Будьте вы все неладны, что

за жизнь такая пошла! Сплошные сказки идут в ход, а чистой правде никто верить не хочет. Походил по комнате, как бы примериваясь, что бы еще швырнуть или пнуть. Немного успокоясь, выволок из коридора на кухню мешок с картошкой, вывернул прямо на пол. Порченую бросал в мусорное ведро, чуть тронутую — в миску, на текущие кухонные расходы, а хорошую, годную для посадки,— в плетеную корзину.

«Да,— продолжал он думать,— не приготовил я сыну ни «Жигулей», ни квартиры. И ничего страшного. Зато вона, не успел Пашка снять шинель, как на новую машину зовут. Людей, может, где и не хватает, а на новые БелАЗы уже давно очередь выстроилась. Так что, Петровна, не говори: хорошая фамилия — это тебе не фунт изюму!.. Но кто же это, интересно, приходил? Не Дымов ли кого подослал?»

В коридоре застучали крепкие шаги Павла. Вошел — богатырь, румянец во всю щеку, заулыбался радостно, стаскивая тесную в плечах и рукавах нейлоновую куртку. Веселый — это хорошо. Но с чего? Парень не шибко откровенный, поди угадай, чему он рад — то ли с подругой встретился, то ли принял какое-то решение.

— Ты погоди раздеваться,— пытливо посмотрел на него отец.— Сходи в сарай, сними с коляски запасное колесо. Надо камеру залатать.

— Ясно. А чего ты такой серьезный?

— С вами тут будешь серьезным! Сынок, не телись, а то мамка вернется, головы нам поотрывает. Через час нам как штык надо быть на огороде.

— А мама не поедет?

— Она прибудет потом, как народный контроль. Дуй, сынок!

Чтобы не идти с пустыми руками, Павел поднял доверху нагруженное мусорное ведро и, подмигнув отцу, вышел. Ишь ты, сам догадался. Хозяйственный парень, степенный, осмотрительный. И чувствуется, что цену себе понимает не ниже настоящей... Как бы половчее спросить его о разговоре с утренним гостем? Сам-то он почему молчит? Так и не набравшись решимости, Семен Иваныч ополоснул руки и принялся мыть и резать мясо.

— Поторапливайся, поторапливайся! Уже первый час!— оглянулся он на сына, когда тот вошел с камерой и клеем.— Вижу, мало тебя гоняли на службе.

— Нас не гоняли. Нас, папа, учили не суетиться.

Павел поставил в углу кухни маленький стульчик, сел, застелил колени старым полотенцем, сверху пристроил камеру и стал не спеша зачищать место заплаты рашпилем. Что ты скажешь? Молодец! Приятно было смотреть на его большие руки,

ровно загорелые, с могучими венами, проступающими под молодой кожей. Рашпиль умеет держать и к зачищенной резине старается не прикасаться: знает, что иначе клей не возьмет...

— Говорят, к тебе приходили из гаража,— не вытерпел Семен Иваныч.— На работу, что ли, приглашали?

— Ну!— усмехнулся Павел.— Сватали на БелАЗ.

— На какой?

— На сорокатонный. Пригнали пять сорокачей. Хотят организовать новую бригаду.

— А ты?

Павел нагнулся, сдул с камеры резиновые крошки и снова налег на рашпиль. Почему-то хмурился, медлил с ответом.

— Не тяни душу! Чем кончили разговор? К чему пришли?

— Да пришли!.. Чего ты нервничаешь? Дал я согласие.

Семен Иваныч просиял.

— Ну, это другой разговор! Правильно сделал, молодец! — Он брякнул на плиту кастрюлю и, присев перед сыном, крепко ухватил его за щиколотки.— Молодчага, сынок! Три часа драки!

В прежние годы был у них такой обычай — всякую неожиданную хорошую весть отмечать веселой возней и потасовкой. Но сейчас Семен Иваныч только слегка его встряхнул.

— Знаешь, как мать обрадуется! Другое дело, если бы тебе предлагали какую развалюху. Новая ж машина, Паша! Новая! Там одна гидравлика чего стоит!

— Машина толковая,— не стал спорить Павел.— Для рудника в самый раз. А на трассу уже не выскочишь...

Отец поднялся.

— Во-он чего захотел: на трассу! Выбрось из головы и забудь. Сейчас по трассе ездить, что плоты по горной речке гонять! Я этой зимой сколько ее клял, трассу эту! Шел раз в Багерово за трубами и решил проскочить покороче — есть там проселочек такой поперечный,—смотрю, черт, так и знал: картер потек! Старая ж машина... Вытекло все масло, пришлось остановиться. Хорошо, откуда ни возьмись, скачет по проселку милицейская, тоже на трассу выбирается. Я — туда. «Браток, погибаю, выручай!» А если б я его не встретил? Так бы и загнулся на трассе. Тут, брат, не до шуток.— Семен Иваныч покрутил головой.— А вот, к примеру, еще история, когда мы с Колей Калюжным ездили весной...

Но тут задребезжала крышкой, запыхала паром на плите зеленая кастрюля, и Семен Иваныч принялся снимать пену с бульона.

— Все!— сказал он.— Выключаем газ, и шабаш разговорам. У тебя готово?

— Готово.

— Тогда убирай все причиндалы, ставь камеру в запаску и выводи из сарая Харитона.

Семен Иваныч еще успел залить в миске водой мороженую рыбу, убрать со стола и протереть мокрой тряпкой пол на кухне. Поволок на улицу мешок с картошкой, но подоспевший Павел его отстранил. «Погоди, давай вдвоем!» — запротестовал отец. Павел молча схватил мешок правой рукой за гриву, левой за угол, поддал снизу коленом и, красный от натуги, завалил его в коляску мотоцикла. Отец только головой покрутил. Здоров-то ты здоров, но таскать такие мешки одному тоже не годится.

Пристроили, чтобы не стучали, лопаты, ведра, грабли. Застегнули шлемы на крутых журавлевских подбородках. Сели. Мотоцикл затарахтел, окутался синим дымом.

— Папа!— сказал Павел из-за плеча.— Небось сегодня опять два раза мясо поперчил и ни разу не посолил?

Семен Иваныч резко дал по тормозам. С испугом оглянулся на Павла. И оба рассмеялись. Действительно, был такой случай в прошлую субботу. Но сегодня он не солил и не перчил. Придет мать, пусть действует сама.

Они перековыляли малой скоростью по выбоинам переулка и вихрем понеслись по улице. Миновали стадион, базар, аглофабрику. Под колесами замелькали щербатые плиты бетонки. Открытый простор полоскал лица запахами моря и весенней пробудившейся земли. Больше всего угадывался запах свежих огурцов, хотя никаких огурцов, понятно, не было еще и в помине. Из залитых водою обочин только-только начали вытыкаться стрелки тростников, и дальние холмы едва зеленели.

— Ты не забудь рассказать, как ездили с Калюжным!— прокричал Павел на ухо отцу.— Чего было интересного, все расскажи. Добро?

— Добро!— отвечал отец. Он дорожил своей репутацией рассказчика и был доволен, что сын интересуется, как здесь жили без него. Было случаев — ой-ой! Вот даже сегодня — встретил Соколика. Паша его наверняка помнит... И так захотелось рассказать сыну о сегодняшней встрече, что он даже скорость сбросил. Но тут же охладила мысль: зачем наводить Пашку на горькие размышления? Ведь того праздника, с Соколиком, уже не вернешь. Найдутся другие истории, повеселей...

Снова прибавил скорость, одолел на вираже крутой подъем и выскочил к проливу. Берега, очерченные неровной линией обрывов, выпускали его в морскую, залитую солнцем ширь. Под кручей прятался, лишь антеннами себя обнаруживая, рыбацкий поселок Эльтиген. Полосой до самых круч тускло золотилось прошлогоднее жнивье. Дальше темнела пахота.

Припоминая свою делянку, Семен Иваныч свернул к высотке, обложенной, словно воротником, купами сухого перекати-поля. Должно, эта и есть, все уже успели свои огороды засадить, только одна журавлевская делянка осталась неухоженной.

— Дальше,— командовал за спиной Павел.— Вон табличка!

— А эта, по-твоему, чья?— возразил отец, кивая на белую фанерку, в которую мотоцикл чуть не уперся колесом. На ней синими чернилами было написано: «Журавлев С. И.»

— Хо! А дальше глянь!

На следующей табличке, метрах в пяти от первой, тоже красовалась их фамилия. Только инициалы были другие — П. С. Семен Иваныч прочитал вслух, оглянулся на сына, удивленный и обрадованный.

— Когда же ты успел, Пэ эС?

— Чего успел?

— Заявление на огород написать? Ой, хитрюга ты, сынок!— Семен Иваныч вырубил мотор и отстегнул ремешок на подбородке.

— Да честное слово, не писал я никакого заявления!

— Ладно. Может, и мамка... Но ты понял, Павел Семенович? По комбинатовскому списку ты уже считаешься семейным человеком!

— Понял, понял!— смеясь, отвечал сын.— Работы прибавилось вдвое. Восемь соток! Нам теперь и картох не хватит на посадку!

— Ничего, найдем чем засадить. Тут же, сынок, не земля, а золото. Эльтинтенский краснозем! Я думал, тебе дадут на отвалах, там тоже неплохо родит, а профсоюз, вишь ты, догадался свести наши огороды вместе... А земля — ну, где ты еще такую найдешь, а, Пашка?

— Сушняка много.— Павел озабоченно оглядывал борозды, забитые прошлогодним кураем и сурепкой.

— Пять минут делов!— отозвался отец.— Бери грабли!

Сам принялся сгребать в кучу сухой бурьян лопатой и голыми руками.

— Папа, ты ж руки поколешь!

— Ничего подобного! У меня, сынок, руки никаких колючек не боятся. Они железные!— Он и впрямь чувствовал в себе немалую силу.

Нагребли целый стог. Семен Иваныч бросил спички:

— Зажигай! Дадим знать комбинату, что у Журавлей субботник!

Слежалый, влажноватый бурьян густо задымил, потрескивая. Потом взялся невидимым пламенем и загудел, закрутился смерчем. С костра полетели ввысь клубки охваченного огнем курая.

— Смотри, смотри, лисица!— закричал Павел.

Из-за высотки, метрах в пятнадцати от места, где они стояли, выскочила черноухая лиса и, оглядываясь, где рысцой, где вприпрыжку побежала к темневшим вдали овражным зарослям.

— Ай-ай-ай!— поморщился и потянул руку к затылку Семен Иваныч.— Зря мы так близко костер зажгли. Совсем забыл!..— Они подошли к норе, вырытой у подножия высотки. Сыпучая красноватая глина около норы была вся в свежих следах, замусорена птичьими костьми и перьями. Были тут и отнорки, поодаль и на разном уровне от главного входа.— А вот здесь живет утка,— отец показал лопатой на верхний отнорок.— Белая утка, галагез.

— Ну да!— Павел не поверил, засмеялся.— Лисица и утка рядом, чуть не в одной норе? Это ты, батя... Сам, что ли, видел?

— Да разве я один? У Дымовых спроси, если не веришь.

Прошлым летом, в июне, они с Катей и Димкой пололи картошку, и вот так же выбежала из-под высотки лиса. Подошли к норе — что-то попискивает. И увидели: в одном из отнорков, в этом самом, скребутся, пищат, никак не могут вылезти штук шесть маленьких коричневых утят. Позвали Дымовых — они рядом работали,— те так и ахнули!

— Глядим — над нами летает взрослая утка. Летает кругами и гудит, гудит! Голос у нее звучный, как из медного рожка. Тогда я лопатой быстренько ковырнул раз, другой, чтобы им легче выбраться, и мы с Дымом — ходу! Стоим все и смотрим издалека. Старая утка села. Что-то они меж собой покалякали и всем семейством пошли к озеру. Уже пора им было учиться плавать, и она их, значит, повела. До озера отсюда вона сколько, с километр. Так дружненько шли цепочкой, вперевалочку, то пропадали в ложбинках, то снова показывались. А лиса эта самая, она, понимаешь ты, тоже недалеко сидела и наблюдала, только не за ними, а за нами. Лису заметила Витькина девочка...

— Брось, папа! Такого не бывает!— дивился Павел.— Чтобы лиса и утка... Это какое-то чудо природы!

— Еще бы не чудо!— отвечал Семен Иваныч, ничуть не обиженный недоверием сына и даже радуясь ему.— Я потом узнавал у наших охотников. Оказывается, не одни мы такое видели. Но бывает это только у нас, с этими нашими галагезами. Видать, в таком соседстве им спокойней жить, и утке и лисе. Приспособились!

— А где же она, утка? Чего ее не видать?

— Не время. Погоди, летом с Олей придете полоть, сами увидите... Оля-то как, тяпку держать умеет? Земли не боится?

— Чего это она будет земли бояться?— обиделся Павел за невесту.— У нее родители тоже не дворяне.

— Э, сынок! Не дворяне — это теперь мало значит...

— Ладно, па. Как-нибудь разберемся.

Не любил Пашка, прямо терпеть не мог, когда отец или мать расспрашивали об Ольге. Оборвал разговор, с силой рассек лопатой нераспавшуюся груду земли, ударил вторую и пошел бить, ровнять, разбрасывать по ложбинкам. Работал без лишнего зла и суеты, вкладывал в каждое движение ровно столько силы, сколько требовалось. Наткнулся на камень — присел, посмотрел, с одной стороны откопал, подважил и вывернул. Всадил лопату в землю, легко поднял серую глыбу — а в ней не меньше пуда — и понес к высоте. Правильно, там все равно не пашут. И будет для высоты прибавка. Это же не простая высота — одна из тех, где проходил передовой рубеж эльтигенцев. Огненная земля!.. Много осколков, стреляных гильз, ржавых пружин из рукоятей гранат попадалось тут и сейчас. Работая, Семен Иваныч выбирал их в кучу на пробитый осколком шмат железного листа. Сюда же стал сносить свои находки и Павел.

— Смотри, пап,— подошел он с патронами на ладони.— Трех сортов попадаются. Наши — железные. Медные — немцев. А вот прямые, без обжима, интересно, чьи это? Тут и пистолетных гильз навалом. Ох и сильная была драка!

— Да, сынок. Да...

— И надо же: лисица с уткой тут поселились!

Холодок познабливал потную спину, чувствовалось, что еще ранняя весна. Солнце небольшим белым шаром проглядывало сквозь слой медленно скользящих по небу облаков. Но вот синева опять распахнулась, все затопили ослепительные лучи, сразу стало жарко, и запорхали желтые бабочки. Море за кручами сверкало и переливалось. И так же блестели глаза Павла, цвело румянцем его лицо, перекатывались под рубашкой мускулы. У отца в груди щемило, когда он взглядывал на сына. «Каков парень! А давно ли я его на мизинцах крутил...»

Комья раскинули по низинкам, прошлись граблями. Отец копал ямки — один ряд копал, другой закидывал, а Павел кидал в каждую ямку по картофелине, по две. Дело шло споро. Засадили чуть не половину огорода, когда прикатил на велосипеде Димка.

— Ну как, работнички? Я думал, они уже все кончили, а тут еще сколько вкалывать! Видать, не хватает вам хорошего командира. Слушать мою команду!.. Но, но, но!— с угрозой добавил он, отступая перед Павлом, который, похоже, собирался его сцапать.— Отставной сержант Журавлев, вы что, на губу захотели?— Тут Павел кинулся к нему, и Димка, увернувшись, побежал к морю.— Папка, держи его!— вопил он на бегу.

Один за другим они сверзлись с сыпучего обрыва и начали

гонять по пляжу вокруг старых маслин, росших посреди пустого берега. «Кончай баловство!» — хотел крикнуть Семен Иваныч, но наткнулся взглядом на маслины — и молча пошел с лопатой поближе к обрыву. Смотрел на корявые сучья, на ветви с черными бусинами прошлогодних ягод, свисавшие до земли. Первый раз он увидел эти изувеченные деревья еще совсем пацаном, младше Димки был, летом сорок четвертого года, в тот день, когда здесь хоронили убитых десантников. Тремя длинными рядами лежали под маслинами на песке их останки, собранные со всего прибрежья. На месте иных лежали только изодранные бушлаты, шинели и бескозырки. И много было цветов, мелких роз, в тугих, едва распустившихся бутонах. На каждом бушлате и бескозырке поверх сохнущего песка алели розы. Их нанесли камыш-бурунские мальчишки со Старого Карантина, с бывшей сад-базы, где в тот год обильно цвели одичалые плантации. Женщины сплели из роз большой венок, и моряки опустили его со шлюпки в море. И долго потом стояли с непокрытыми головами, смотрели, как течение уносит венок и на нем бескозырку...

Пусто было здесь в этот час. Только одинокий рыбак качался в отдалении на крохотной надувной лодке да бегали, хохотали Димка с Пашкой. Меньший схватил какую-то корягу и гатил по воде, отбиваясь от Павла брызгами. Наконец Павел поймал выдохшегося братца, взвалил на плечи и сбросил отцу под ноги.

— Сдаюсь,— пролепетал с земли Димка.

— Бери ведро. Будешь бросать картошку, а мы — копать.

Очень скоро Димка заскучал и вообразил себя снайпером: стоя с ведром на одном месте, кидал картошку за пять, за шесть метров. Одна картошка попадала в ямку, две — Паше по спине.

— Придется мне взяться за тебя самому,— пообещал отец.— А ну, быстро пособирай! И кончай гуляшки!

Чуть не целый час работали молча и сосредоточенно. Димин русый чубчик взмокрел и прилип ко лбу, рубашка выдернулась из штанов. Когда из-за пригорка показалась мать, приехавшая рейсовым автобусом, Димка первый ее заметил и сорвался навстречу.

Семен Иваныч доставал из сумки хлеб, кефир, яйца и горячий суп в зеленой кастрюле, завернутой в полотенце.

— Ну-ка, еще чего тут есть? Пивка не купила, мама? Это зря...

— Не много же вы наработали.— Екатерина Петровна, подбоченясь, озирала огород.— И бурьян кругом. Батюшки, сколько бурьяну!

— Где ты видишь бурьян?— взвился Семен Иваныч.

— А вот! А вот!— Екатерина Петровна выдернула из земли зеленую травку, одну, другую.— Что вы себе думаете? Это ж

пырей, вы и оглянуться не успеете, как он забьет вашу картошку. Работники!.. А долины эти кому оставили? Чтоб озеро тут налилось? Надо забросать!

Семен Иваныч прищурился на сыновей и поскреб затылок:

— Я ж говорил — придет народный контроль!.. Ладно, мама, не шуми. Тут вот какая проблема: картошки осталось от силы полтора ведра. А еще вся Пашина пайка не засажена. Что будем делать?

— Какая пайка?— не поняла Екатерина Петровна. Перевела озабоченный и суровый взгляд на огород и увидела фанерку с надписью: «Журавлев П. С.» Подошла поближе и долго смотрела, будто не веря глазам своим. Потом оглянулась. И не было уже на ее лице никакой суровости, а была та несмелая, недоверчивая, со слезами радости улыбка, которая всегда у нее появлялась, когда кто-нибудь из них подносил ей подарок. Слишком редко получала она от них подарки...

Павел подошел к ней:

— Мам, ты че?

Она обхватила его, прижалась.

— Родной мой, кормилец драгоценный, работник!.. Когда ж ты... Растила я тебя, растила, а теперь... Что же ты не сказал, сыночек?

— Да я ж, мам, ни сном ни духом! Разве это не ты постаралась?

Тут заходил гоголем Семен Иваныч.

— Люди постарались! Люди!— сказал он.— Понимать надо! Кому ни попадя такие вещи не делают. А ты говоришь, хвастун! Ну? Что теперь скажешь?

— Ой, а то не хвастун!

Они расстелили на земле принесенное Екатериной Петровной старенькое байковое одеяло, нарезали хлеба, разложили яйца, зеленый лук, расставили тарелки и сняли крышку с кастрюли... Хорошо обедать на воздухе! На сизой равнине пролива, выстлавшей горизонт поверх невысоких эльтигенских холмов, бродили солнечные острова. С моря наискосок, по облачному, в ярких просветах небу, летели вразброс и скрипучими голосами перекликались чайки.

— Слышите, кричат: Керчь, Керчь, Керчь!..— с набитым ртом сказал Димка.

— Чудило!— хмыкнул Павел.— Это они на тебя кричат! Помнишь, как они тебя голого по косе гоняли? За то, что яйца у них воровал?

— Неправда! Я был в трусах. И не воровал я ничего...— Димка привскочил на колени.— Гляньте, гляньте, наши утки!

Пара бело-коричневых галагезов со звучной своей погудкой,

нагибая головы, низко пролетела над Журавлевыми, будто хотела им что-то сказать. Пронеслась по второму круту, повернула к морю, становясь все меньше, меньше, пока не затерялась в переливчатом блеске водной поверхности.

— Вернутся, никуда не денутся,— сказал отец.

V

Вечером, снеся в сарай ведра и лопаты, Семен Иваныч отпросился минут на десять в «стекляшку». Выпил две кружки разливного и еще бутылку чешского взял домой. Сначала хотел сунуть в карман, а потом, по старому обычаю, запихнул за ремень брюк, под рубашку: благо при его тощем животе бутылка не выпирала.

— Что, Журавль, решил под танк бросаться?

Все тут были свои люди, слесаря с аглофабрики, водители с автобазы, а этот шутник Костя Селезнев когда-то стажировался у Журавлева на Соколике.

— Да, брат,— ответил Семен Иваныч.— Душа просит подвига! Сегодня я встретил свою старую машинку. Помнишь, Костя, КрАЗик, на котором со мной ездил?

— Это которого ты из Кременчуга привел? Голосистого?

— Ну! Посмотрел бы ты на него сейчас. Вдвое моложе моего Сивого, а с виду — подыми руку и брось. Калека!

— Так ты все на Сивом ездишь? А чего на БелАЗ не сядешь? Сейчас вон сорокатонные пришли. Бери любой!

— Не,— сказал Семен Иваныч.— Душа не лежит. У меня сын стажируется на БелАЗе.

— Павел?

— Ну! Я с полуторки начинал, а он, понимаешь ты, с БелАЗа!

— Да, Иваныч, отошло наше с тобой время,— поддержал разговор слесарь Комаха, толстыми пальцами присаливая свое пиво по ободку кружки.— Тебе сколько лет?

— Сорок шесть.

— Ну вот. А грамоты два класса?

— Пять!

— Хоть бы и пять. Сорок шесть и пять — с такой арифметикой сегодня не попляшешь.

— Ничего,— усмехнулся Семен Иваныч.— Ты погоди на мне крест ставить.

— Я и не ставлю.— Комаха шумно отхлебнул пива, маленькие его глазки выражали грусть пополам с насмешкой.— Ты еще, милок, повкалываешь. Будешь на своем Сивом развозить уголь для жэковских котельных и песок для детских площадок,

а орден тебе уже не светит — с орденом шабаш!— Тихим голосом Комаха вкатил в Журавлева эту пилюлю и смотрел, как он ее проглотит. И правда, загорчило, но Семен Иваныя не подал вида.

— Кто знает!— сказал он.— Если твой способ перенять, то орден не орден, а благодарностей я бы имел навалом.

Однажды в «стекляшке» Комаха рассказал, как его командировали из цеха слесарить в новый комбинатовский пансионат и как он там учил отдыхающих уважению к рабочему человеку. В один прекрасный день все водопроводные краны жалобно засипели и смолкли. Скоро целая делегация явилась к нему спросить, почему нет воды. До вечера он лазил с важным видом то в одну, то в другую колонку, сидел там в прохладе, покуривал и побрякивал ключами. Потом открыл нужный вентиль. Вода пошла. Вытирая пот и размазывая по лицу ржавчину, он героем выбрался наружу. Все наперебой кинулись его угощать сигаретами и персиками, написали в книге отзывов пламенную благодарность, а один столичный инженер даже пригласил посидеть вечерком в компании. Об этом-то случае и вспомнил со зла Семен Иваныч. Комаха хохотал, его глазки сначала совсем исчезли, а потом выбрались из складок и, как два краба, вцепились в Журавлева:

— Давай, давай! Может, еще чего скажешь?

Семену Иванычу было что сказать. Бог знает, чем бы все кончилось, если бы в «стекляшку» не зашел Дымов. Он зашел — коренастый, с улыбкой на полном лице — и взял старого друга под руку.

— Пошли!

— Витек!— просиял Журавлев.— Какими судьбами?

— Да вот, тебя увидел. Домой идешь? Пошли, пошли... Ты чего это завелся?— Дымов вывел Журавлева из «стекляшки» под темное, усыпанное звездами небо.

— Черти бы его побрали, Комаху этого! О рабочей чести рассуждает, а сам такая гнида! Да ну его... Ты-то откуда взялся?

— Говорю, тебя увидел.

— Ну молодец твой отец, на полу спал, ни разу не упал!— Семен Иваныч вытащил из-за пояса бутылку, в темноте на ощупь об сучок сдернул пробку: — Попей, Витя, свеженького! Сегодня у меня знаешь с кем была встреча? С Соколиком! Да, да, с тем самым. Побитый, обшарпанный — узнать нельзя. Ты его хоть помнишь?

— Как не помнить «триста первый!» — воскликнул Дымов.— С номерами на бортах? Конечно, помню. Ты ж, гад, смазал ему двери салом, а малярша молоденькая, ей невдомек, я и говорю:

ладно, не мучайся, рисуй, как Журавель хочет, на бортовых пластинах!

— Так ты знал?— изумился и растрогался Журавлев.— Н-ну, дела! А я-то... Эх, Витя! Друг лучше старый, а машина лучше новая!

— Вот и шел бы на БелАЗ.

— Нет,— сказал Журавлев.— Пустой разговор.

— Зря. Машинка для работы очень даже подходящая. Сказали бы мне сейчас — бери новый КрАЗ!— не взял бы. Ну, а ты, конечно, человек трассы... У тебя несовместимость!

— Смеешься?

— Да нет... У многих сейчас несовместимость с новой техникой. А куда денешься? Жизнь говорит: держись!

— Ладно, корешок,— Журавлев помрачнел.— Оставим эту тему.

Они пересекли улицу, дошли до поворота в переулок, и Семен Иваныч пожал маленькую крепкую руку Дымова.

— Хороший ты, Витя, парень... Да, слушай!— вспомнил он.— У тебя посадочной картошки не осталось? Ведра полтора? У нас, понимаешь ты, теперь две пайки огорода рядом — моя и Паши, и на Пашкиной полкуска не хватило.

Картошка у Дымова была: всем белазистам выдали в конце зимы семенной картошки, кто сколько просил, осталось для кухни. Договорились, что Семен утром подскочит к Дымову на мотоцикле.

«Вишь ты, белазистов как обеспечивают»,— продолжал думать Семен Иваныч, шагая дальше один. Пересек малолюдную в этот час главную улицу и пошел напрямик через пустынные темные дворы. Лишь кое-где окна еще посвечивали телевизорной изменчивой голубизной. Возле одного из подъездов, урча мотором, стоял крытый фанерой «газон». Парень с папиросой в зубах поспешно забрасывал в кузов чемоданчик с инструментами. «Готов?» — кричал из кабины шофер. Парню протянули руку, вдернули в кузов, и машина с ходу помчала. Из кузова, крутясь, полетели в темноту красные искры... Надо полагать, где-то что-то случилось — машина собирала аварийную бригаду... Поселок отходил ко сну, но все основные цехи комбината, рудник, аглофабрика продолжали работать, и Семен Иваныч со вздохом и завистью посмотрел вослед шустрому этому «газону». «Давно уже за мной так не гоняли!..»

Окно его кухни светилось, бросая сквозь ночь яркий сноп света в палисадник. В этом свете видна была спящая, нахохлившаяся на ветке белая курица, его «стажерка». На ветке пониже сидел рыжий соседский кот, жмурился и передними лапами поскребывал кору. Семен Иваныч его шуганул. А курицу, спросо-

нок панически заквохтавшую, снял с ветки и, успокаивая, сел с нею на крыльцо. В коридоре скрипнула дверь. Катя спросила сзади напористым шепотом:

— Ты чего тут шумишь? Иди спать!

— Да вот кура-то наша,— ответил он.— В дом бы ее забрать, а то кот уже к ней подбирался.

Катя взяла курицу из его рук, присела рядом.

— Опять?..

— Не, Катенька, ты что? Я кроме пива ни-ни... Между прочим, с Дымовым договорился насчет картошки. Бери, говорит, хоть три ведра.

— Правда?— обрадовалась Катя.— Ну, ты у меня хозяин, цены тебе нет. Завтра и заберем. Главное, Сеня, ты ж смотри не забудь в понедельник зайти в профком. Может, для начала нашим молодым хоть какую-нибудь комнатенку выделят в общежитии!

— Не забуду, Катенька,— сказал он и, притянув ее вместе с курицей, поцеловал в висок у корней волос.

Александр Малышев

ЗАСТУПНИК*

Обыкновенно он выходит из дома рано утром, когда мужчины еще фыркают и кряхтят блаженно под умывальниками, женщины — нечесаные, в халатах, накинутых поверх ночных рубашек, плетутся на кухню готовить завтрак, а на центральной улице появляется единственный в городке маршрутный автобус и, тяжко охая на выбоинах и ухабах, подбегает к первой, еще безлюдной остановке у клуба.

— Езжай дальше,— машет водителю контролерша и прикрывает сладкий зевок ладонью.

К этому времени Вася уже собран и одет.

— До свидания, до вечера,— печально говорит он из прихожей, обращаясь к двери в комнату или кухню — туда, где по-утреннему вяло пререкаются его родители. Ответа он не ждет и тянет на себя дверную ручку, которая приходится теперь чуть выше его головы. Он тянет ее на себя, выходит и тихо, неплотно прикрывает дверь. Четыре детских шага по лестнице, шмыганье носом на крыльце, и серьезная маленькая фигурка в куцей коричневой шубейке и подшитых валенках, оставляющих круглые следы на снегу, следы медвежонка, выходит в проулок.

Ему четыре полных года и семь месяцев пятого. Он ходит в среднюю группу детского сада. Сад не близко, и большинство сверстников Васи являются туда в сопровождении взрослых, иных в плетеных санках привозят, укутанными в одеяльца. Вася лет с трех, если не раньше, бегает в сад и из сада один, он назубок знает всю дорогу. На этой дороге два перекрестка, один неподалеку от автобазы, на нем утром всегда много машин, которые рычат и оглушительно чихают на морозе; три дома с собаками, эти долгом своим почитают встречать у ворот и облаивать всякого прохожего, Васю особенно; домовая кухня, возле нее всегда пахнет сдобой; и школа, куда и Вася будет ходить, вот только подрастет.

* © «Наш современник», 1981 г.

Он резво перебирает ногами, приглядываясь издали к дому, где живет первая собака — коротконогая, бело-черная, с визгливым голосом. Голову Вася пригнул и дышит в шарфик, который вечно скручен веревкой, а у лица выбивается наружу. Шарфик с внутренней стороны, возле рта, мокнет, а с внешней обрастает инеем.

Вася благополучно минует опасную приотворенную калитку. Коротышки нет,— видно, гуляет где-то. И пускай себе гуляет. Больше бы гуляла... Ух, и мороз нынче! Пузатенькая лошадь, запряженная в розвальни, стоит возле телеателье. Круглые шерстистые бока ее в жестком куржаке, на морде шипами сосульки, длинные ресницы белы и толсты, и только глаза, дымно-фиолетовые, теплы и влажны. И как это она стоит и не зябнет? Тут бежишь во весь дух, и то холодно.

Первая неделя февраля. Ярко-синие тени и розовые полосы и пятна на оглаженных поземками сугробах и крышах, на седых деревьях и треугольных взлобках домов.

Вася все быстрей перебирает ногами — снег тонко и часто взвизгивает под его валенками. Спешит он по-детски, а лицо у него сосредоточенное, деловое: что-то суровое, взрослое в нем — в бугристых надбровьях, в светлых, затаенно-упрямых глазах.

Идет знакомая женщина-врач, она лечила Васю, когда подозревали у него дизентерию, а еще от ангины и коклюша.

— Что, полетел, Вася?

— Полетел, полетел.

— Ну лети, пора.

Но Вася замедляет шаги и, косясь вправо, сам держится возле женщины слева, прыгает по неровному снежному отвалу, оставленному бульдозером. Женщина, продолжая идти неспешно, вдруг замечает, что Вася все еще около нее. Она соображает, что бы сказать ему, и, наконец, спрашивает, как поживают его мама и папа.

— А что с ними сдеется?— с задержкой отвечает Вася и пренебрежительно шмыгает носом.

Так и есть, муругий долговязый кобель с матерчато-обвисшими ушами сегодня опять на цепи. Он сидит на своей конуре, скучает. Заметив Васю, кобель тяжело спрыгивает, звенит цепью и басовито, точно в бочку, лает. Каждое его «гав» на миг зависает в воздухе мягким комом. Вася, отстав от женщины, подходит к самому палисаду, некоторое время смотрит на собаку и говорит ей тихо, с упреком:

— Большая, а глупая. Не надоело тебе гавкать...— И, покачав головой, продолжает путь.

Первый перекресток спокойный. Здесь глядят друг на друга

красные запертые ворота пожарки и въезд в больничный городок. Если и можно ждать опасную машину, то чаще всего со стороны больницы, откуда порой выскакивает «скорая помощь». Но сейчас двор больницы пуст, тих, в нем лишь синицы цвенькают, прыгая по ветвям седых, с черными стволами лип. Когда-то Вася по целым дням смотрел на этот двор, только с другой стороны — из окна детского отделения. Было это летом, и Вася помнит тут не только каждое дерево, но и каждую ветку. Мама проведывала его ежедневно — по пути на свой участок, с полной почтовой сумкой за спиной и с пачкой газет в руках. Отец пришел лишь однажды, с приятелем, сел под липками, тогда зелеными и тенистыми, и что-то все наливал из бутылки в пластмассовый стаканчик, порой заискивающе подмигивая сыну, стоявшему на подоконнике.

Вася пересекает перекресток, поглядывая на больничный двор, на дорожки и тропки в пухлом снегу, на деревянную трубу теплопровода, похожую на длинную собачью конуру. Может, там в самом деле бегают собаки?.. От быстрой ходьбы он разогрелся, нос и щеки у него пожигает, пощипывает, сквозь шарф, заслонивший рот, пробивается влажный парок.

На углу ему встречается знакомый милиционер, тот, что два или три раза бывал у них дома и о чем-то долго, вразумительно говорил с отцом. Мать тогда горячо поддакивала ему, а отец смущенно ерошил свои черные волосы, глядел праведно, виновато и с дрожью в голосе рассказывал, каким ему хочется стать хорошим. Милиционер был молодой, крупный, добродушный, новая шинель сидела на нем прочно и красиво. Он так понравился Васе, что мальчик решил сделаться не моряком, а милиционером.

— Здорово, Вася,— приветливо говорит участковый.— В садик бежишь?

— Угу,— отвечает Вася, не поднимая головы, а сам так и прилипает глазами к предмету, который милиционер держит в руке. Предмет этот — самодельное детское ружьишко. У него приклад из толстой гнутой проволоки, деревянная ложа и темный, сплющенный у основания ствол с прицельной мушкой. Как настоящее!

— Дя-а-дя,— с тонкой жалобной ноты начинает Вася и поднимает глаза на милиционера,— подари, а? Ну, пожалуйста...

— Да зачем тебе?

— Я буду играть.

— Это плохая игрушка. Мама купит тебе в магазине хорошую.

— Дя-денька милиционер...

— Нельзя, Вася.

— Дяденька!..

Участковый удивлен и тронут этим вскриком. Он взвешивает ружьецо на руке, оглядывает его подозрительно, словно прикидывает, насколько оно опасно. Решив, видно, что Васе оно не причинит беды, милиционер опускает ружьецо в протянутые руки мальчика.

— Ладно. Только никого не обижай, уговор?

Вася не слышит. Вася уже летит, прижимая милиционерский подарок к животу. Он настолько забывается на радостях, что вспоминает о третьей собаке лишь тогда, когда эта маленькая остроносая злючка устремляется навстречу. Шагах в пяти от Васи она с разбега оседает на хвост и, зарываясь лапами в снег, вздернув морду, нервно скалясь, начинает облаивать его. Вася пятится, готовясь убежать, но злючка, точно угадав, что он струсил, подскакивает ближе и вытягивается, норовя вцепиться зубами в валенок. Вот проклятая! И никого из взрослых рядом... Вася поскальзывается на присыпанной снежком наледи, едва не падает и при этом невольно выставляет вперед ружьецо. Злючку относит от него на добрый десяток шагов. В глазках ее растерянность, нос, черненький, тугой, кукольный, подозрительно нюхает воздух.

— Ага,— говорит Вася, наставляя ружьецо на злючку, и делает шаг вперед.— Тра-та-та-та-та...— И еще шаг, смелей и шире первого.— Тр-р-р...— Злючка, хоть и кривится, а отступает.— Т-р-р-р-р...— еще громче и яростней строчит Вася.

Теперь ему приходится оборачиваться назад, чтобы отпугивать злючку. Она еще тявкает, еще следует за ним, припадая к земле и глядя уже только на ружьецо, но по всему видно, что у нее просто нет возможности с достоинством выйти из этой, оказывается, рискованной игры. Вася выпускает в нее особенно длинную очередь. Злючка останавливается. Вася отходит от нее все дальше.

В это время на улицу въезжает лесовоз, за которым по наледи волочится свесившийся с прицепа трос. Вот случай сорвать злость: собачонка, заливаясь визгливым, задышливым лаем, клубком катится по обочине за машиной, подпрыгивает, словно хочет заглянуть в оконце кабины, и, обессилев, вывалив язык, спокойно трусит к своей калитке.

А Вася уже далеко за оградой детского сада, где торчат из сугробов высохшие стебли кипрея и темные кусты шиповника, где выглядывает из-под съехавшей снежной шапки нарисованное оконце сказочного теремка и ждут теплых дней маленькие качели.

Вася горд и полон чувства собственного достоинства. Прижимая ружьецо к груди, он старательно топает по лестнице на-

холодавшими валенками. Один марш, другой, поворот направо — вот он и в своей группе.

— Здрасьте, Марина Аркадьевна!

Марине Аркадьевне двадцать лет с небольшим. Это яркая, холеная, красивая девушка, младшая в семье, любимица папы. По субботам и воскресеньям она ходит на танцы в клуб и поет в эстрадном ансамбле. Парням она нравится. Те, что посмелей, ухаживают за Мариной, но она ни одного из них не принимает всерьез, потому что не собирается навсегда застревать в этом глухом полудеревенском городке. Отсюда все уезжают, она уедет тоже. Есть у нее друг, студент энергетического института, скромно-пробивной красавец. Марине он нравится, и дело, собственно, уже за немногим — куда его распределят, в какой город? А распределения в этом вузе обыкновенно хорошие, в большие или молодые, новые города...

Сегодня в группе, кроме воспитательницы и нянечки, сидит еще одна женщина в красном, просторном платье. Лицо у нее полное, малоподвижное, это подруга и сверстница Марины — Эльвира. Она замужем второй год, приехала в свой городок рожать и в ожидании родов явно скучает. Да и как не скучать, если книги ей надоели, фильмы, которые идут в клубе, она все видела месяц-два назад в Горьком, а подруги и ровесники ее далеко, разлетелись, вот только Марина осталась. Вчера целый вечер она провела у Марины дома. Они вспоминали однокашников и школу, подбирали модные мотивчики на ивановском «фоно», пили чай с домашним вареньем и вполглаза смотрели телепередачи. Прощаясь с Эльвирой, Марина сказала:

— Если хочешь, приходи завтра ко мне на работу. Я тебя в группу ползунков свожу...

Вот Эльвира и пришла — от нечего делать и чтобы не думать о предстоящих родах, и Марина сочла своим долгом развлекать ее. Она сводила подругу в группу ползунков, где в манежике с низкими бортами, среди цветных пластмассовых кубиков, как черепашки, ползали по толстому серому сукну «грудняшки» и «искусственники». Она рассказала о ссорах и примирениях пары зеленых попугайчиков — с тонким, жемчужным чиканьем они летали по комнате. Она заставила хомячка, которого дети звали «химячок», залезть на верхнюю сетку и сорваться с нее прямо в блюдце с водой. Она собрала с выставки, устроенной для родителей на детских одежных шкафчиках, пакеты с аппликациями и рисунками ребят и все их сложила перед Эльвирой. И зарядку, и музыкальные занятия она постаралась провести поин-

тересней, на этом исчерпала себя и теперь не знала, чем же еще развлечь подругу.

А у Эльвиры мягкое, белое, раздавшееся в щеках лицо тускнеет, какая-то глухая, тайная тоска встает в ее серых, холодноватых глазах. Эльвира боится родов, боится боли, и всякая малость поднимает в ней этот страх. Например, в группе ползунков ее поразило, какие они большие, крупные. Она точно забыла, что эти дети, прежде чем стать ползунками, полгода и больше росли, набирали вес.

Марина полувопросительно оглядывает комнату, золотистую от солнца, которое, кажется, стоит перед самыми окнами. Все в этом холодном резковатом свете выглядит четко, выпукло, с картинной, конфетной яркостью цветной фотографии, в развлекательном журнале. Взгляд ее задерживается на Васе, который со своим ружьишком наперевес браво вышагивает возле ковра, где девочки играют в детсад. Он охраняет их. Усмешка изгибает в полумесяц полные, в розовой помаде губы воспитательницы.

— Вот упрямый,— говорит она подруге, кивая на Васю.— Так и ходит с этой штукой. Ведь сказала ему: «Положи в шкаф, у нас хватает игрушек». Нет, не положил.

— А ты отбери и сама положи,— словно очнувшись, советует Эльвира.

— Неизвестно, чем это обернется...

— Почему?

— Он взрывчатый, нервный. Может и стукнуть, у него не заржавеет.

— Да ну? Больной, что ли?

— Нет. Просто из неблагополучной семьи. Мать у него хорошая, но покладистая очень, не может настоять на своем, а отец попивает. Три места работы сменил. Из одного выгоняют за прогулы и пьянку, а в другом — берут... до нового прогула. Наверно, он уж везде побывал, по второму кругу пошел...

Марина рассказывает про семью Васи, а сама все смотрит на мальчика, и в шоколадных, спокойных глазах ее точно острые искорки пробегают, может, это отражение солнечных бликов на стенах комнаты.

— Он с той вон девочкой дружит, тоненькая такая, светлая, в голубом платьице с белым горошком. Никому не дает ее обижать, а сам, бывает, и стукнет, и цапнет за лицо. Родители за ним плохо следят, ногти у него, как у кошки... Хочешь поразвлечься?— вдруг перебивает она себя. Эльвира не успевает ответить.— Вася, подойди ко мне...

Мальчик, щурясь, некоторое время медлит, вглядывается в черный на фоне ярко освещенного окна силуэт Марины Аркадьевны. Наконец подходит и останавливается перед ней, за-

прокидывает круглую, крупноватую голову, чтобы видеть ее лицо. Воспитательница придвигает стул, садится и, наклоняясь к нему, просит:

— Расскажи мне что-нибудь. Ты давно уже не рассказывал...

— А чего?— Вася сводит брови, хмурится, над переносьем его трещинкой обозначается складка. Когда он подрастет и повзрослеет, складка эта уж не сойдет с его лица, точно памятная зарубка детских лет. Она будет на всех его фотографиях: и в комсомольском билете, и в паспорте, и на свадебном снимке... Эльвира как будто обрадованно спохватывается: сейчас она думала о чем-то другом, постороннем, не о родах, не о себе! Она опять все внимание свое устремляет на Васю и подругу.

— Как ты живешь?— журчит Марина, и в лице ее, в линии носа и губ, проявляется сладенькое, лисье.

— Ничего живу,— скупо роняет Вася.

— Дома все хорошо?.. Папа маму больше не обижает?

— Обижает,— печально отвечает Вася и вмиг преображается весь.— Я ружье сделал. Я в него ка-ак стрельну: тр-р-р-рак! Не смей обижать маму! Он в нее хлебом кинул. Кричит: «Ты меня куском попрекаешь!» Мама ка-ак заплачет, а я его ка-ак тресну — он в угол прямо отлетел. «Вася,— говорит,— я больше не буду»...

Теперь Васю не удержать. Кажется, два голоса наперебой звучат в нем, и он едва поспевает управляться с ними: пропускает окончания слов, захлебывается, горит весь праведным гневом. Глаза у него блестят, лицо раскалилось, маленькие, детски пухлые руки так и сжимают ружьецо.

— Он у нас теперь шелковый. Он теперь по одной половичке ходит. Я маму в обиду не даю. Я и сплю с ружьем. Он к ней, а я: стой, стрелять буду. На место! А он боится...

Голос Васи упоенно взлетает и падает от неровного дыхания, вся его фигурка от потрескавшихся сандалек до нежного вихорка на лбу исполнена отваги и решимости. Эльвира не сводит с него глаз, и в глазах ее, до сих пор ленивых, пустых, добродушное изумление.

Марина мельком взглядывает на подругу, примечает — ей интересно, и приподнимает тонкие, ухоженные, ровно изогнутые брови.

— Постой, Вася, я что-то не пойму. Ты когда убил его: до того, как стукнул, или после?

Вася в растерянности моргает пушистыми ресницами, отставляет ножку в нитяном чулке, и по лицу видно — напряженно соображает, когда же что было.

— Я его не убивал. Я стрельнул понарошку, вот так,— и Вася, наведя ружьецо на печку, которая давно уже не топится,

но стоит на всякий случай, выдает длинное, самозабвенное: — Тр-р-р-р... Мы так играем, забыли, что ли? Мне милиционер ружье дал. «Вот,— говорит,— Вася, тебе ружье. Береги маму, а то у нее больше никого нет»...

Марина, усмехаясь снисходительно, поворачивается к подруге:

— Силен, а?

— Да уж!— Эльвира смеется.

Вася принимает их слова за похвалу и мгновенно подхватывает:

— Ага, я сильный! Я тыщу дров сразу приношу. Мама говорит: «Помощник ты мне во всем, Вася». Я и за картошкой под пол лазаю. Там холодно, тенято, пауки, а я не боюсь. Они пугливые — так и разбегаются... Я вырасту, милиционером буду. Мне фуражку дадут и наган...

Эльвире почему-то и сладко, и больно слушать упоенное вранье Васи, а самое главное — совестно, точно она с подругой смеется над чем-то столь наивным и святым, что благоговеть перед этим надо, а не смеяться.

— Ладно,— говорит она Марине, прерывая розыгрыш, и встает со стула.— Хватит. Да и пора мне. В консультацию надо, на прием.

— Хорошо, Вася,— кивает воспитательница,— иди, играй. Помоги девочкам собрать игрушки. Скоро обед.

Вася послушно, с достоинством идет в уголок, где играют девочки.

— Великий враль,— Марина тоже встает со стула.— Один такой на весь сад.

— Забавный...

— И ведь не запнется. Смотрит тебе в глаза и врет.

— Может, сочинителем будет?

— Кто знает... Климат в семье неважный. Куда это все в нем пойдет? Добро бы в хорошее, а если в дурное?

Марина идет проводить подругу, приносит ей шубку, которая висела в служебном шкафу. Эльвира надевает шубку, застегивает ее и неприязненно косится в зеркало.

— Господи, какая я бесформенная... Уж опростаться скорей бы... Вот пуговицы переставила, а все равно тесно. Хоть снимай совсем.

На лестничной площадке они решают вечером пойти вместе в кино на восьмичасовой сеанс и прощаются.

Вернувшись в комнату, где прямой, в упор, солнечный свет сменился белым, рассеянным, матовым, с легкой синевой по нижнему краю оконных рам, Марина Аркадьевна застает одну из девочек в слезах. Это та самая девочка, с которой Вася дру-

жит и которую защищает от всех. Под глазом у нее кровоточит свежая царапинка. Вася стоит в двух шагах от нее, а смотрит на воспитательницу. У той лицо делается мраморно-строгим, полные губы нехорошо поджимаются.

— Вася, покажи руки.

Он не показывает. Марина Аркадьевна сама подходит к нему, берет за запястья. Так и есть, черные обводинки наросли по краям ногтей мальчика.

— Опять отрастил? Неужто мне следить за твоими руками? Идем-ка.

Она ведет Васю к своему столику, садится, достает кошелечек с маникюрным набором, а из него — маленькие ножницы с тонкими, изогнутыми лезвиями. По самую мякоть обрезает черные упругие серпики. Васе и неприятно, и больно, но он терпит, глядит исподлобья на беспощадные холодные ножницы — и молчит. Марина Аркадьевна знает: он будет молчать, даже если она отстрижет ему палец, такой характер.

Но вот с обрезкой ногтей покончено. Марина Аркадьевна убирает ножницы в кошелечек, а кошелечек в свою сумку и укоризненно качает головой:

— На словах ты заступник, а сам девочку обидел. Девочек нельзя обижать. Подумай об этом в углу, до обеда.

Вася покорно и надменно направляется в угол возле шкафа с игрушками и, встретившись взглядом с Таней, так зовут обиженную девочку, смотрит на нее упрямо и твердо. А девочке, это по глазам ее видно, уже жалко его.

— Марина Аркадьевна,— просит она,— не ставьте Васю в угол.

— Нет, Таня. Не тебе бы за него вступаться.

— Ну, пожалуйста...

— Я уже сказала.

Вася знает, что Марина Аркадьевна в этих случаях неумолима, и стоит в углу, приподняв голову и наблюдая за попугайчиком. Он присел на раму картины и оттуда тонко и капризно пересвистывается с подружкой, которая по-женски многословно отвечает ему с гардины. Раз они так далеко сели друг от друга — значит, поссорились. Похоже, как мама с папой. Они, если ругаются, не сходятся близко. Если мама говорит из кухни, то отец сидит в комнате, тяжело навалясь на стол, накрытый пестрой клеенкой, свесив черную лохматую голову, или, наоборот, отец колобродит в кухне, обо все спотыкаясь, а мама в комнате у стола, непременно с Васей на коленях, которого она в эти минуты целует, гладит по голове и называет «единственным жалельщиком». У нее заветренное лицо, ранние, сухие, ломкие морщинки под глазами; от нее пахнет слабо газетами и силь-

нее — сырой картошкой, которую она только что крошила в суп. У отца тоже свои запахи: кислый, порой горький запах пивного бара, в который он однажды ходил с Васей, и дешевых сигарет, их отец называет «Нищий в горах».

Вася недолго думает об этом, это запахи и образы плохих, скучных дней и вечеров. А бывают и хорошие, когда отец раскаянно-заботлив и предупредителен. Он берет свой старенький баян и учит сына играть. А мама в такие дни и вечера преображается вся, хорошеет и ласково посмеивается над отцом. Она уверенно ходит по всей квартире и делается как будто выше, стройней, моложе. В такие вечера и дни отец приносит Васе книжки, игры в плоских картонных коробках или мороженое. Он точно старается откупиться за те долгие недели и месяцы, когда ничего не приносит...

В углу Вася никогда не скучает. Ему достаточно остановить на чем-то взгляд, вот хотя бы на масляной краске стены, - там, где отпечатались на ней, будто след коготков котенка, волоски малярной кисти, прищурить глаза — вот так: и он видит все, что ему придет на ум. На этот раз он видит себя милиционером — высоким и сильным, как участковый, в новой шинели, с тяжелым пистолетом в скрипучей коричневой кобуре. Он защищает детей от глупых злых собак, и те улепетывают от него в свои дворы, поджимая хвосты... Он задерживает бандита, которого показывали недавно по телевизору, и его награждают орденом, и с этим орденом на груди — своим, не маминым — он приходит в группу на новогодний утренник. Пусть теперь Марина Аркадьевна попробует сказать, что у него нет своих наград, а чужие, пусть даже и мамины, носить нехорошо.

— Это мой орден,— ответит он гордо.— Я его получил...

Покуда Вася развлекает себя, устремив блестящие околдованные глаза в стену, хрупкая, добрая Таня — вот уж действительно жалельщица — с оглядкой на Марину Аркадьевну, которая занята приготовлениями к обеду, потихоньку подвигается к Васе, берет из алфавитного набора фишки и, выбрав из них те, что с волком, аистом, солнышком и яблоком, кладет их рядком на ковер. Получается слово «вяса». Это означает, что она простила ему и царапину, и обиду и не одобряет строгость «испытательницы»—так дети называют Марину Аркадьевну. За обедом Таня отдает Васе свою конфетку. Сначала, конечно, она разворачивает бумажку, смотрит на коричневый батончик, нюхает его, потом вздыхает по-детски легко и коротко и протягивает другу.

— Ешь, Вася. Мама говорит, мне нельзя есть конфеты, у меня зубки плохие...— И, приоткрыв рот, она показывает Васе свои зубки, мелкие, точно у мышки. Вася смотрит, серьезно кивает и закладывает конфету себе за щеку.

На работе время до обеда тянется медленно, неохотно. В «тихий час» и день словно бы дремлет, белый и спокойный, как старая нянечка в халате. А вот после «тихого часа» — под горку катится. Может, и верно — под горку, спешит, точно человек, разрешивший все дневные заботы свои и одолеваемый усталостью.

«Тихий час». Двадцать три белые кроватки заняли все пространство комнаты. Белизна пододеяльников, простынь и подушек, белизна потолка и оконных рам, белизна за окнами устланной снегами земли.

Спят или делают вид, что спят,— Вася, Таня, Игорь, Славик, Наташа, Ира... Возле кроватки Васи, словно верный пес, лежит уродливое ружьишко. Принеси его Игорь, Славик или Андрей, воспитательница просто выбросила бы эту штуку и погрозила пальцем: «Такие вещи нельзя носить в садик». Но с Васей все сложнее, неизвестно, чем обернется такая конфискация, и Марина Аркадьевна, подумав, поднимает ружьецо с пола, выносит в коридор и ставит в шкафчик, на дверце которого нарисованы две вишенки и в котором ждут Васю его пальто, шапка и шарф. Потом она идет в кабинет заведующей, на том же этаже, и, вежливо улыбаясь, пересказывает новую Васину историю. Заведующая, полная молодящаяся женщина, любезно выслушивает ее, поглядывая на свое отражение в зеркале, вернее, на сивый парик, который делает ее странно похожей на Ломоносова.

— Представляю, что из него дальше выйдет,— говорит она, качает головой и с женской непоследовательностью спрашивает: — Ну, что мой парик? Мне все кажется, сидит неудобно, отдельно.

— Да что вы, чудесно!

— Ну-ну,— кивает заведующая небрежно, догадываясь, что в словах воспитательницы больше желания угодить ей, чем правды.— А я-то думаю, как на корове седло...

На кухне Марина Аркадьевна пересказывает Васину историю поварихе, раздатчице и посудомойке. Благодушная толстая повариха смеется до слез и вдруг начинает по-настоящему плакать, сморкаясь в уголок обширного фартука.

— Вот ведь какой... Мамку жалеет. Мамку защитить хочет, а сам-то мал, слаб. Самого защищать надо.

Она долго еще вздыхает, кажется, всем своим сдобным, широким телом, долго говорит о Васе, его маме и непутевом отце. Марина Аркадьевна тоже вздыхает, но по иной причине: в кухне душно, пахнет горелым маслом и кипяченым молоком, от плиты сухой жар наплывает волнами. Повариха сует ей горячую булочку, маленькую и золотистую, как веснушка, и всплескивает распаренными руками:

— Ой, времени-то, скоро и полдник подавать, а у нас еще дел-то, дел...

Марина Аркадьевна возвращается в свою группу и еще за дверью слышит, как там, в белой, подсиненной по углам тишине, будто попугайчики, чирикают ребята — те, что и не засыпали, те, что проснулись, те, кого разбудили соседи. А Вася спит, по-настоящему. Лицо его порозовело, стало пухлым, выражение на нем воодушевленное, отважное. Кто знает, что ему снится, какие подвиги он там свершает?.. Повариха, тетя Оля, права. Есть в этом парнишечке хорошее, но из чего оно растет, может, именно из неблагополучия, и сохранится ли, выживет ли?

Дети притихли, затаились при появлении воспитательницы, но то на одной кроватке, то на другой блестят живые, без тени сна, глазенки, раздается шепот. Какая-нибудь девочка или мальчик, полуодетые, бело-розовые, трогательные, чинно встают и уходят за перегородку, откуда вскоре доносится вкрадчивое журчанье.

— Подъем,— объявляет Марина Аркадьевна, и комнату наполняют осмелевшие голоса, стукотня босых ножек, шелест одеял. Она будит тех, кто заспался:

— Вставай, иди умываться.

Будит и Васю. Тот вскакивает, растерянно, беззащитно озирается, ищет что-то под кроватью.

— Успокойся, я его положила в твой шкаф. Иди умывайся.

Неясные тени, тени тревожного сна, тают в глазах Васи. Их размывает тот ровный, спокойный свет, разлитый вокруг, свет какой-то особенно уютной, изолированной от больших тревог жизни.

Убраны кроватки, закончен полдник. Дети устраиваются кто за столиками, кто на ковре. Они рисуют, листают книжки, строят машины из пластмассовых наборов.

Марина Аркадьевна садится за фортепьяно и острыми пальцами с вишневыми ноготками, на которых по красному лаку белым выведены еще и цветочки — а чем еще заниматься в этом скучном городке?— перебирает по клавишам. Она играет, не задумываясь, ничего конкретно не подбирая, но в беспорядочных звуках нет-нет да и мелькнет запетая, знакомая фраза, одна из тех, что звучат на местных скудных вечерах танцев,— «Листья желтые нам под ноги ложатся...», «Ой ты, калины цвет...». Это руки ее, привыкшие извлекать модные мотивчики из клубной простенькой пианолы, и здесь автоматически повторяют их.

Когда так вот играешь, то думается обо всем сразу и вскользь и ни о чем пристрастно. О том, что скоро студенческие каникулы и приедет в городок будущий энергетик, о ближайших танцах, на которых она покажется в новом, изумрудно-зе-

леном платье, о сегодняшнем вечере, о том, что вся жизнь ее — это ожидание близкой желанной перемены в судьбе или неопределенное, мечтательное, когда хочется принцев и алых парусов...

А за окном перед ней широко разливается и сквозит в седых ветвях деревьев, в поднявшейся стае птиц латунно-холодный закат. Опять обметает потихоньку крыши и сугробы острый февральский ветер. Еще один день со счетов, день без решающих событий. Ну и что, и не жалко. Жизнь еще в самом зачине, сколько этих дней впереди. А закат пунцовеет, и все больше в нем звонкой старинной меди. Вороны черными хлопьями падают на крышу швейной фабрики и сидят там, шевелясь, изредка всплескивая крыльями.

Марина Аркадьевна, опустив крышку фортепьяно, полуоборачивается и находит Васю в группе детей, занимающихся с куклами. Он смеется, властно и весело кричит что-то, выхватывая у Тани полураздетую куклу. Мальчик в том редком состоянии забывчивости и раскованности, когда никого не представляет из себя и делается просто ребенком, увлеченным игрой.

Сегодня пятница, и детей начинают разбирать около пяти вечера. Так повелось с тех пор, как телепередачу «В гостях у сказки» ни с того ни с сего перенесли с воскресенья на пятницу, на рабочие часы. Не многие из родителей соглашаются лишить своих детей сказки. Большинство думает: «Чего не сделаешь ради ребенка!»

Таня знает, что за ней придут, и переживает за Васю.

— А за Васей никто не придет, да, Марина Аркадьевна?

— Наверно,— кивает воспитательница.— Мама его на работе, а папа... тоже работает.

— Жаль Васю,— печалится Таня и думает о том, как бы хорошо было, если бы ее папа взял Васю вместе с ней. Но нельзя, нельзя. В семье Тани Васю Локоткова знают лишь как обидчика, драчуна. «Кто это тебя поцарапал так?» — «Вася Локотков». — «Кто это тебя ударил?» — «Вася Локотков. Он меня толкнул, я упала». Вот если бы она не говорила, кто именно обижал ее, тогда, может, и Вася посмотрел бы сказку вместе с ней в папиной комнате, на папином диване. А она говорила. Она не думала.

— Жаль Васю,— сокрушается девочка.— А я ему расскажу, что будут показывать. Я все-все буду запоминать.

— Попробуй.

Вася обыкновенно уходит вслед за Таней, даже и в этом проявляется его странная привязанность к ней. И теперь, едва Таня с папой скрываются за дверью, Вася складывает игрушки на место, идет в прихожую и там снимает с батареи свои высушенные, теплые валенки. Он торопится, словно хочет догнать

Таню, и через минуту, одетый, в ушаночке, с ружьецом в руке, приоткрывает дверь в комнату.

— До свидания, до завтра,— говорит он воспитательнице и прикрывает дверь за собой. Он уходит, как всегда, но Марину вдруг несказанно поражает это. Шоколадные, ясные ее глаза широко распахиваются, словно там, за дверью, не уютная прихожая с детскими шкафчиками, а кабина, кабина, которая должна вынести Васю в огромное, бурное космическое пространство, где, еще не переборов друг друга, мешаются темень и свет, доброе и дурное, вера в человека и сомнение в нем. Для нее, взрослой девушки, этот мир еще за семью печатями, и она скоро, через час примерно, всего лишь перейдет из одной благополучной среды в другую, домашнюю, созданную для нее, любимицы состарившихся родителей.

А Вася смело выходит за ворота детского сада, в темную улочку, на которую ветер клубком сваливает дым, текущий из трубы большого дома,— горький дым, пахнущий березовыми поленьями. Но теперь, когда у него в руках ружьишко — подарок милиционера, ему все — не страшно.

Григорий Медведев

БЕСПАЛОВ, ТОПТЫГИН И ЛЕВ ТОЛСТОЙ*

Осмотрщик Беспалов и водитель Елкин на вездеходе районного энергоуправления делали контрольный объезд высоковольтной линии электропередачи. Место было глухое и пересеченное. Кругом сопки, тайга. Сбились с дороги. Водитель и говорит:

— Сходи-ка, Беспалов, погляди, как лучше проехать.

Тот пошел. Повернул за сопку, чтобы осмотреть лощину. Под ногами густая, сплетенная сеткой трава с маслянистым отблеском. Названия травы он не знал, зато кустики черники с еще недозревшей ягодой узнал сразу.

Беспалов осмотрелся. По вершинам сопки чинно взад и вперед прохаживался кулик. Кругом было так тихо, что сбивчивое урчание мотора вездехода за поворотом слышалось довольно отчетливо, словно машина стояла рядом.

Из-за огромного валуна вышел большой бурый медведь, и они столкнулись нос к носу. От неожиданности медведь вспрянул на задние лапы и негромко, угрожающе зарычал. Беспалов в первое мгновение обомлел. Бежать ему казалось бесполезным. На память вдруг пришел рассказец Льва Толстого из «Родной речи». Там два товарища встретили в лесу медведя. Один испугался и влез на дерево, а другой упал, притворившись мертвым. Медведь понюхал его и пошел прочь. Мысль показалась настолько счастливой, что осмотрщик, не раздумывая, плюхнулся перед медведем, вцепился судорожно в густую сетку неизвестной ему, очень крепкой травы и замер.

Медведь стал обнюхивать его. Беспалов ощутил упругие струи воздуха из медвежьих ноздрей и подумал: «Как из шланга...»

Струи быстро проходили сверху вниз по спине и сильно щекотали. Беспалов радостно думал, что метод графа Толстого действует безотказно...

Медведь просунул лапу и несильно потянул, пытаясь пере-

* © «Урал», 1981 г.

вернуть человека на спину. Острые когти, не проколов брезентовую робу, больно надавили. Осмотрщик крепче прижался к земле. Сетчатая трава держала. Медведь стал обнюхивать голову. Из пасти его несло смрадом. Затем медведь энергично лизнул от шеи к затылку. Беспалову стало больно, будто волосы выдрали. Несколько раз медведь сильно лизнул ухо и откусил его. Высоко вскидывая голову и широко открывая пасть, ел ухо, как собака муху, очень похоже.

Беспалов ошалело подумал: «Съел ухо... Вот тебе на...»

Он вскочил и заорал благим матом. Медведь испуганно вспрянул на задние лапы и зарычал. Беспалов бросился бежать к вездеходу, неистово вопя и уже не думая, что медведь догонит его. Медведь же бежал за ним довольно быстро, но не галопом, вполпе, видимо, уверенный, что догонит. Водитель увидел бегущего товарища и рванул вездеход навстречу. Медведь ушел в березняк...

Потерявший ухо Беспалов плакал и говорил, что так глупо, видно, один он на свете ухо потерял.

Водитель Елкин поначалу растерянно засуетился. Был он долговязый, нескладный. Шея длинная, а голова маленькая, белобрысая. От вида крови бледные его голубые глаза еще больше побледнели и стали вроде плоскими.

— Давай пакет скорее! Че вылупился?!— заорал Беспалов.— Из-за тебя ухо потерял.— И снова завыл.— Ухо, гадство, откусил! Сучий зверь!..

Елкин наконец пришел в себя и, бинтуя Беспалову голову, сказал:

— Скажи спасибо, что кишки не выпотрошил...

Он с ужасом подумал, что, если бы сам пошел смотреть дорогу...

Глаза у него потемнели, стали глубже, и в них вдруг вспыхнули искорки.

— Был ты, Вася, Беспалов, теперь и Безухов стал...— Он не удержался и хихикнул.

— Я тебе дам «Безухов»!..— пригрозил ему осмотрщик и поднес к носу Елкина красный костистый кулак.

— Ты бы лучше топтыгину по сопатке энтим кулаком съездил...— огрызнулся Елкин.

— Гусак ты, вот кто!.. Быстро развертывайся — и в медсанчасть!.. Назад, по следу.

Беспалов, огромный, угловатый, атлетического сложения, ощущал в себе необычайный прилив злости и сил. Всего его, казалось, распирало, и он подумал: подвернись сейчас косолапый, он бы удавил гада собственными голыми руками.

Елкин газовал на полную катушку. Вездеход несся по сопкам

и лощинам, как разъяренный зверь, вышвыривая из-под гусениц ошметки черного торфа. Лицо у водителя принимало то озабоченное и даже суровое выражение, то вдруг озарялось еле сдерживаемой улыбкой.

«Надо же! — думал он. — Медведь ухо оттяпал. Нарочно не придумаешь».

Беспалов сидел, тупо уставившись перед собой, прислушиваясь к жгучей, дергающей боли, и порой забывал, что правого уха у него уже нет. Потом вдруг спохватывался и всего его обдавало тошнотной панической волной от сознания невосполнимой потери. Ком обиды подкатывал к горлу, слезы сами наворачивались на глаза.

Через два часа бешеной гонки по пересеченной местности вездеход был уже в городе: звонко лязгая гусеницами по булыжнику, он подъехал к больнице и остановился, будто споткнулся.

— Осторожней не можешь? — буркнул Беспалов. — Гусак! Тебе верхом на козе в самый раз...

В приемной «Скорой помощи» была только дежурная сестра.

— Что случилось? — спросила она взволнованно, увидев перевязанную голову Беспалова.

— Медведь ухо откусил... — сказал он как-то обреченно и в то же время с надеждой в голосе.

— Что-о?! — переспросила она и рассмеялась. — Какой медведь?

Елкин, который стоял за спиной товарища, стал разъяснять:

— Производственная травма, понимаете... На работе произошло. При обходе...

— Где врач?! — заорал Беспалов с затаенной надеждой в душе, что сейчас, сию же минуту, будет исправлено непоправимое.

— Вы на меня не кричите! — сказала сестра. Голос ее задрожал. — Врач сейчас придет.

Она позвонила в отделение и вызвала хирурга.

— Я должна записать... — сестра обиженно взялась за ручку. Спросив фамилию, что-то записала в журнал. Беспалов глянул ей через плечо и прочел: «Больной поступил с травмой уха».

И снова ощутил прилив упрямой непонятной злости.

— Не с травмой уха, а медведь ухо откусил. Так и пиши.

Сестра многозначительно посмотрела на него.

— Какая вам разница, товарищ?

— А вот такая...

Пришел хирург.

— Ну, что у нас? Та-ак... Что с ухом?.. Медведь откусил?..

Беспалов увидел, как по лицу доктора пробежала светлая волна, а глаза заискрились.

Обрабатывая рану, хирург приговаривал:

— Да-а... Ну и топтыгин! Чистенькая работа.

— А ничего нельзя сделать?— жалобно пробасил Беспалов.

— А что сделать?— уточнил хирург.

— Ну, с ухом...

— А где ухо-то?..

В ответ Беспалов с досадой махнул рукой и снова почувствовал, что ком обиды подкатил к горлу.

Ему сделали какие-то уколы, и хирург сказал:

— Я вас положу в свое отделение.

Беспалов взмолился:

— Доктор! Хочу домой! Жена у меня с ума сойдет. Повидать надо.

Елкин оказался на месте.

— Я его, доктор, мигом на вездеходе. Домой и назад. Пусть повидается.

— Ну, если только мигом...— согласился хирург.

— Та-ак...— сказал Беспалов Елкину, когда они вышли из процедурной.— Отвезешь до дому. Только не до самого, а за квартал высадишь. Дворами пройду. И при в гараж, я останусь до утра. В случае чего «скорую» вызовем.

Уже сидя в кабине, еще попросил:

— На работе пока не говори. Скажи — заболел, и все.

— Ладно,— угрюмо пообещал Елкин.

Вот и дом. Поднялся Беспалов на третий этаж, остановился у двери, притих. А сердце колотится, вот-вот из груди выскочит от волнения.

«Да-а...— сказал он сам себе.— Обида-то какая...»

Наконец он собрался с духом и позвонил.

Жена открыла и отпрянула.

— Что с тобой, Вася?!

— Да тише ты! Не выступай на всю ивановскую.

Жена, сильно бледнея, прошла за ним в комнату. Сам же он, глядя на нее, будто заново испугался и сказал как-то виновато:

— Ничего особенного... Уха нет.

— Какого уха?!— воскликнула жена, широко открыв глаза. Краска бросилась ей в лицо, отчего ее светлые волосы стали казаться еще светлее.

— Какого... Моего. Правого.— Он почувствовал, что побледнел и как-то спокойно отдал себя во власть запоздалого испуга и горя при родном человеке.

Жена бросилась к нему, стала судорожно щупать руками его голову, причитая:

— Ой! Вася-а-а!

Она прижала руки к груди и заплакала. Слезы полились ручьями.

— Господи! За что такое наказание?! Здорового человека уха лишили-и!..

Вдруг запнулась.

— Стой! Как это?! Кто... ухо? Где ухо, где?!

Беспалов вдруг успокоился и сказал:

— Сядем. Слухай...

И рассказал все подробно.

Она сидела рядом с ним на диване и, широко открыв глаза, смотрела на него, потом вдруг быстро-быстро перекрестилась, бормоча:

— Слава те господи! Слава те господи!

Затем будто неожиданно что-то такое поняла и вновь запричитала:

— Да кто ж тебя, кабана, угораздил плюхнуться перед ведмедем?! А?! Да бежать надо же было!.. Ноги в руки — и скачками, а ты, урод, ухо подставил! На, мишка, лопай на заедку!.. Чтоб ты провалился, остолоп несчастный! Как я теперь с тобой, безухим, ходить-то буду?!

— Так вот и будешь...

— А? Что?.. Да кто ж тебя, дурака, надоумил плюхаться перед ведмедем?!

— Граф Толстой.

— Что-о-о?!

— Вот тебе и что...

Она неожиданно быстро успокоилась и спросила с издевкой в голосе:

— Это какой же, интересно, Толстой?.. Да ты его в жисть не читал, охламон несчастный!.. У нас его отродясь в дому не было...

Беспалов сидел и, часто моргая, смотрел на жену. Он думал со смущением, что и правда, кроме той запомнившейся сказки из «Родной речи», он Толстого вовсе не читал и что как-то это все глупо вышло. И что с женой делать — не знал. А она вдруг снова заплакала, на этот раз тихо, села рядом и прижалась к нему.

— Я тебя, дурака, и такого, безухого, любить буду-у... Миленький ты мой ведмедь... Да ты вон какой бугай, сломал бы ему башку, этому ведмедю-у...

— Сломаешь, поди...

— Больно?

— Да так... Слегка...— соврал Беспалов.

Она утерлась рукавом и сказала:

— Посиди маненечко, я к соседке схожу...

Через десять минут она вернулась, неся в охапке двенадцать томов сочинений графа Толстого.

— А ну-ка, давай поглядим, где энтот твой рассказец. Хочу сама своими глазами прочесть.

Они стали смотреть содержание, но ни в одном томе этой истории про двух товарищей так и не нашли. Потом Беспалов взял томик, повертел в руках — загрубелых, привыкших к железу и совсем не привыкших к книге — и ощутил теплую волну смущения перед самим собой и уважения к этому писателю, маленький рассказец которого, читанный еще в детстве, удивил его на всю жизнь.

«Сколь накатал... Надо же!» — подумал он и открыл книгу.

— «Детство»,— прочитал вслух.— Ладно, слышь, Маша, ты не относи. Почитаем все же, а?..

Олег Михайлов

НОЧЬ НА ШВИВОЙ ГОРКЕ*

1

«О, оперетта, оперетта! Изобретение везуна и здоровяка, хохотуна! Я вижу тебя, либреттист! Ты никогда не знал, что такое зубная боль, лысина, отложение солей и валидол, никогда не нуждался в презренном металле и даже не имел свирепой тещи. Благополучный семьянин, ты каждое утро начинал с зарядки, душа, чистки зубов, тщательного бритья, хорошего крепкого одеколона, любования собой в зеркале, а затем, после натурального кофе со сливками, погладив по головке деток (тоже здоровяков), шел в свой покойный, уютный кабинет — выдумывать сказки для взрослых.

В этих сказках запрещено появляться страданиям и болезням. Впрочем, и в этой идиллии страдания допускаются, больше того, поощряются, только страдания особенные — любовно-ликерные. *Он* и *она* три долгих действия упорно рвутся друг к другу из разных углов сцены, чтобы, изнемогая в непосильной борьбе с бутафорским злом, слиться под занавес в жгучем поцелуе.

Вот где они, настоящие влюбленные, а не безнадежно скучные Тристаны и Изольды, инфантильные Ромео и Джульетты, глупо безутешные Вертеры и надуманные бедные Лизы, вот непрерывный веселый марафон любви...

А может быть, все наоборот? Может, оперетту изобрел человеконенавистник и неудачник? В грязной, запущенной конуре, перхая и гадко улыбаясь, окутанный никотинным смогом, этот монстр в отместку человечеству создавал на сахариновом порошке свой опереточный торт с маргариновыми фигурками никогда не существовавших цыганских баронов, благородных нищих графов, вдохновенных обитателей чердаков Монмартра и беспечных полусумасшедших перуанских королей.

Оперетта, оперетта! Наркотик на леденцах с запахом дорогого туалетного мыла и героями, сошедшими с конфетных оберток. Портрет? Извольте. Затуманенный, самовлюбленный взор, локоны до плеч, велюровый пиджак, ямочка на левой щеке, тенор,

впрочем, голос не обязателен, нужен каскад и, понятно, натура. Красавцы и красавицы — других не держим; изящная светская жизнь, пузырящееся в хрустале шампанское, гордые пластроновые груди мужчин, глубокие декольте и килограммы бриллиантов и жемчуга (поддельных, конечно). О, оперетта! Ты ступаешь в венце и в мантии из мармеладного благородства с неизменным шлейфом благополучной концовки...

Но в час икс появлялся маэстро — некто в потертом платье и с фиалками под глазами. Он переносил пошлую и глупую историю на нотные листы, уже пестревшие знаками, и великие дирижеры, случалось, откладывали в сторону партитуру симфоний № 8 фа мажор опус 93 Людвига ван Бетховена, чтобы исполнить «Сказки Венского леса». О, музыка, что ты способна сотворить с бедной человеческой душой! Ты, словно добрая волшебница из сказки Перро, можешь обратить крысу в ливрейного кучера, тыкву — в вызолоченную карету, мышей — в породистых рысаков, а маленькую замарашку сделать дивной принцессой...

Оперетта — ты прекрасна!»

2

Так или почти так говорил Ильюша Дротиков своему юному протеже — студенту Коровкину. Завсегдатай кулис и артистических уборных, автор остреньких газетных мелочей на театральные сюжеты, приятель популярных полузвезд вокала, эстрадных комет и просто отдельных астероидов из кордебалета, Дротиков имел рыжеватые залысины, бледное, закапанное веснушками лицо, очки с сильными цилиндрическими стеклами, значок мастера спорта на лацкане (каноэ), брал уроки джиу-джитсу и подолгу рассуждал обо всем на свете: о кинофильмах режиссера Бергмана, о ловле ставриды на самодур, о стихах Дмитрия Кедрина и о различии между Хемингуэем и Ремарком. Коровкину он казался существом высшего порядка.

— Ты все-таки ужасный циник,— сказал, восхищаясь Дротиковым, Коровкин.

Сам он был юн, худ, нескладен и часто в поступках — от невинности — нелеп. И он еще ничего не знал о себе: умен он или глуп, зол или добр, хорош собою или некрасив, способен ли иметь успех у женщин...

— Циники,— быстро ответил Ильюша,— были учениками Сократа и создали в философии особую ветвь. Их дразнили псами — «кинос» за проповедь естественной жизни. Надо заняться твоим образованием...

«Нет, я никогда не стану таким умным, как Дротиков!» — в отчаянии решил Коровкин.

А вокруг кипела, обтекая их и наслаждаясь наступившим долгожданным миром, Москва — Москва самой середины двадцатого столетия. Это было в недавние и далекие годы, когда по улице Горького медлительно шествовали уже редкие и тогда двухэтажные троллейбусы; когда у каждого самого невзрачного дома имелось свое лицо; когда бутербродами с красной икрой закусывали в пивных и банях; когда редкостью были отдельные квартиры и жили в подвалах, мансардах, сторожках, железнодорожных вагонах; когда сыну перешивали отцовские галифе и когда изобилие мехов, красной рыбы, антикварных книг порождало у столичного жителя мнение, что покупать их — дорого; когда таксисты ловили пассажиров, а не пассажиры таксистов, и в немногочисленных ресторанах всегда находился свободный столик. Это было давно и недавно, и Коровкин шел по Москве, не подозревая, что все вокруг него, мелькающее, малозначительное, привычное, западет ему в память и через много лет начнет сладко и больно тревожить его.

— У меня «хвосты» по «Капиталу» и диамату,— жалобно напомнил Коровкин.— Лишат стипендии, если я их не ликвидирую в ближайшие две недели...

— Так на кой ляд ты топаешь со мной в оперетту?— думая о чем-то своем, бросил Дротиков.— Иди грызть гранит прибавочной стоимости!

Коровкин остановился, пораженный верностью этой мысли, и сделал резкое движение, собираясь повернуть назад, но Дротиков со смехом обнял его за плечи.

— Коровкин! Петя! Нельзя быть таким серьезным! Я обещаю заняться твоими «хвостами». Всю эту скучную премудрость ты познаешь под моим руководством за каких-нибудь двое суток.

— Как же я запомню так много?— ужаснулся Коровкин, представляя себе пирамиды растрепанных библиотечных книг, конспектов и пухлых учебников.

Наслаждаясь его наивностью, Дротиков зашелся в смехе, придерживая прыгающие очки.

— Запомни, малыш. Ты будешь знать все. Но лишь до того момента, пока доцент влепит в твою зачетку вожделенный «хор». И тогда я тебе устрою сквознячок. И не смей больше думать об этом. Нас ждет музыка.

Они уже подходили к белому штакетнику «Эрмитажа», к щитам, с которых сквозь черные полумаски глядели, обворожительно улыбаясь, актеры в цилиндрах и актрисы в шиньонах, к воротам сада, куда подкатывали новенькие, сверкающие «Победы» и где жидко клубилась публика, большая часть которой направлялась по дорожке прямо — к кинозалу и ресторации, а

меньшая сворачивала на правую аллею — к Зеркальному театру.

Дротиков тоже завернул, но в служебный вход, где около гардероба дремал на венском стуле ветхий старичок.

— Вот, друг мой, гляди и запоминай: музейная редкость. Играл сорок лет назад в «Эрмитаже» у самого Дуван-Торцова героев-любовников. А теперь что? Был человек, а ныне экспонат.— И закричал прямо в волосатое ухо:— Что, старый хрен, еще коптишь небо?

Старец очнулся, раскрыл в улыбке младенчески розовый пустой рот и, недослышав, недопоняв, закивал безволосой, блестящей головой.

— То-то, старая пробка,— покровительственно похлопал Дротиков гардеробщика по плечу и сказал Коровкину:— Ты поскучай малость с этим чучелом, а я прогуляюсь в недра за контрамаркой...

Что-то дрогнуло в лице старца, он покачал головой и дребезжащим, отозвавшимся в душе Коровкина острой жалостью голосом только и сказал:

— Не стыдно... А еще образованные...

Гардеробщик откинулся к спинке и словно задумался, застыл: снова ничего не выражало его окостенелое лицо, его круглые и красные, без ресниц глаза.

Появился крохотный знаменитый комик — лысая черепашья голова, тяжелые веки, каплевидный нос; впорхнула, чиркнув по Коровкину пустым взглядом, маленькая прелестная женщина-ребенок; протопали музыканты с разнообразными футлярами; легко, словно не касаясь пола и еще раскланиваясь с кем-то, провальсировал мимо Коровкина известный куплетист и танцор с юношеской фигурой, кокетливыми движениями и женским капризным выражением на маленьком лице. Зажужжало, задвигалось, задышало рядом, за тонкой стенкой; сквозь смех послышались приглушенные и интимные (как в бане) голоса хористок:

— ...Наш-то Черномор и застукал ее с осветителем... Прямо в театре. И рассчитал тут же...

— Жену?

— Ха-ха! Осветителя, конечно...

— Ах, прекратите ваши гадкие сплетни! Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь красивом...

«Дротиков! Где же ты?» — томясь и краснея, словно его могли обвинить в чем-то стыдном, взывал Коровкин.

Но вот наконец выскочил Ильюша, размахивая белым листочком:

— Малыш, тебе повезло! Сегодня только первый состав: великий Ярон, юная Шмыга, блестящий Шишкин.

3

В антракте приятели вышли в сад — выпить пива.

Собственно, пива Коровкин терпеть не мог, но ни за что не сознался бы в этом Дротикову, который разливал коричневатую пенящуюся жидкость в бумажные стаканчики, напевая при этом только что отзвучавшие мелодии:

— Тра-ра-та-та-та-тай-рай-рай... Ну, как? Понравилось?

— Великолепно! Бесподобно!— восхищенно сказал Коровкин.

— А Бони? А Старый Ронс? А Воляпюк?

— Все, все прекрасны!— давясь горькой гадостью, подтвердил Коровкин.

— И кордебалет?

— Это какой-то парад красавиц! Чудо как хороши!

Тут Дротиков призадумался и вдруг громко щелкнул пальцами:

— А это идея! Хочешь познакомиться с кордяшкой?

— Что это?— робея, спросил Коровкин.

— С артисткой кордебалета. С той, которая понравится тебе больше других... И допивай свое пиво, уже был второй звонок.

Вот так Ильюша! Его могуществу, оказывается, не было пределов.

Оперетта неумолимо шла к счастливому концу, а Коровкин никак не мог решить, какая из красавиц самая лучшая. В страусовых перьях, пышно вздымающихся из прически, в ажурных платьях с блестками, открывающих голые плечи, красавицы то образовывали длинный слепящий ряд, высоко, до подвязок, вскидывая под бешеный чардаш сильные ноги, то, рассыпавшись по сцене, замирали в томительном ожидании, и тогда выбегали одинаковые молодые люди во фраках с искусственной невозмутимостью на лицах и вращали их в быстром вальсе. Коровкин не отрывался от бинокля, переводя его с белой головки на черную, с черной — на каштановую, с каштановой — на рыжую,— и все они сливались в одно прекрасное целое. Наконец красавицы расположились по обе стороны артиста в цилиндре с дурацкими усиками и моноклем.

— Ну, как?— поинтересовался Дротиков.— Кто же на свете всех белее, всех прекрасней и милее? Так которая?

— Третья...— почти наугад не ответил, а пролепетал Коровкин.

— Слева или справа от Бони?— деловито спросил Ильюша, впиваясь очками в сцену.

— Справа... Нет, слева...

— Одобряю твой выбор. Хорошая девушка. Зовут Тамарой, живет на Таганке, не замужем. Как только кончится спектакль,

я сбегаю за кулисы. А ты жди меня у выхода, под щитами.

На этот раз Ильюша отсутствовал недолго. Победно улыбаясь, он объявил:

— Едем прямо к Тамаре. Сама она пока задержится, а мы купим выпить-закусить и будем ждать ее у дома. На Швивой Горке.

— Где-где?— удивился Коровкин.

— Это улица такая в старорежимном звучании: Швивая Горка, возле Таганской площади.

— А удобно ли вообще ехать?— запротестовал Коровкин.— Все-таки я даже незнаком с Тамарой.

— Нишкни, малыш!— отрезал Дротиков.— И слушайся во всем старших: ты, хлопец, может быть, не трус, но глуп, а мы видали виды.

4

Они поднялись из новой кольцевой станции метро на площадь, обогнули обшарпанную церквушку и внезапно из мира нарядных голубых экспрессов, ярких огней, лепных украшений попали в мир иной. В переулке было темно и мрачно; двухэтажные запущенные и жалкие домики тянулись по обе стороны. Дорога то шла круто вниз, то карабкалась вверх. Еще одна заброшенная церковь забелела своими костями на взлобье. «Неужели здесь может жить настоящая опереточная актриса, привыкшая к цветам, поклонению, шампанскому, Кальману?..» — изумлялся Коровкин, прыгая по булыжнику. А из-за горки подымалась, росла холодно и грозно серая каменная скала, острыми сталагмитами царапая небо.

— А это что там?— тихо сказал Коровкин.

— Новый небоскреб... Котельнический. Не узнал?

Но Петя уже и сам догадался: такой же высотный дом достраивался рядом с его жильем, на площади Восстания.

Перед полутораэтажным недомерком с кирпичным низом и бревенчатым мезонином Дротиков остановился и приветственно поднял пакет, в котором лежали колбасный сыр, консервы «Налим в томате», «Килька пряного посола», пеклеванный хлеб и бутылка «Московской».

— Вот он, замок Тамары... Как сказал поэт: «Тот дом боялся привидений. И потому — чердак не выстроен, подвал не вырыт...» Кто поверит, что некогда на первом этаже здесь размещался филиал веселого магазина колбасно-гастрономических изделий, что это вот темное окно, за которым живет прекрасная Тамара, сияло и манило окороками и зельцем! Но — в путь, в путь!

Приятели вошли в подъезд, и первой, кого увидел в конце

темного коридора Коровкин, была тучная бородавчатая старуха с толстеньким носом. Она злобно глядела на пришельцев и прижимала к животу небольшой металлический ящик.

— А вот и бывшая хозяйка магазина мадам Вольтер!— как на экскурсии, указал на старуху Дротиков.— Привет опрокинутому классу!

Коровкину показалось, что в ответ мадам Вольтер зашептала: «Дряни! Дряни!» — и, обняв ящик, вышла из кухни.

— Томуся! Ты уже здесь?— восхитился Ильюша, и тут Коровкин обомлел.

Немолодая женщина с лиловым от марганцовки пробором в темных волосах и простым широким лицом стояла в дверях. Как? Это была она, одна из т е х красавиц, которые поразили Коровкина на сцене? Не может быть! «Мам-мочки мои!»— подумал он и даже сказал себе: конечно, «мамочки», потому что женщина была похожа более всего на маму.

— Ну, что застеснялся, малыш!— по-своему истолковал его замешательство Дротиков.— Смелее! Знакомься с волшебницей Тамарой. Томуся, он еще совсем дурачок.

В свой черед и Тамара растерянно оглядела Коровкина и попросила:

— Ильюша, я хочу тебе что-то сказать... Извините нас...

Пока Коровкин приходил в себя, Тамара увела Дротикова в комнату, и оттуда раздался его громкий и резкий, как милицейская сирена, смех. Ильюша выскочил в коридор, весело схватил Коровкина за руку и втащил в бедно обставленное помещение с никелированной кроватью и горкой пышных подушек, покрытой белилами тумбочкой, заменяющей стол, и репродукцией шишкинских медведей из журнала «Огонек» на стене.

— Ты знаешь, что сказала мне Томуся?— сдерживая спазмы смеха, проговорил Дротиков.— «Зачем ты привел этого ребенка?» Она вдруг решила, что ты школьник. Не хотела верить, что перед ней — без пяти минут дипломированный инженер!

— У меня мог быть вот такой же сын,— тихо ответила Тамара, и Коровкин, залившись краской, сел на предложенный ему табурет, не смея поднять на хозяйку глаза.

— Нет, за это стоит выпить! Ей-ей!— веселился Дротиков и в мгновение ока вскрыл консервы, нарезал сыр, разлил водку в граненые стаканчики и со словами «вздрогнем-чембурахнем» чокнулся с Тамарой и Коровкиным.

Водку Коровкин уже пробовал и с ужасом думал, что придется ее выпить. Но хоть и твердо решил бежать домой при первой возможности, казаться ребенком, школьником не желал. Подражая Дротикову, он выплеснул жидкость в рот, на мгновение ока-

менел. Сразу очумев, он не хотел и не мог закусывать, и Тамара с женской чуткостью поняла его состояние.

— А вот зачерпни ложкой консервов, да побольше,— и она сама, как птенцу, сунула ему в рот кусок рыбы.

«Мама, наверно, с ума сходит»,— подумал Коровкин, уже позабыв об уходе, а только ощущая сладкое тепло, разлившееся в теле, желание быть добрым и видеть только добрых вокруг себя.

— Вы были прекрасны сегодня!— громче, чем нужно, воскликнул он.— Все актеры были прекрасны...

— Чепуха!— ответил за нее Дротиков.— Наши актеры не умеют носить фрак и вечернее платье. Ощущение такое, словно господа сбежали из дому, а лакеи переоделись в их наряды.

— Как тебе не стыдно!— возмутился Коровкин, принимая от Ильюши второй стаканчик.— Ты же обидел актрису!

— Первая колом, вторая соколом,— не обращая ровно никакого внимания на его слова, проговорил бодро Дротиков.

Второй стаканчик прошел еще мучительнее, чем первый. Зато после третьего Коровкин почувствовал себя легко и уютно. Он хохотал над остротами Дротикова, пытался декламировать стихи, пел и даже пустился в пляс, но опрокинул на пол банку с консервами.

— Ты видишь, его сейчас развезет,— сказала Тамара Дротикову.— Открой окошко...

Пахнуло летней свежестью, туман перед глазами Коровкина начал рассеиваться. Ильюша сурово сказал:

— Выйдем. Есть разговор.

В кухне Коровкин вновь увидел старуху. Она молча протягивала ему металлический ящик. Теперь Коровкин разглядел, что это была старинная медная копилка со щелью для монет и рычагом. Поверху в затейливой вязи бежала надпись: «СБЕРЕЖЕНІЕ ПУТЬ КЪ БОГАТСТВУ», а внизу значилось: «КТО ДЕНЕЖКИ БЕРЕЖЕТЪ, ТОТЪ БЕЗ ТРУДА ПРОЖИВЕТЪ».

Не задумываясь, Коровкин выгреб из кармана мелочь и начал совать ее в щель. Старуха радостно завертела рычагом, и в металлическом окошечке с надписью «сумма» запрыгали пятизначные цифры.

— Копчености, английские сои, пикули, горчицы, консервы...— бормотала мадам Вольтер.

— О чем она?— испугался Коровкин.

— Не может забыть про свои магазины,— хмыкнул Дротиков.

— На Петровке, в доме Староносова, и Швивая Горка, пятнадцать...— подтвердила старуха.

— То есть в этом доме,— указал в пол перстом Дротиков и без перехода строго спросил: — Ты что, забыл, зачем мы приехали?

Коровкин изумленно поглядел на него и на всякий случай ответил:

— Нет, не забыл.

— Тогда идем к Тамаре и не валяй дурака.

...Короткая летняя ночь была уже на исходе. Смутно брезжило за открытым окном, хотя по-прежнему глубокая тишина околдовала Швивую Горку, ее бедные дома, в которых не светилось ни одно окно.

— На брудершафт! На брудершафт!— упрямо подталкивал Ильюша Тамару к Коровкину, который тихонько отодвигался вместе с табуретом.

— Ильюша, он же не хочет... Не надо, Ильюша...— повторяла Тамара.

— Это еще что за бунт швейных машин!— осерчал Дротиков и наклонил ее лицо к застеленной газетой тумбочке, к остаткам пиршества.— За непослушание я наказываю!

— Уходи, слышишь?— проговорила, поднимаясь, Тамара и тут же закрылась ладонями, защищаясь от удара.

— Не смей бить женщину!— закричал, оставаясь на табурете, Коровкин.

— Я могу и мужчину...— не оборачиваясь, ответил Дротиков.

И тогда Коровкин всем своим нетренированным худым телом навалился на него сзади, пытаясь заломить Дротикову руки. Карающая ладонь Ильюши мелькнула с сабельной скоростью, и страшное ребро ее тотчас повергло Коровкина на пол. Утвердясь на четвереньках, с помутнением в глазах тот крикнул:

— Ты циник! Ты пес! Слышишь — пес!

Не дожидаясь повторного удара, Коровкин с внезапным проворством, как ящерица, юркнул на четвереньках к окну, вознесся на подоконник и оттуда провозгласил:

— Дротиков! Я не хочу, я ненавижу твои знания!

Полет длился какие-то доли секунды, но потом Коровкин завис в воздухе, остановился, застыл — и три десятилетия пронеслись сквозь него...

5

— ...Тормозни, Федя.

Петр Андреевич Коровкин вынес из «Волги» свое располневшее тело. Нет, ему не померещилось: он стоял на Швивой Горке. Черт-ить что — всю жизнь прожить в Москве и оказаться снова в этих краях через столько лет!

По очертаниям улица осталась той же, что была, и стала совсем иной, едва узнаваемой. Словно влажная губка прошлась по старой пыльной картине, засиявшей звонкими красками. Лишь церковь у метро, тоже отремонтированная, была раскрашена дико и грубо, точно дама из карточной колоды. Далее даже пузатые, скромные, бывшие купеческие домики гляделись молодцами. Сразу за ними несколько дворянских особнячков, желтые с белым, украсились охранными досками. Перед высотным котельническим домом светло и нарядно белела в зелени церковь — та самая, что поразила своим убогим видом Коровкина.

Шофер, профессионально не выказывая удивления, глядел, как его всегда флегматичный начальник волчком вращается на тротуаре и размахивает руками.

— Бабушка, что это за храм?— обратился Петр Андреевич к тащившейся мимо старушке, и та заулыбалась, зашамкала:

— Церковь святого Никиты-мученика, батюшка... Еще называли ее: Никита-за-Яузой... А за нею вон бывший дом священника Протопопова. Еще далее — богадельня при храме... Да тебе-то на что?

— Для истории, для истории...— поспешил успокоить ее Коровкин.

— А коли для истории,— возразила старуха,— то спрашивай у атеистов. Они все должны помнить. Вишь, им дом какой отдали?— и она закивала, указывая на желтый соседний особняк во дворе, с богатым лепным фризом, колоннами и вывеской: «Городская усадьба с постройкой XVII века... Дом атеиста». Коровкин послушно пошел в калитку.

— Извините, вы не знаете, чья это была усадьба?— спросил он у молодого бородатого «атеиста», вертевшего в пальцах пачку сигарет «Лайка».

— Отчего же не знать, знаю,— ответил тот.— Генеральши Клаповской. Фамилия пишется через «а». У вас спичек не найдется?

— Простите, я не курю,— сконфузился Коровкин, думая о том, что дом мадам Вольтер должен был быть как раз напротив, там, где теперь разбит сквер и откуда из зелени доносились приглушенные юные голоса и смех.

Не было и в помине замка Тамары, и уже не существовали в природе почти все из тех, кто был помянут в этой давней и, очевидно, несуразной истории. Не могло быть на свете ни гардеробщика из Зеркального театра, ни мадам Вольтер, ни знаменитого комика; сам Дротиков, как случайно слышал Коровкин, нелепо погиб, возвращаясь с празднования декады каких-то искусств, в авиационной катастрофе; сошли со сцены прежние артисты оперетты.

Другие молодые люди шагали навстречу Коровкину, новые кумиры назывались в их разговорах, и новая музыка звучала из транзисторов, лилась из окон домов.

Но в саду «Эрмитаж», как и тридцать лет назад, шла оперетта: *Она* — в костюме из ворселана и *Друг дома* — с добродушными бульдожьими брылами и животом из натурального плюша провожали *Его* — безукоризненного аристократа в тюрьму. И по этому поводу все трое ужасно веселились, стократно, маниакально повторяя одно и то же:

— За что, за что, о, боже мой, за что, за что, о, боже мой! За что, за что, о, боже мой, за что, о, боже мой! Ха-ха! Ха-ха!

И новый Коровкин в Зеркальном театре внимал продолжающей колдовать и ворожить старой сказке. Пенным прибоем подымалась из оркестровой ямы, выдувалась из самых совершенных инструментов — серебряных и золотых человеческих гортаней — нежнейшая музыка. Не замком князя Орловского, по тропическим садом казалась новому Коровкину сцена, на которой розами и орхидеями расцветали женщины и другие, еще более красивые, чем Тамара, Томуся, танцовщицы стрекозами и колибри порхали в этом саду под музыку, зажигая в человеке желание любить, наслаждаться, жить.

Валентин Распутин

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?*

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивал себя на работу,— собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по-задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней высказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал?— по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

---

* © «Сибирь», 1981 г., № 5.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и на улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию и смирению, осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа, каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь, против обыкновения, почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по-нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такое терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю, и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополи и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи стрижи, воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу,

и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была, точно, наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено,— что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она собирается выводить своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы

с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила, как окончательно решенное: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не

была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно,— я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания,— отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки и ничего между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился,— расхлистанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру, и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах,— как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: постращай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не ото-

шла бы до сна. И я был бы прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех неисполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым, и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам помимо обычной работы особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не мешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать и от нашего автобуса, и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только на лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав ради утренней работы возвращаться именно сегодня, мне пришлось ночевать на виду своего домишка на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», —

говорила в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток высовывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо хоть — горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо,— стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочеркивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все были распьяненьки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, кото-

рым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой?— я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были неслучайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого такое еще, но у меня нет чувства полной и неразделимой слитности с собой. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде

не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой. Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни казались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность, происходит довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я» — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я

спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться,— нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, как увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы такой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте: и вагоны, длинной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимающая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздраги-

вала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, вынося в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо-коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал? годится или нет? туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь, ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком

какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел всетаки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке, и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале

без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивавшуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще неготовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос,— сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями, его уже и не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами — будто кто, как в чаше, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем миру, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болез-

ненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем—для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу,— и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда, пусть слабый совсем и случайный, голос нам не позволится. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише и тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно: они словно бы проходили сквозь меня, я словно бы, издали замечая их, приготовлялся и замирал, когда они приближались. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем

по-другому, чем удаляясь, до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов; как только мир этот откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было,— значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за вглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешавшую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке.

Ноги едва держали меня,— видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как мигает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые как снег капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

Георгий Семенов

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ*

Молодой человек по фамилии Шаблонов любил похвастаться своей работой, рассказывал о ней первому встречному, согласному слушать его или, во всяком случае, не перебивать. На лице его играла в такие минуты хитроватая улыбка человека, сумевшего обвести судьбу вокруг пальца. Губы его, обрамленные русыми усами и бородкой, то и дело сочно и влажно розовели, обнажая ряд непрокуренных, сверкающих белизной зубов. Из груди все чаще рвался наружу веселый хохоток, и горе тому, кто искренне увлекался его рассказом: через некоторое время отделаться от Шаблонова было уже невозможно.

Работал Шаблонов ревизором в областном аптекоуправлении, «закрывал аптеки на учет», как он сам о себе говорил, часто бывал в дороге, далеко ли, близко ли, но все время в пути и всегда в тайной надежде на веселенькие вечера с какими-нибудь девочками, работавшими в той или иной аптеке, уезжая от молодой и очень любимой им жены с чувством заранее ощущаемой и как бы запрограммированной вины перед ней. Поэтому был особенно трогателен при каждом прощании. Сильное волнение охватывало его, словно он оставлял жену и ребенка тяжело больными. До вокзала он ехал в бессмысленной какой-то задумчивости, машинально брал билет, машинально протискивался к выходу. Но стоило ему сесть в вагон поезда, бросить портфель или небольшой чемоданчик на полку, как от волнения не оставалось и следа. Его будоражил запах вагона, каменного угля, если дело было зимой, или запах теплой пластмассы, разогретой на солнце. Он приглядывался к пассажирам, спрашивая о чем-либо давно уже известном ему, и получал, как правило, вежливые ответы, на которые он с озабоченностью человека, впервые узнавшего о времени прибытия поезда на станцию N, очень вежливо говорил «спасибо» и, хмурясь, поглядывал на часы, не оставляя при всей этой мнимой озабоченности без внимания какое-нибудь

миловидное личико новой пассажирки и радуясь, если случай сводил их вместе в одном купе. Если же он уезжал ненадолго, на один всего лишь день, и добирался до места на пригородной электричке, то старался тоже оказаться рядышком с какой-нибудь привлекшей его внимание девушкой или женщиной, мучая ее и себя в дороге глубоко проникающими, настырными взглядами. Мука этих взглядов была так приятна ему, что он и жертву свою тоже считал как бы осчастливленной своим вниманием, словно бы ей не могла быть неприятна его грубая назойливость.

— Что вы! — восклицал он.— О чем вы говорите! Это все делается по принципу двух интеллигентов. Один у другого спрашивает: «Что ты думаешь о Карпове?» А другой отвечает: «А как тебе нравится шайба?» Вы понимаете меня? Вы гоняете шайбу, я переставляю фигуры... Или наоборот! Нет, не скажите! Каждая работа интересна, если на нее смотреть как на способ существовать... Я работаю — значит, я существую, а раз существую — почему бы мне не жить по-человечески? Разве не так? Вот, например, моя работа...

Начинался путаный-перепутаный рассказ о ревизорской работе, сдобренный намеками на любовь чистеньких девочек, баечки о ночных рыбалках с колокольчиком, для которых у него всегда все необходимое было с собой. И в конце концов создавалось впечатление, что Шаблонов и в самом деле счастливый человек, успевающий в процессе, так сказать, работы отдохнуть на берегу речки или озера и поразвлечься с девочками, при этом не забывая основное свое дело, за которое ему платили деньги.

— Ну, о чем вы говорите! Я, конечно, фармацевт, и лекарство любое самое дефицитное — это всегда в моих силах. Хотя, считаю, надо подольше обходиться без всяких лекарств. А если уж яснее, то я вам лучше взаймы дам сто рублей, чем каким-то, знаете, путем доставать вам какое-то лекарство. В принципе могу, конечно,— мне не откажут. Только не буду этим заниматься, вот в чем дело. В общем-то, знаете, это как один выходит из телефонной будки, а другой спрашивает: «Работает?», а тот отвечает: «Он лучше чем работает — он монеты жрет». Вот я тоже лучше чем работаю. Зачем же мне заниматься темными делишками? Вы бы на моем месте тоже не стали.

Больше всего он любил ездить один, без финансового ревизора, когда надо было сделать лишь анализ лекарств, не закрывая аптеки на учет. В таких поездках он чувствовал себя совершенно свободным и уходил из дома с ощущением, будто ему предстоит пересечь Великий океан и высадиться на неведомом берегу неведомой страны.

Шаблонов не курил, не пил крепких напитков, испытывая к этому зелью отвращение почти младенческое. Он порой поз-

волял себе лишь стаканчик сухого белого вина или шампанского. Даже за очень бражным, водочным столом никто никогда не уговаривал его выпить, как это сплошь и рядом бывает у нас, никто не упрекал, не обижался на него, словно он был человеком какой-то другой породы, которому просто нельзя пить водки. «Я человек не ресторанный, а скорее буфетный,— говорил он сам о себе.— Мне там всякие селедочки, всякие закуски холодные и горячие не нужны. Я выпил бокал шампанского или вина, и мне хорошо, я уже пьян и весел, а ужинать или обедать я предпочитаю дома. Вкуснее, чем моя жена, никто не умеет готовить... С какой стати!»

В отъездах он старался избегать столовской пищи, набирая с собой по мере возможности всякой снеди: вареных яичек, котлет или жареного мяса, курицу или домашних пирожков с капустой, аккуратно завернутых в фольгу. Он всегда имел с собой электрический кипятильник, фарфоровую кружку и хороший чай, а то и банку растворимого кофе. В особом чехольчике лежала у него старинная, истершаяся от времени ложечка из серебра восемьдесят четвертой пробы, которой он ел по утрам в буфете сметану, пренебрегая косыми взглядами соседей по столику.

Он всегда был безукоризненно одет, хотя не носил никогда галстуков, предпочитая повязывать высокую шею шелковым платком, в котором преобладал синий, густой цвет. Летом в жаркие дни он носил белые рубашки, сшитые на заказ, с широкими, чуть ли не как у кимоно, рукавами, туго схваченными на запястьях накрахмаленными манжетами. Подтянутый и стройный, с гибким торсом, он бывал похож в летние дни на заезжего фокусника или поэта. Бородка его и усы были не то чтобы русого, а какого-то золотисто-платинового драгоценного цвета. Большой, широкий в переносице нос, синие щурящиеся глаза, игривая улыбка. Он очень нравился женщинам! А мужчинам внушал чувство неопределенное и смешанное: что-то среднее между ненавистью и уважением.

В дороге он бывал неутомим на ухаживания за милыми соседками, под стук колес в нем просыпался отчаянный ловелас, которому во что бы то ни стало нужно было влюбить в себя какую-нибудь красотку, особенно ту из них, у которой золотилось обручальное кольцо. Он испытывал истинное блаженство, когда уверялся окончательно, что покорил ее сердце, что теперь надолго запечатлеется в ее памяти, отпечатается в сознании. Стоя с ней в коридорчике вагона возле окна, задавал под шумок такие вопросы, вызывая ее на такую исповедь, что потом и сам не мог без волнения вспоминать об этом. Он получал дьявольское какое-то наслаждение, несравнимое с плотским удовольствием, когда

ему удавалось внести сомнение в душу своей жертвы.

Что-то исконно женственное было в его натуре: он ежеминутно, ежесекундно ощущал в себе помимо своей воли непреодолимое желание нравиться, нравиться, нравиться, тратя немало энергии для достижения этой, в общем-то, бессмысленной цели.

Но это лишь на пути ТУДА.

Когда же он ехал обратно, перед мысленным его взором была одна лишь милая женушка, он мечтал скорее добраться до дома, обнять свою Сашеньку, которая наверняка уже приготовила что-то вкусненькое на стол и ждет его не дождется, прихорашиваясь перед зеркалом, постелив холодные чистые простыни и наволочки, поставив на столик какие-нибудь цветы: сирень ли весной, астры осенью или февральскую мимозу. Как же он любил ее в эти минуты, как тревожился за нее и за сына! Все ли у них хорошо, не заболели ли, не случилось ли чего?! Как он счастлив бывал всякий раз, думая, что и на этот раз сумел избежать близких отношений с какой-нибудь симпатичной девочкой, с которой он, свободный и никому не известный в чужом городе, живущей иной и как бы подаренной ему жизнью, мог бы, конечно, но...

Однажды было очень жаркое лето. Жара эта особенно резко ощущалась в пыльном городишке, заросшем тополями. Разбитые тротуары, разъезженные дороги, дворы и крыши домов — все было укрыто сухим пухом, который толокся в тихом и горячем воздухе. Автомашины, рассекая застоявшийся воздух, поднимали лежащий на мостовой и на тротуарах пух, и он, завихряясь, взметывался вверх, кружился и с бесноватой бесцеремонностью лез в глаза и в рот, прилипая к коже и щекоча потное лицо.

В городе проходила тогда какая-то конференция, гостиница была набита ее участниками, и Шаблонову пришлось устраиваться в профсоюзной ведомственной гостинице, похожей на общежитие.

Общежитие это было расположено почти в центре города и, видимо, когда-то в прошлом являлось единственным гостиничным домом. По коридору то и дело раздавались гулкие шаги, женский хохот и мужской кашель.

Шаблонов сидел в майке и всякий раз, когда шаги приближались к двери его комнаты, тревожно прислушивался: не остановится ли кто-нибудь, не постучит ли в дверь. И успокаивался, когда где-то хлопали другие двери и все умолкало в коридоре. Там, за дверью, происходила какая-то бурная, клокочущая и словно бы хмельная, веселая жизнь хорошо знакомых друг с другом, прижившихся здесь людей, с которыми Шаблонову не хотелось встречаться, не хотелось даже показываться им на

глаза, точно он попал в чужую и дружную семью, был гостем, а они хозяевами здесь.

На него и в самом деле, когда он вышел из номера, обратили внимание два парня в нейлоновых тенинсках, которые стояли возле конторки дежурной и сразу же умолкли, как только увидели Шаблонова. Они молча проводили его любопытными взглядами, и Шаблонов слышал, как один из них спросил другого: «Что за фрайер?» — спросил насмешливо, оскорбительно, с тем пренебрежением в голосе, какое Шаблонов частенько улавливал чутким своим ухом, если о нем заходила речь среди мужчин, думающих, что он не слышит их. Другой, видимо, пожал плечами и ничего не ответил.

Уборная времен царя Гороха, ржавая железная раковина, фырчащая и брызжущая струйка теплой воды — все это убожество доконало Шаблонова, и он решил, что завтра же скажет в управлении, что лучше он будет жить в частной какой-нибудь комнатенке, чем здесь.

Проходя опять мимо конторки, возле которой уже не было парней, он узнал от дежурной, что в гостинице собрались физкультурники на какой-то межрайонный слет и что живут они здесь уже четвертый день.

— Да какие они физкультурники! — добавила простодушная женщина.— «О чем мечтаешь, Коля?» — передразнила она кого-то.— «Где бы червончик найти». Физкультурники! У них одно соревнование на уме.

Шаблонов уже собирался лечь в постель, как вдруг кто-то торопливо пробежал по коридору, где-то хлопнула дверь, и женский голос со смехом спросил что-то...

— Чего, чего! — услышал Шаблонов у себя за дверью.— Все уже закрылось! Десять минут... Разве успеешь! А кто здесь живет? — спросил девичий голосок, и Шаблонов услышал вдруг нетерпеливый стук в дверь: — Эй, кто тут? Откройте...

— Сейчас,— откликнулся Шаблонов и, ничего не понимая, в тревожной торопливости надел рубашку.

На пороге стояла очень высокая девушка в голубом стареньком тренировочном костюмчике.

— О-ой! — сказала она.— Это не наш... — Но не попятилась, а без тени смущения на лице вдруг спросила у Шаблонова: — А у вас ничего нет поесть? Вы тут один живете, да? Вы, наверное, начальник какой-нибудь. Трехместный на одного,— говорила она, переступив порог и оглядывая его жилище.— Шикарно!

— Ну, раз зашли,— сказал Шаблонов с иронической усмеш-

кой,— так уж закрывайте, а то что ж так, нараспашку...

— Нет, я серьезно... У вас не найдется чего-нибудь? А то есть ужасно хочется!

— Найдется, найдется,— ворчливо отозвался Шаблонов, захлопывая дверь.— Ну, садитесь, что ли...

— Нет, а правда, вы кто?— спросила она, дохнув ему в лицо чуть заметным неприятным винным запахом.

— Ревизор.

— Остряк,— сказала девушка и с игривым пренебрежением села на стул, положив ногу на ногу.

Она была в белых босоножках, кожа которых потрескалась на сгибах и покрылась черными морщинами. Городская пыль еще не была смыта с ног, смуглые ее пальцы, длинные и плотно прижатые друг к дружке, с белесыми ногтями, были обметаны серой пылью, а стопы, казалось, были усыпаны бурыми какими-то веснушками. Девушка не прятала грязных своих ног, словно бы пыль на ее ступнях и пальцах была так же естественна, как и то, что она зашла к нему в номер с неожиданной своей просьбой, словно она очень доверяла ему, незнакомому человеку, зная заранее, что он не осудит ее за пыль на ногах и за этот выгоревший, с белыми лампасами, туго натянутый костюмчик, который она тоже не успела сменить на платье.

Шаблонов мельком успел увидеть только общее выражение ее лица и теперь, роясь в чемоданчике, доставая хлеб, боялся поднять на девушку глаза, потому что ему показалось, что она очень красива и у нее подвижные, нервные ноздри.

— Может, чаю хотите сладкого?— осмелился спросить он и очень разволновался, разглядев наконец-то свою нежданную гостью.

— А, черт с ним, с чаем... Давайте пить чай. Я бы, конечно, чего-нибудь покрепче с горя... Но черт с ним. Проиграла я сегодня по-глупому!— воскликнула она, всплеснув руками.— Должна была прийти первой, а пришла шестой... И к черту! Чтоб я еще раз согласилась — никогда! Этот наш дурак уговорил меня. Я месяцев пять не тренировалась, зажирела... А он — поехали да поехали... Первое место! Тьфу! Позорище... Вы представляете, такая дылда, как я, бежит. Ой, кошмар! Фу-у! Да еще жара эта. Голова — печка, ничего не вижу, не слышу. А прибежала — и свалилась как дура! В глазах ночь, ноги подкосились, и я прямо куда-то ухнула. Господи! Мне бы сойти, я уже знала, что проигрываю, мне бы сойти, а я бегу. Ну, не дура! А у вас ничего нет выпить?

— Нет,— виновато сказал Шаблонов и очень пожалел, что у него нет бутылочки вина.

Она, казалось, тоже только теперь разглядела его и немнож-

ко оробела или, во всяком случае, смущенно опустила глаза и поджала ноги, спрятав их в тени стула. Руки она положила на колени, обхватив их растопыренными пальцами с белесыми тоже, выпуклыми, длинными ногтями, на которых жалко розовели остатки лака.

— Вы не подумайте,— сказала она,— что я какая-нибудь... Я думала, здесь наши. Мне все равно, я могу уйти, если мешаю... Забыла сегодня поесть. А тут буфета никакого, ничего... Хоть помирай. Мне ребята налили вина, а я думаю: а, черт с ним! Собака,— сказала она без всякой злобы.— Говорила этому дураку, чтоб отстал... «Поедем, поедем! Первое место!» Ну, какая я бегунья! Была. Да, была. А теперь вон бедра какие! — она с явным отвращением хлопнула себя по упругим ляжкам.— Мне килограмма четыре или пять сбрасывать, если бегать. Надоело все! На кой черт мне этот спорт? Верно? Я жутко переживаю, когда проигрываю. Сдохнуть могу от тоски! А зачем мне это нужно? Как будто меня оплевали, оскорбили, втоптали в грязь. А всего-то! Не прибежала первой. Ну, не дура?

Ее вьющиеся, очень светлые волосы были растрепаны и не прибраны, спадая на лоб, с которого она их то и дело сдувала. Они, видимо, щекотали, и ей казалось, что тополиные пушинки, летающие в комнате, садились на кожу лба.

— Вы извините меня,— сказала она вдруг.— Я, наверное, пойду. А то как-то неловко. Думала, кто-нибудь из наших...

А Шаблонов, который уже вскипятил кружку воды, весь встрепенулся.

— Нет, нет,— сказал он.— Это уж совсем. Пока не поедите, я вас никуда; так и знайте... Я вот даже сейчас дверь запру, а ключ,— говорил он, подходя к двери и поворачивая ключ,— а ключ положу в карман. Вот так. Это я, чтобы никто не вломился. У вас тут очень серьезные ребятишки, чего доброго, подумают, что я вас похитил у них.

А она, откинув голову, открыв лицо свое бледному и холодному свету, с насмешкой и очень горькой, застывшей улыбкой удивленно наблюдала за ним. Рот ее был полуоткрыт, как у дорогой куклы, и Шаблонов увидел под верхней губой, тоже как у куклы, ряд белых и сухих зубов, поблескивающих чистой эмалью. Ни порошком, ни пастой нельзя было довести их до такой пронзительной белизны — это уже от роду. Это подарок.

— Ну и что?— протяжно спросила она.

Но тут же тряхнула головой, ворох ее волос вспыхнул под светом, прикрыл лицо тенью, и она засмеялась:

— Черт с ним. Запирайте. Я все равно не боюсь.

— А чего вам-то... Это я боюсь!— подхватил Шаблонов.—

Вас ведь, наверное, хватились, ищут. Где... А вас как, кстати, зовут?

— Саша.

— Саша?— переспросил он.— Ничего себе! А-а странно... Редкое теперь имя. Хорошее. Саша. А меня Петькой зовут... Тоже не частое.

— А я Петровна...

— Ну, значит,— сказал Шаблонов, чувствуя, как колотится у него сердце,— судьба. Александра, да еще Петровна... Вы сладкий будете? Я вам сейчас бутербродов сделаю. С бутербродами сладкого чаю... Кстати, индийский. Пейте, ешьте, не стесняйтесь. У меня еще есть. Я еще сделаю... Хотите с сыром?

Он с глупейшим и каким-то благоговейным восторгом уселся на кровать и смотрел на Сашу, которая, прихлебывая горячий чай, ела бутерброды, приготовленные им. Он никогда еще в своей жизни никого не кормил, если не считать сына, и потому испытывал совершенно незнакомое ему чувство, похожее, наверное, на чувство женщины, кормящей голодного мужа. Он любовался своей гостьей, ее жадностью, с какой она поедала бутерброды, и улыбка не сходила с его лица. Его все умиляло в ней: даже жадность, даже набитый рот, трудное заглатывание пищи — все нравилось ему.

За дверью все время кто-то топотал, раздавались тревожащие его неразборчивые голоса мужчин, их хриплый кашель, женский смех и цоканье каблучков, хлопанье хлипких дверей, транзисторная музыка. Дом гудел, и казалось, что кто-то приходил все время, кого-то встречали, радовались, обнимали, словно ночью должен был начаться шабаш, дикие пляски и разгул молодых ведьм, встречающих теперь своих любовников с длинными хвостами и рожками.

Сашенька, как мысленно уже называл свою гостью Шаблонов, не обращала на этот шум никакого внимания. Но вдруг, однажды, когда за дверью опять раздались мужские голоса, она как будто поперхнулась, замерла в испуге и прошептала с отвращением:

— Этот... дурак явился...— И, вся превратившись в слух, напряглась всем телом, вытянулась, как растревоженная птица, готовая улететь.— Тихо!— сказала она Шаблонову, насторожив его своим поднятым пальчиком.— Тихо, они сейчас уйдут.

Но грубые, угрожающие голоса долго еще бубнили в коридоре, половицы тяжело поскрипывали под ногами у тех, что стояли за дверью, они что-то обсуждали, спрашивали о чем-то, наверное о Саше, ее подругу, которая что-то отвечала им тихим, виноватым голосочком. Наконец они, помолчав, словно тоже прислушивались к гудящему дому, пошли прочь, вразнобой

стуча каблуками, отчего, как показалось Шаблонову, даже в комнате заколыхался пол, и хлопнули входной дверью на пружине.

— О, господи!— выдохнула Саша, точно не дышала все это время.— Ушли, слава богу.

— А кто это?— все еще шепотом спросил Шаблонов.

— Да этот!— отмахнулась Саша.— Собака эта,— сказала она так, будто уже рассказывала о них Шаблонову и он все знал.

— Понятно,— сказал он и кивнул ей по-дружески.

— Он думал, ах-ах, какое счастье! И на шею... Это я-то!

— Понятно...

— Обидится, ну и черт с ним! О, господи! Неужели обратно идут?— опять встрепенулась она и вытянулась, прислушиваясь к знакомым голосам на улице.— Ой, слушайте, погасите свет, а... Пожалуйста.

Страх ее и тревога передались и Шаблонову, и он, смятенно улыбаясь, быстро поднялся и выключил свет. Жужжание люминесцентной лампы прекратилось, наступила тихая темнота.

— Простите меня, пожалуйста, а?— прошептала Саша из этой теплой и мрачной тишины.

— Да ради бога!— откликнулся тоже шепотом Шаблонов, прислушиваясь к шагам, которые опять вразнобой тяжело забухали в коридоре, уверенно и хамовато, не считаясь ни с чем. Ах, как он ненавидел в эти минуты мрачных этих незнакомцев, которые постучались опять в какую-то дверь и стали громко через дверь разговаривать с кем-то, кто не открывал им и отвечал из комнаты!

— Надо же какие!— злым шепотом проговорила Саша.— Убить мало!

— Да-а... Может, выйти?

— Нет, нет, нельзя... Нет!— испуганно прошептала Саша.

Кто-то из этих двоих злобно выругался, стукнул ногой в дверь. Вышла дежурная и зычно прикрикнула на них. Те огрызнулись: «Ладно, мать! Не твое дело».

Но дежурная не испугалась и тоже заорала на них. Запахло скандалом, и двое, что-то грубое сказав на прощанье, наконец-то ушли совсем. Выведенная из терпения дежурная вышла за ними следом, огласив тишину ночи зычным криком. Потом слышно было, как она, вернувшись, заперла на задвижку входную дверь и, продолжая ворчать, ушла в свою комнату.

Шаблонов успокоился, хотя все внутри у него дрожало от возмущения. Он уже с раздражением думал о Саше, которая, видимо, вела себя так с этими парнями, что сама дала повод ломиться к ней... Он словно бы уже ревновал ее к ним.

В доме давно стихли голоса и музыка, все успокоилось и уснуло. Пророкотал за окном милицейский дежурный мотоцикл. Милиционеров было двое, они о чем-то весело и громко переговаривались. Но потонул в тишине и рокот мотоцикла. Было очень душно, несмотря на открытое окно, и так тихо, что чудилось, будто в плафоне опять жужжал тревожный, мертвый свет. Но света они так и не включили, целуясь и обнимаясь в молчаливом каком-то и внезапном согласии. Лишь иногда Сашенька строго говорила ему:

— Не шути, дяденька...

А он глупо спрашивал:

— Почему? Какой же я дяденька?

— Потому,— отвечала она и отодвигалась от него.— Не прикасайся ко мне!— шепотом приказывала она.— Борода колючая.

Но потом опять позволяла прикоснуться и опять целовалась с ним, обняв его за шею, или, вернее, положив тяжелые свои руки ему на плечи так близко к шее, что он задыхался от этой близости, от страстной прижатости к нему ее груди. Она была очень сильна физически, и Шаблонов даже не пытался диктовать ей свою волю. И хотя изо рта ее все еще пахло винным перегаром, хотя было очень жарко от ее объятий, он не помнил в себе такой тупой страсти, какая обуяла его в эту ночь. Именно тупость ощущал он, целуясь с ней, не в силах оторваться от ее губ, бессмысленность бесконечных поцелуев, какое-то полное непонимание, что происходит с ним и зачем все это ему нужно. Он вообще не помнил себя, не задумываясь о том, где он и кто эта женщина и почему ей и ему нужно целоваться.

— Опять шуточки?— слышал он ее предостерегающий голос, только тогда понимая, что позволил себе лишнее, и подчинялся, лишь бы не лишиться возможности опять и опять целовать ее.

Постепенно в голосе Сашеньки стали появляться нотки какой-то грустной расслабленности, она уже не покрикивала на Шаблонова, а говорила отодвигаясь от него:

— Нельзя, понимаешь? Я не хочу... Я осенью замуж выхожу, понимаешь? В сентябре будет свадьба. Вот приезжай после свадьбы, тогда... А сейчас нельзя. Ну, можешь ты меня понять или нет? Я ведь говорю, у меня свадьба в сентябре. Понимаешь? А он у меня ревнивый.

Но Шаблонов ничего не понимал.

— Подожди,— говорил он с удивлением.— Свадьба? Через два месяца свадьба?

— Ну да...

— Выходишь замуж?

— Ну да...

— Да, конечно,— озадаченно говорил Шаблонов,— если свадьба, то значит... замуж... конечно... А зачем же без любви-то?

— Как это без любви?! Я его люблю.

Шаблонов ничего не понимал.

— А что значит — люблю?— спрашивал он.— Ты меня тоже любишь?

— Ну, ты артист!— со смехом откликнулась Сашенька.— Я ведь тебя не знаю совсем, как же я могу тебя любить?

— Да, действительно... Ты, Сашенька, очень странный человечек. Ты работаешь или учишься?

— Работаю.

— Кем?

— Оператором на машине, на вычислительной...

— О-о-о! Слушай, Сашенька, поцелуй меня еще. Я не могу без тебя... Ты просто чудо!

— Не надо больше, а то... Я тоже не железная. Я ж говорю тебе, приезжай на тот год, тогда... а сейчас нельзя.

— А что будет, если приеду?

— Все.

— Уму непостижимо! Да ведь ты же сказала, что любишь своего жениха, будущего мужа, так? Выйдешь замуж и перестанешь любить, что ли?

— Почему?— обиженно спросила Сашенька.— Стала бы я тогда замуж выходить.

— Да, конечно,— сказал Шаблонов в задумчивости.— Конечно... Сколько ж тебе лет?

— А зачем это тебе?

— И в самом деле — зачем? Сашенька, дай я тебя еще один разочек очень нежно поцелую... Один разочек, честное слово.

И он опять целовал утомленную и словно бы засыпающую девушку, которая тоже отвечала ему на его поцелуи. Они сидели на продавившейся кровати, тесно, как в гамаке. Он опять все на свете забывал и «еще один разочек» затягивался до бесконечности, а «честное слово» опять забывалось и им, и ею.

— Приедешь?— тихо спрашивала она.

— А куда?

— Договоримся как-нибудь. Ты мне «до востребования» напишешь, а я тебе тоже... И договоримся.

— Но ведь вот какая штука!— воскликнул в тихом хохоточке Шаблонов.— Я ведь тоже, понимаешь, я ведь, честное слово, люблю свою жену!

— Ну и что... люби себе на здоровье.

— Чудеса!— искренне удивлялся он, отстраняясь от Са-

шеньки.— Ладно, я приеду... Или ты приедешь, куда я скажу. Хорошо?

— Хорошо. А сейчас, ты знаешь, я спать очень хочу! Глаза закрываются... Я до утра у тебя тут посплю? Я даже белье сниму с кровати и просто под одеялом посплю. Ты не обижайся, я боюсь сейчас к себе идти. Все спят, надо стучать. А утром я потихонечку — никто и не заметит. Твоя кровать где? У окна? А я тогда здесь, около двери... Можно?

И она, пошатываясь, прошла к кровати.

— Зачем же белье снимать? Спи так. Это мой номер... Спи как следует,— шепотом сказал Шаблонов.

— Спасибо,— ответила Сашенька, голубея в поредившейся предутренней тьме.— О, господи!— вздохнула она, в трепетном ознобе укрываясь одеялом, залезая под него в тренировочном костюме.— Увез бы ты меня отсюда, я бы тебя так любила за это!— И сразу уснула.

Шаблонов долго ворочался, вздыхал, приподнимаясь на локте, вглядывался в смутные очертания спящей девушки, чувствуя себя опять чуть ли не матерью подле спящего больного ребенка. Именно больного, потому что Шаблонов не в силах был понять, объяснить себе эту странную гостью, чужую невесту, спящую у него в номере и верящую в свою любовь к далекому неудачнику, которому она заранее собиралась изменять и даже договорилась о будущей этой измене с незнакомым мужчиной. Она и свадьбу-то свою ждала, наверное, для того, чтоб почувствовать себя наконец свободной, сохранив девственность для ревнивого мужа как подарочек, как великую добродетель, отпускающую все ее будущие грехи.

«Странный и несчастный человечек,— думал Шаблонов, вглядываясь в безмятежное ее лицо.— За два месяца до свадьбы с кем-то пить вино, с кем-то целоваться, ночевать в чужом номере с мужчиной. Что это? Полное равнодушие или детсадовская общительность, вера в себя или неверие ни во что? Непостижимо! «Хорошо, я приеду»... Отговорка, конечно. Лишь бы уснуть. Поесть, пощекотать себе нервы и уснуть... Какой же она все-таки еще звереныш... Одно удовольствие на уме, только удовольствие, во что бы то ни стало — удовольствие! Не пришла первой — слезы. Как же иначе! Не получила удовольствия. Детский сад! Вот ведь какая бедняжка!»

Жалость, похожая на жалость к своему взрослому ребенку, не представляющему себе, что такое любовь, граничила в нем с нарастающим тоскливым раздражением.

С такими невеселыми и сумасбродными раздумьями Шаблонов встретил рассвет. За окном гулко зачирикали воробьи. В воздухе захлопал крыльями, словно бы разминаясь после сна,

сизый голубь. Заворчала и истошно взвыла кошка, и почудилось вдруг, что за окном проснулись жители каких-то карликовых джунглей: свирепые хищники и их жертвы.

Шаблонов понял, что не уснет, что ему уже нельзя даже этого сделать, потому что надо вовремя разбудить Сашу, чтоб их не застали врасплох ее подруги или дежурная. Спящий дом показался ему каким-то враждебным станом, стерегущим его, осажденного в этой комнате, и ждущим мгновения, когда он откроет свою дверь, чтобы с гиканьем броситься на него и разорвать на части. Он с нетерпением ждал семи часов утра, чтобы выпроводить гостью.

— О-ой!— воскликнула она вдруг с испугом.— Где это я?— И, пяля на него сонные, опухшие глаза, с истерическим каким-то ужасом спросила: — Что это?— Но тут же обмякла и с облегчением вздохнула.— Надо же, как испугалась!— сказала она, приходя в себя.— Что, надо идти, да?— Сбросила с себя одеяло, садясь на кровати и шаря босыми ногами туфли.— Дай мне расческу... Ой, и попадет мне от Зойки! Она небось думает, что я утопилась с горя.

Она торопливо, с треском расчесывала волосы, чуть ли не ломая зубья маленькой мужской гребенки.

— Ты посмотри,— говорила она,— нет ли кого-нибудь в коридоре. Если нет, скажи, и я сразу...

— Не торопись.

— На кого я похожа?!— спросила она, продолжая рвать свои волосы.— Морда опухшая?

— У тебя не морда, а очень симпатичное лицо,— сказал он насмешливо.— Ты-то хоть выспалась?

— Конечно,— откликнулась она.— А ты что, не спал? Почему?

— Уснешь тут...— засмеялся Шаблонов, удивляясь наивности ее вопроса.

— Ну, ладно, давай я тебя поцелую и пойду...

И она прижалась к нему одним из тех ночных поцелуев, от которых у него голова шла кругом.

— Подожди,— сказал он, переводя дыхание.— Мы увидимся? Ты сегодня уезжаешь? Остаться никак не сможешь?

Она прикусила в мгновенной задумчивости верхнюю губу, нос ее, словно был эластичным, вытянулся.

— Нет,— сказала она,— не смогу. А зачем?

— Погуляли бы... посидели где-нибудь...

— Мне завтра на работу. Нельзя. Я тебе напишу. Знаешь, когда напишу? Сразу же после свадьбы... Это значит, числа десятого. Москва. Главпочтамт, да? А придешь за письмом?

— Приду.

— Тогда напишу.— И она велела ему записать свой адрес, тоже «до востребования», взяв и у него листок, вырванный из записной книжки. Взглянула на его фамилию и улыбнулась загадочно.

Ее фамилия была, видно, переделана на русский лад из украинской: Павлюкова — предки были Павлюками.

— Забудешь,— сказал Шаблонов с усмешкой.— Выйдешь замуж... и привет.

А она очень удивилась и даже как будто обиделась.

— Я никогда тебя не забуду! Ты что?— сказала она с возмущением.— Как же можно!

— Ну, вот и хорошо,— засмеялся Шаблонов.— Ты, Сашенька, прелесть! Ничего подобного никогда не встречал, и вообще... Ладно, беги. Беги и не оглядывайся. Оглянешься — окаменеешь... Прощай.

— До свидания,— сказала она и, сменив озорную улыбку на какую-то вспышку страха, приоткрыла дверь, выглянула в коридор и тут же выскользнула из комнаты.

Это случилось в июле, а в середине сентября, сделав большой крюк по городу, Шаблонов, чувствуя себя преступником, зашел на Главный почтамт, в огромный и мрачноватый зал с вереницей стеклянных окошечек, под одним из которых было написано как раз то, что он искал: «Корреспонденция до востребования». Стараясь быть спокойным и не выдавать своего волнения, он молча протянул паспорт и с удивлением увидел, как девушка с механическим равнодушием в движениях отобрала для него одно, второе, а потом и третье письмо. Осевшим голосом он выдавил слова благодарности, закашлялся и, усевшись за колонной, принялся читать письма, не соблюдая порядок их написания.

Первое, что он понял,— что свадьба расстроилась, а жених — собака. Второе, что жених — ужасная собака, а свадьба поэтому не состоялась. И третье — очень хочется увидеться, обо всем поговорить и посоветоваться, как быть. Каждое письмо оканчивалось строчкой: «Целую. Ваша Саша».

«Я теперь работаю диспетчером на автобазе... Работа интиресная, живая, все время с людьми,— писала она, сделав ошибку в слове «интересная».— Коллектив хороший, дружный. Меня все любят, и я их тоже всех люблю». И даже шутила: «Все время улыбаюсь, веселюсь. Не горюю нисколечко!— писала она, сделав две ошибки в одном слове: «нисколичка».— Приезжайте в гости. У нас хорошие яблоки уродились. Привезете своей семье яблоков,

жена спасибо скажет. Вы мне понравились, как человек. Жду от Вас письма. Напишите, приедете или нет.— («Опять ошибка,— отметил Шаблонов.— «Приедите». Училась, наверное, на тройки».) — Целую. Ваша Саша Павлюкова»,— добавила она свою фамилию и полностью написала домашний адрес.

Выйдя на лестницу, Шаблонов хотел было разорвать и выбросить в урну эти конверты, но в последний момент передумал и быстренько и неразборчиво переписал в записную книжку адрес. «Надо ответить... Зачем обижать...» А уж потом разорвал письма и бросил, как бы развеяв их прах по ветру.

На душе у него было тревожно, но вместе с тем ему все время хотелось улыбаться.

Но прошло время, и, как говорится, рана затянулась.

Шаблонов все так же доволен своей работой, хотя уже и не хвастает перед каждым встречным, говоря теперь все больше о своей любви к жене.

— Не-ет, мне все эти штучки-дрючки ни к чему,— говорит он с улыбкой опытного человека, многое познавшего в жизни.— Если нет, так сказать, чудного мгновения, то зачем все это? У меня молодая красивая жена. Во, пожалуйста, фотокарточка: она и сын. Я ж говорю, у меня красивая жена! Я не встречал ни одной женщины, которая могла бы сравниться с ней. Вот так. В этом все дело. Слышали, наверное, сейчас иглоукалыванием увлекаются. Я лично в это мало верю, хотя, конечно, поживем — увидим. Может, сам буду в старости лечиться этим методом. Кто знает! Но я сейчас не об этом, я о том, что наблюдал тут недавно в одном курортном местечке. Сидят две раскормленные женщины и говорят об этом иглоукалывании. Одна, видно, лечилась и объясняет другой. «А вот возьмите,— говорит,— лицо. Вот тут,— говорит,— почки, и показывает пальцем на места укалывания на лице.— А вот тут спина, а на носу желчный пузырь, а мочевой пузырь под носом, вот тут. Под глазом у нас тонкий кишечник...» Господи помилуй!— восклицает с хохотком Шаблонов, всплескивая руками.— Представил все это на их лицах, очень как-то легко представил себе и почки, и тонкий кишечник, и чуть меня не стошнило. А другая-то между тем спрашивает: «А где же, интересно, сердце?» А та отвечает: «Сердце на переносице». С ума сойти! Я к чему все это? А к тому, что я себя всегда так чувствую, когда поглядываю на других женщин, даже очень симпатичных, что у одной из них какая-нибудь селезенка на лице, у другой — мочевой пузырь, а у третьей — вообще спина вместо лица. А у моей жены лицо богини, понимаете? Я его таким вижу, потому что люблю

ее, и ни с кем не могу сравнить. Тут не может быть никакой обиды! Если вы, например, любите свою жену, то, конечно, должны чувствовать то же самое или нечто похожее. Нет! Конечно, о чем тут говорить, я уважаю и отношусь с почтением ко всем женщинам: красива она или нет. Не в этом дело. А вот когда дело касается намека на близкие отношения, то уж позвольте мне быть грубым и циничным. А почему бы и нет?! Я, например, знаю таких мужчин, которые по-рыцарски рассуждают: «Все для женщины, если она дает надежду... Лишь бы ей было хорошо». Но ведь есть же границы! А потом, почему я, например, должен быть уступчивым и даже, так сказать, удобным для какой-то малознакомой женщины и забывать о другой, которую я знаю и которую люблю, которая дороже мне всего на свете? Я говорю о жене. Если рассуждать: «Все для женщины. Лишь бы ей хорошо...» — и так далее, то вроде бы получается, что жена и не женщина вовсе. Вот ведь в чем дело! Ну их всех к черту! Я для жены готов делать все, лишь бы ей было хорошо и чтобы именно она всегда чувствовала себя победительницей, а не какая-нибудь легкомысленная особа. Для других я готов до определенного момента быть вежливым и корректным. По принципу обыкновенной человечности готов на комплименты, на улыбки, но не более того. Все это при условии, конечно, что я люблю свою жену. Если вам не интересно, это еще ничего не значит,— говорит Шаблонов всякий раз, когда ему возражают.— Не хотите так жить — не живите. Ваше личное дело. А что значит — все так живут? Во-первых, не все, а, вовторых, почему я должен брать с кого-то пример? Пусть этот кто-то берет пример с меня, если, конечно, захочет... Я не настаиваю.

Как правило, Шаблонова горячо поддерживают пожилые женщины, умиляясь душою и во всем соглашаясь с ним. А мужчины или посмеиваются, или откровенно скучают, отмахиваясь от всех этих журчащих слов, как от назойливой, неведомо откуда взявшейся мухи.

Сам Шаблонов этого не замечает, словно говорит не для тех, кто его слушает, а для кого-то еще, кого нет в реальной действительности или, вернее, который никак не попадается ему на глаза, хотя должен где-то существовать этот хороший, добрый, умный человечек, который когда-нибудь встретится ему и обязательно похвалит его, Шаблонова, за такую праведную и чистую жизнь.

Елена Серебровская

ФИЛОДЕНДРОН*

Она была хорошенькая и очень нравилась мужчинам. Эстрадная певица, всегда одета как надо, чуть-чуть подгримирована. Все понятно.

В войну пришла похоронка и ей. Поплакала искренно, от души. Муж у нее был замечательный. И погиб-то он накануне Победы!

Работу свою она любила, работа ее спасала. Много выступала в воинских частях. На нее всегда засматривались, и она принимала это как должное. Что ж, от ласковых мужских взглядов ее не убудет. А ничего такого она себе не позволяет. Веселый характер, и все. Это даже хорошо, легче горе переносить.

Однажды пришлось выступать в каком-то научно-исследовательском институте на берегу одного из рукавов Невы. Не вечером это было, а к концу дня, после работы. В концерте участвовало несколько человек, принимали их великолепно.

Она спела и под затихающие аплодисменты спустилась со сцены в боковую комнату. Там висело несколько зеркал, и артисты готовились к выходу. Там и сумка ее лежала, с которой пришла.

Она присела на стул и увидела, что из другой, противоположной маленькой двери вышел мужчина. Пожилой, приветливый, с аккуратной маленькой лысинкой, но еще стройный. В руках он держал букет тюльпанов.

— Регина Сергеевна, спасибо вам! Разрешите...— и он вручил актрисе цветы.

— Благодарю!— сказала она, в свою очередь улыбаясь приятной неожиданности.— Вы даже отчество мое знаете...

— Я многое о вас знаю,— сказал он загадочно.— Не раз на ваших концертах бывал. Мне приятно оказать вам хотя бы это маленькое внимание.

Глаза у него были совершенно счастливые. А делать человека довольным, счастливым — это большое удовольствие. Видишь, как на твоих глазах человек хорошеет. А тебе это ничего не стоит даже. Приятно!

Он помог ей надеть шубку и попросил разрешения проводить. Попросил без уверенности, с этаким риском в глазах: «А, была не была!» Она разрешила. Он не вызывал опасения, что начнет навязываться, набиваться в гости, искать уединения. Он был весь открыт и открыто радовался тому, что все так хорошо складывается.

Доведя ее до дому, Василий Васильевич сразу стал прощаться. Но все-таки спросил:

— На выставке были?

В те дни все говорили о выставке картин, спасенных нашими солдатами. Картины эти вскоре должны были перекочевать на родину. Она сразу поняла вопрос. Нет, не успела побывать. Он словно бы даже обрадовался и пригласил ее на выставку.

Через полгода она стала его женой. Почему? — сама как следует не понимала. Нет, она не влюбилась. Но это был такой человек, которого она легко допустила до себя. Без всякого внутреннего сопротивления, хотя и без восторга. Сколько же можно, в самом деле, куковать в одиночестве? А он так деликатен, мягок. Так любит ее.

Он был не святой, был даже дважды женат. Но первая жена ушла от него, а вторая умерла после неудачной операции. Дочь от первого брака выросла и вышла замуж, живет в Москве. А он одинок. Кандидат наук, человек обеспеченный. У него прекрасная комната в центре.

Поселились они у нее в однокомнатной квартире, чтобы потом поменять жилье и съехаться окончательно. Регина детей не имела. Продолжая свою любимую работу, много выступала. Иногда приносила с концертов букеты цветов. Муж и не думал ревновать. Он удивлялся, когда цветов не было.

Василий Васильевич приводил ее к себе в институт на праздничные вечера. Однажды попросил у нее разрешения взять отводок от филодендрона, украшавшего ее комнату. Его лаборантки решили озеленить аудиторию, а это растение неприхотливо и очень декоративно. Лиана с корнями, висящими в воздухе... Регина тотчас отрезала хороший отводок, завернула во влажную чистую тряпку, а потом в газету. Ведь даже у отвода листья большие, на длинных черенках.

Муж потом спрашивал, как ухаживать за цветком, чем поливать. Регина рассказала о мясной воде, о касторке. Видно, ему доставляло удовольствие передавать ее указания лаборанткам.

Однажды в вечерней газете появилась статья о ее концерте,

о ее таланте. Автор захлебывался в восторге. Так и видно было, что он старается сдержаться, умерить свой пыл, но ему это не всегда удается. Василий Васильевич узнал от жены, что автор статьи, журналист Кулик, дважды приходил к ним домой для беседы с ней. Собирал материал.

После статьи Регина как-то изменилась. Стала так уставать, что засыпала сразу. Спали они отдельно. Когда он подходил к ней со словами ласки, она отворачивалась или прикрывала глаза, говоря: «Васенька, твоя жена постарела... Ей бы поспать немножко...» Он жалел ее, старался не сомневаться. Стареть ей, правда, рановато — что такое сорок лет для женщины в наше время! Да и выглядела Регина на тридцать, не больше.

Жили они по-прежнему в ее квартире: заниматься обменом было некогда. Однажды кто-то ей позвонил при нем. Разговаривала она как-то путано, нервно. В другой раз ей позвонили, когда она была на концерте. Василий Васильевич спросил, что передать. Ответили: скажите, что звонил Кулик.

Тот самый? Василий Васильевич передал. Она вспыхнула, посмотрела на мужа как-то проницательно. Ничего не сказала. Вечером он увидел ее на кухне в необычном состоянии: она плакала.

— Что ты, Регина? Кто тебя обидел? Ты только скажи, я ему выдам по первое число!

Она нервно вытирала глаза. Стала совсем некрасивой: нос распух, веки набрякли, покраснели.

Она молчала весь вечер. А когда разделась и легла в постель, когда он подошел к ней, чтобы нежно дотронуться до плеча, она вдруг присела на постели и сказала:

— Вася, я не могу обманывать. Что хочешь обо мне думай, но врать не умею. Я к тебе дружески отношусь, я не люблю. Прости меня, ты очень хороший. Но жить я не могу без другого человека.

Он так и замер рядом, опустился на стул. Молчал. А она сбивчиво говорила о том, что не станет себя уважать, если будет жить с ним, не любя. Что им надо развестись, и как можно скорее.

— Ну пусть... Но зачем разводиться? — спросил он тихо. — Ну хорошо, жить будем врозь. Но разводиться зачем? Может, это у тебя пройдет...

Она настояла на разводе. Все иное казалось ей бесчестным. А между тем интерес ее к журналисту Кулику начинал ослабевать. Вскоре он и вовсе сошел на нет. Этот Кулик был не промах. Однажды, проезжая на автобусе, она увидела его под руку с весьма интересной черноглазой дамой. Это бы еще ничего не значило, но, проезжая буквально в трех метрах от них, Ре-

гина уловила его взгляд, обращенный к даме. Точно таким взглядом, ну точно же таким, он одаривал и ее. Нет, Регина была не из тех, кто подсматривает, выслеживает, кто выпрашивает внимание. Ей стало даже легче: она потеряла к нему всякий интерес.

Жизнь катилась своим чередом. Регина ездила на гастроли в Польшу. В их бригаде был москвич, талантливый чтец, любитель поэзии. Он стал приезжать в Ленинград, а она ездила к нему в Москву. У него был какой-то необыкновенный, завораживающий голос. Тихий, спокойный, но и властный. Бархатный? Можно сказать и так. Слуховые нервы были у нее, видно, развиты очень сильно. Не так важна даже внешность мужчины, а вот голос...

Потом были другие знакомства, другие встречи. Она поняла: личная жизнь не сложилась. Ни семьи, ни детей. Будем же благодарны и за те временные радости, которые нам выпадали! Она зарабатывала достаточно, чувствовала себя самостоятельной, ни от кого не зависела.

Шли годы.

Однажды ей позвонили. Незнакомый женский голос сказал:

— Регина Сергеевна... Завтра мы хороним Василия Васильевича. Все-таки вы с ним прожили шесть лет. Если хотите прийти на гражданскую панихиду, то мы собираемся на кафедре в одиннадцать тридцать. Придете? Спасибо. У него ведь в Ленинграде родных нет. А дочь, как на грех, в заграничной командировке. В Штатах, прилететь не успеет.

Боже мой! Умер... Она приехала минут за пятнадцать до назначенного времени. Какие-то незнакомые женщины посмотрели на нее вопросительно. Но появилась та старая лаборантка, с которой он ее когда-то знакомил. Поздоровалась. И сказала:

— У нас еще есть время. Хотите взглянуть на свой цветок?

— Какой?— не поняла Регина.

— Идемте... Вот тут.

Они вошли в большую аудиторию. На Неву смотрели окна трехметровой вышины. Солнце лилось в эти три огромных окна.

Оно слепило и поблескивало на широких, веерами, листьях огромного дерева.

Регина не сразу поняла, что это такое. Большая деревянная бадья на полу. Из нее — ствол, как у хорошей многолетней березки, только темный. И раскидистые ветви по всей комнате, вдоль и поперек всех трех окон. Словно филодендрон развел свои мощные руки в стороны. А на них — сочные, громадные, здоровые листья. Ничего похожего на жалкие листки у нее в комнате. Но света они не заслоняют, как ни странно. Неуже-

ли это — та малость, которую она, завернув в тряпицу, когда-то дала Василию Васильевичу?

Лаборантка молчала. Но не спускала с Регины глаз. Смотрела почти мстительно. Не понять, не полюбить такого замечательного человека! Его же здесь все обожали. Да она бы на месте Регины...

Регина смотрела на дерево с удивлением. С ужасом. Филодендрон! Вот во что он вырос в хороших, благоприятных условиях, когда было вдосталь света, человеческого внимания! Не такой ли была и любовь этого человека? Щедрая, открытая, без малой доли эгоизма. Красивая. Почему же так случилось? Почему она не смогла его полюбить?

Филодендрон стоял, не колебля ни единого своего листа. Могучий, сильный, огромный. Тут нечего было добавить. Он существовал и говорил сам за себя.

Тимофей Соколов

ЗЕМЛЯ БЕЗ ГЛИНЫ*

Наша артель отработала свое и собиралась переезжать на новое место. Ключ славился богатым содержанием, вот и набился туда старатель. Перебраться на новое место дело непростое, рискованное, а наш артельный человек тертый, решил прежде кое-что разузнать. С этой целью послали меня на прииск Горелый. А туда пять дней ходу: тайга, горы, дорог нет. Я вырезал из лозы рогатки, устроил между ними свой сидор с продуктами, пришил лямки и отправился в путь.

Промелькнул короткий декабрьский день, наступила ночь. А я все шел и шел по снежной тропе безлюдной долины реки Аллах-Юня. Воздух был густым и жгучим, выдыхаемый пар замерзал на лету и шуршал, как пергамент, что означало градусов под шестьдесят. Мороз поджимал: борода и усы заиндевели, ресницы от инея слипались — моргнешь и не растащишь. А вокруг — никого, ни малейших признаков жизни. По берегам реки уныло тянулись горы, высокие, скалистые. Тишина была неземная. Однообразно повизгивал снег под ногами да изредка раздавался орудийной силы звук трескавшегося льда на реке. Все оцепенело. Казалось, что и бездонная глубина неба застыла и превратилась в лед, готовый вот-вот треснуть и развалиться.

И вдруг прямо передо мной, над вершинами гор, вспыхнули огни: красные, синие, оранжевые. Вздрагивая, они разгорались ярче и ярче, словно что-то вольное и буйное надвигалось на землю. Мне почудилось, что там, за огненным частоколом, шло великое гульбище пришельцев из других миров.

Сколько длилось это видение, не знаю. Вдруг все померкло и исчезло. И снова ночь, безлюдье и адский холод.

Дотащился до зимовья. С треском отодрал примерзшую к косяку дверь, перешагнул порог... А оттуда ударил в нос крепчайший дух старательского табака и портянок. Скинул

с плеч сидор, снял шапку и телогрейку, молча сел на край нар, отдирая сосульки с бороды и усов, все еще находясь под впечатлением виденного.

А в зимовье тепло. Все уже спали, как спят на нарах — вповалку, высунув голые ноги из-под телогреек. Слышался храп с присвистом, с захлебом — спали мертво, и храп никому не мешал. Меня же охватил озноб, да так охватил, что я задрожал всем нутром, каждым волоском, каждой клеточкой. Скорей развязал мешок, достал фляжку со спиртом и стал глотать прямо из горлышка, причем не запивая и не закусывая. Дрожь стала униматься, загорелись щеки, и всей своей тяжестью стала наваливаться на меня усталь: ни рукой, ни ногой шевельнуть не хотелось — спать и только спать, ни есть, ни пить, лишь бы приткнуться скорей. Через силу заставил себя открыть консервы, сунул их на печку. А веки — хоть подпорки ставь.

Никто не спросил меня, кто я и откуда, куда и зачем иду. Это была та самая волюшка, которой многие так дорожат, идя взамен на такие мытарства. Вечером набился сюда бродячий люд, а утром зимовье опустеет. Каждый отдаст за чай, за ночлег и незаметно уйдет, как незаметно пришел. Узкие тропинки в тайге разведут их во все четыре стороны...

Вышел зимовщик из своей каморки, сел на корточки перед железной печкой, поворошил кочергой угли. Его осветило. Какое-то время я смотрел на него безразлично: устал и сидя засыпал. Но этот старик на корточках перед печкой словно окаменел. Медное лицо — даже не лицо, а скорей глаза... Они будто отдельно жили от него и завораживали меня, как гипнозом. Медленно стала куда-то опускаться железная оболочка печки, пропадая в пламени костра; рыжие ветки лиственниц вздрагивали. И в памяти всплыло! Шапка-треух, бушлат с овчинным воротником. И глаза — в медной оправе лица...

— Нет, не может быть,— проговорил я вслух, вздрогнул и очнулся.

Фу-ты пропасть — дрема! Как же так? Тот ведь пропал, замерз! Но он продолжал сидеть перед печкой, убеждая меня в обратном... Я вспомнил, как его зовут, и направился к нему.

— Дядя Липат, здравствуй!— поздоровался я с опаской, все еще не веря своим глазам.

Он встрепенулся от неожиданности, поднялся.

— Не узнаешь?

— Нет, штой-то не узнаю. Сколько людей тут проходит, нешто запомнишь..

— Да нет, дядя Липат! Мы встречались не здесь, в другом месте.— Мне зачем-то хотелось, чтобы он узнал меня.

— А где в другом-то? Может, ты геолог?

— Нет,— говорю,— не геолог.

Старик пристально глядел на меня, стараясь, видно, вспомнить. Но память ему изменила. Да и я, конечно, изменился за это время: повзрослел, отрастил бороду... Не стал его томить, сказал, где мы встречались. Он даже руки вскинул от удивления.

— Да как же не помнить! Век не забуду: кабы не шалаш да не дрова, мне бы каюк там. А остальные-то где?— спросил он.

Я стал рассказывать про остальных, но старик вдруг спохватился:

— Постой, апосля расскажешь. Ты ведь с дороги, устал. Сейчас зайчишку сварю: петли ставлю, попадаются изредка. Да и хлебца принесу — мерзлый-то што за хлеб.— И убежал в чулан...

Сидим мы за большим столом — одни среди спящей таежной братии. Я угостил его спиртом, выпил еще сам и наслаждался зайчатиной. А старик рассказывал мне, как чудом спасся тогда в ущелье на Охотской тропе. Остался он переждать спад воды в ключе. А к вечеру пошел снег, с аршин намело, не меньше, дрова и продукты кончились...

Но ему повезло и на этот раз. Видно, не здесь определила судьба дожить свои дни. На него случайно наткнулись геологи, ехавшие на стан за продуктами: увидели дым от костра и взяли старика к себе. А уже после санным путем отправили на Джугджур.

Я вспомнил, что он печник, спросил про его дела, как обычно спрашивают друг друга при встрече. Я был уверен в его успехе, хотел порадоваться за него, а вышло неловко.

— Плохи мои дела, сынок,— ответил он.— Зря я шел сюда.

— Почему же зря,— удивился я.

— Без дела оказался: земля-то без глины.

— Как без глины?

— Нет в ней глины-то. А без нее как же — кирпич-то не слепишь.

И вдруг я понял, в каком положении он очутился. Стал припоминать: много пришлось мне за эти два года перевернуть грунта. Был торф, галька, камень-плитняк, а глины я тоже ни разу не видел.

— Вот и сижу без дела,— сокрушался он.— А я ведь так не привык. Сложишь ее, бывало, печь-то, и больше хозяина рад. Думаешь, слава богу — еще один очажок закурил. Целые поселки моим теплом жили. Гляну, бывало, зимой, а дымок-то — как тропка в снегу, до самых небес тянется. И радуешься. А это што,— презрительно кивнул он на железную бочку,— дрова лишь жрет: пока топишь — тепло, а перестал — и тепла нет.

А рабочему человеку важно тепло. Мороз-то вон какой!.. За то и любили меня,— вспомнил он с удовольствием.— За первого человека был.

— И как же теперь?— спросил я.

Вздохнул, опечалился:

— Геологи все время обещают: не может она, земля-то, без глины.— И глянул на меня, словно спрашивая: найдут они или не найдут?

— Обязательно найдут,— воодушевил я старика.— Золото нашли и глину найдут. И ты еще поработаешь.

— Да я тоже так думаю,— приободрился он.— А то чего бы я тут сидел в зимовщиках.

И он развернул свои ладони, словно хотел мне показать, на что способны его руки...

Утром мы расстались. Я пошел, оглянулся: он стоял у порога в накинутом на плече бушлате и глядел мне вслед. Шел он сюда по своей особой охоте — закурить еще один очажок на земле...

Прошел еще год. Кончилась моя вербовка, я уезжал домой. Щедро вознаградила меня северная земля, вознаградила не только деньгами — заработал я много,— но чем-то еще, каким-то тайным подарком, который нес я в душе, не смея взглянуть на него и никому не показывая до поры до времени, однако зная, что есть у меня что-то такое, чего нет у других. Была ли то уверенность в себе, особая смелость, сила и радость или что-то еще необъяснимое, но очень нужное тому, кто собирается долго жить.

С далекого ключа в горах, где я работал, надо было долго идти пешком до автозимника, идти той самой тропой, где стояло зимовье дяди Липата. Вспомнил встречу с ним, вспомнил его упорство, с каким он добирался сюда, рискуя жизнью. И как нелепо — земля без глины. И хотя по-стариковски ему было неплохо в зимовщиках, но человек любил свое дело, любил слишком, чтобы променять его на безделье.

И я снова у его порога. Дернул дверь, вошел. Людей полно. Знакомый запах таежного жилья. Но нет ничего милей этой простой полукурной избы иззябшему в тайге человеку. Скинул с плеч рюкзак, бросил на нары и заглянул в каморку: соскучился я по старику. Там был другой человек.

— А где же дядя Липат?— спросил я в предчувствии недоброго.

— Его нет,— ответил мне новый зимовщик.— С самой весны нет. Ушел.

— Куда ушел?

— По своему делу: он ведь мастер — печник. Геолог письмо ему прислал. Гдей-то на той стороне, за перевалом, золото нашли, прииск открыли. И там будто глина есть. Разом собрался. Переправил его на тот берег на лодке, и он подался. Да, боюсь, не дойдет. Мешок-то у него с инструментом шибко тяжел, пошел — аж закачался. А туда, говорят, дня за три не покроешь. Глушь, тайга... Как, дойдет?

— Дойдет,— обрадовался я за него.— Такой куда хочешь дойдет.

Василий Травкин

КОСАЧ*

Заночевав в душном хвойном логове могучей ели, высоко над землей, старый Косач проснулся с рассветом, прошелся взад-вперед по разлапистому, в липких бородавчатых наростах суку, нехотя щипнул раз-другой хвою, почистил клюв о смоляную ветвь и тяжело слетел на поляну, освещенную первыми лучами солнца.

На секунду замер, вслушиваясь в едва уловимое потрескивание леса, в прозрачное и тоже едва слышимое звенение — на краю опушки, на плоских зеленоватых камнях подавал голос ручей.

Косач круто и резко поворачивал голову, косился левым глазом пронзительно и цепко.

Правый глаз он потерял давно, еще в молодые годы, когда жестоко схлестнулся в бою на поросшей волчьим лыком вырубке с таким же, как и он, молодым и упрямо-задиристым тетеревом. Встревоженная, нетерпеливо семенящая аккуратными гибкими лапками по сопревшим косицам травы, серая тетерка сновала за кустами, а они, разъяренные ревностью и близостью обладания, бились из-за нее злобно, насмерть, подскакивая и сшибаясь острыми килями, выбивая когтями кровавые душные перья. В какой-то момент Косач опередил своего увертливого и смелого противника, сбил его, с разгону ударил сухой жилистой грудью, полоснул по пупырчатым горячим подкрыльям закостеневшими лапами, но и сам тут же получил жгуче-резкий удар клювом в голову. Свет справа сразу отсекло, полыхнула на миг едучая темень и остановилась, замерла, окаменела. Он уже не видел соперника, надуто, кособоко отходящего в кусты, он стоял черной, взъерошенной глыбой с раскрытым жарким клювом, и окровавленное веко его дергалось и дрожало, выталкивая разбитую красную ягоду...

Теперь Косач уже стар. О его преклонном возрасте говорили

---

* © «Наш современник», 1981 г.

и неторопливость, солидность, и гордость осанки, и размеренный крупный шаг, и все его слежалое, пахуче-дикое, зачерствевшее, с проседью перо. Легкий свет солнечного утра играл на его черных, отливающих каленой синью крыльях, кровенил широкие пушистые дуги бровей, алмазно сверкал и дробился в агатовом немигающем глазе.

В подлеске, в прелых кустах ольховника, слышались царапающие, шоркающие звуки, и оттуда над самой землей стлался хорошо уловимый запах дремотного пера.

Он знал: еще в разгар токовища на приболотной лесной опушке неказистая, застенчиво сторонящаяся шумливого гульбища серая тетерка снесла среди кочек в ольховнике гладкое рябенькое яичко. Но и потом, повинуясь трепетному зову взволнованной крови, прилетала она на рассвете к болоту на эту куражистую, молодцеватую пляску напыжившихся, браво подскакивающих петухов. Косач уже не ввязывался в драку. Нет, он не боялся молодых, так и напрашивающихся на потасовку соперников. Он и сейчас еще чувствовал силу своего зазубренного и крепкого, как можжевеловый сук, клюва, хлестких крыльев, жесткой сухожильной груди. Просто ему вдруг стало как-то не по себе за эти дурашливые и хвастливые выходки молодых тетеревов. Он брезговал ими и смотрел на них гордым и презрительным взглядом умудренного опытом былых сражений бойца и старожила.

Косач держался обособленно. Распушив плотно окинутую сизым ожерельем шею и расщеперив мощные угловатые крылья, он прохаживался краем волглой опушки, топтал сочащуюся водой грязную лохмушку истаивавшего снега. Но хоть и стар был Косач — слышал он в себе ту же, что и молодые задиры, разбуженную весной неуемную силу плоти, когда нога уже не чувствует под собой землю, а крыло — режущий, сбивающий ветер, и все тело объято какой-то сладостной жаждой, истомой и беспокойством. И вот здесь-то, кособоко топча зернистый, грубо похрустывающий снег четкими крестиками под свое отшельное окатисто-суровое бормотание «бу-бу», и увидел он притаившуюся за ивовым кустом, завороженную гульбой разошедшихся петухов серую тетерку. Он сразу пошел на нее решительно и смело. Она побежала от него в синюю глубь леса, но побежала как-то неуверенно, с оглядкой, поворачиваясь на ходу и робеюще косясь на него то одним, то другим глазом. Он легко догнал ее и резким толчком клюва в затылок остановил. Тетерка послушно присела, и он, накрепко прищемив клювом прядь затылочных перьев, ощутил под собой зыбкость неопытного тела, вздрагивающего хрупкими крыльями.

Он и на другой день, и на третий выискивал, высматривал

прилетавшую к болотине совсем еще молодую подругу и уводил ее поскорее в чащу леса с глаз настырных и завидующих соперников. И вся неделя этой его нечаянной свадьбы пролетела, мелькнула для него, как один беспредельно хмельной и счастливый миг. Только на восьмой день, прохаживаясь по слегка отвердевшей опушке, он чуть не до полудня высматривал, поджидал свою стыдливую подругу, но напрасно — она не слетела, и он понял: больше не слетит. Тогда он почувствовал, как холодный воздух болотной воды прорвался и отрезвляюще окатил грудь. Он вновь, как новорожденный, ощутил лапами сырую землю, увидел отмякшие березняки в сизой дали, бурый, дымящийся паром муравейник, зазеленевшие кочки, преющее остожье, черную зябь по взгорью и синее безоблачное небо в вышине. И сделалось ему как-то покойно, легко, но в усмиренном токе крови продолжала храниться его вера — вера в то, что все, что случилось с ним,— не напрасно и имеет глубокий и тайный смысл.

Косач зажил тихой и одинокой жизнью отшельника, сторонясь непоседливых, то и дело снимающихся и несущихся сломя голову между деревьев петухов, набирающих тело после весенней любовной горячки, измотавшей их силы.

Он днями просиживал в перелеске, прохаживался, на ходу тычась в расщелины пней и вывертывая слежалый листушник, осторожно выступая когтистыми черствыми лапами и вытягивая шею.

Но это не было бездельничаньем старого, расчетливого ленивца. Все его теперешнее существование поддерживалось какой-то единой трогательно-нежной надеждой.

Уже вовсю цвел ольховник, буровато-пурпурные сережки покачивались при дуновении ветра и осыпали густую пыльцу. Косач держался ольховника, не отлетал далеко, а словно околдованный, приговоренный, обхаживал кругами этот окутанный тайной куст, в то же время боясь приблизиться к нему и нарушить покой терпеливо млеющей ожиданием тетерки. Иногда издали, из глубины хвойного подлеска, он видел ее, сошедшую с гнезда, отряхивающуюся и разминающую затекшие ноги,— она живо бегала вокруг гнезда, останавливалась, замирала и, не учуяв опасности, летела на кормежку...

Старый Косач переступил ребристыми, шелушащимися лапами, скривив голову, посмотрел вверх, на струящийся меж набухших ветвей свет.

Было самое время подняться в чистый, напоенный запахами прели и отмякшей коры воздух. Подняться на крыло ему было трудно, он весь напрягался, мучительно собирал силы, но в воз-

духе был все так же стремителен, крылья несли его легко, и он без труда одолевал встречный ветер.

Косач решился наконец. Присев, коснувшись килем шильцев пробившейся зелени, он изнемогающе невероятным усилием оттолкнулся, одновременно яростно заработав крыльями и рывком до хруста позвонков оттянув шею, и увидел, как ринулась навстречу и сразу стала круто уходить вниз земля. Слегка задев распростертые ветви, он взлетел над лесом, вышел на простор и ощутил жгучую сладость свободного полета. Попеременный бой его крыльев был прекрасен в своей скупой точности. Набрав разгон, он останавливал на секунду косящие вниз крылья и снова попеременно бил со свистом. Воздух остро обтекал его слегка развернутую голову, глаз наливался соленой влагой, свет застилало, но он уже видел извилистый, в низких берегах, плескучий ручей и знакомый перекат.

Круто развернувшись на ровно застывших крыльях, Косач спланировал на полюбившийся, скрипнувший под ударом когтей галечник. Задубевшие, закаленные непогодой и временем лапы едва ощутили холод ручья. Как всегда, первым делом вслушаться, настроиться на опасность,— а глаз уже прицелился к галечнику, отмечал посверкивающую зернистость крупного промытого песка, известковое белое крошево. Косач не чувствовал голода, но отчего-то посасывало, подташнивало, и он ощущал ослабляющую тело пресноту в клюве и горле.

Шагнув встречь течения и встав на осклизло-плоский булыжник, Косач опустил голову и начал выбирать со дна крошечные обкатанные камешки. Кисловатый их вкус взбадривал и наполнял успокаивающей остротою томительную опустошенность груди. Наклевавшись вволю и запив обжигающе-стылой водой, он поднялся на берег и постоял, умиротворенно всматриваясь через поле на дымящую последними легкими дымами деревню.

На склоне холма хорошо были видны старые осевшие избы, огороды, чернеющие ровными грядками, кособокий, окинутый зеленью плесени тын. Еще ниже стоял, краснея боком в бурых пятнах, тарахтевший трактор с прицепленной сеялкой. Около трактора косолапо топтался низенький мужичонка в замасленной зимней шапке с отвисшим, болтающимся ухом.

Косач смотрел на деревню настороженно, пугливо, с омерзеньем, чуя чадный, тошнотворный дух работающего трактора. Всю жизнь он сторонился человека и его жилья и на собственном опыте знал, что близость людей приносит одни только неудобства, а часто боль и страдание. Много раз приходилось пережидать, затаившись в траве, шумные, бесцеремонно-хозяйские шаги. По молодости, случалось, засиживался, таился не раз слишком рисково — до того, что едва не бывал раздавлен

сапогами,— и бросался тогда сквозь ветви в самый последний момент, обдирая грудь и крылья. Много раз с затаенной тоской слышал, как противно визжат пилы и рухают дремучие ели — его завсегдашние пристанища и хранители. Всегда старался Косач облетать и полные гула и копоти лесовозные дороги. И часто брал, бывало, заботу на себя — уводил молодняк в чащу, заслышав приближение грузовиков. Человек наступал, теснил отовсюду, приходилось быть все время начеку.

Косач увидел, как в деревне из проулка выбежала лохмая собачонка, будто смешная копия мужика в зимней шапке — с таким же неряшливо болтающимся ухом. Села на задние лапы, уставилась с любопытством на трактор. Мужик схватил палку, запустил в нее. Собачонка, отскочив, забежала с другой стороны, залаяла с визгом, захлебываясь. Мужик засуетился, нагнулся для обмана, как бы подхватывая новую палку,— рядом ничего не было,— махнул рукой, закричал что-то истерично, дико. Но собачонка настырно так лезла, так и подступала, приседая и скалясь.

Мужик бросился к сеялке, выхватил из ящика ружье и торопливо, не прислоняя к плечу приклада, выстрелил. Просверкнули белые искры, гул прокатился по полям. Собачонка завертелась клубком, как бы стараясь догнать свой отвисший хвост. Вдогонку первому выстрелу резанул второй. Собачонка отлетела в сторону и, вытянувшись, затихла.

Из-за огородов вышел второй мужик — высокий, жидконогий, — остановился над застывшей собачонкой, покачал головой, стал что-то говорить мужику в шапке, широко разводя при этом длинные руки. Потом схватил собаку за хвост, оттащил в тень под огороды, отряхнул о штаны ладонь и поднялся в кабину. Мужик в шапке, закинув ружье за плечо, прыгнул на подножку сеялки, схватился за поручень и махнул рукой. Трактор, отрыгнув облачко жирного дыма, тронулся, сеялка заприскакивала, задребезжала.

Старый Косач взлетел в тревоге, опасливо озираясь. Низом достиг заветной поляны и сел в вершину ели, на которой довелось ему провести прошедшую ночь. Похватав хвои, он опять замер, напряженно уставившись немигающим глазом на исходящее паром поле, зажатое со всех сторон хвойником. Тревога томила и сковывала. И не о себе он тревожился в эти минуты. Там, в кустах, хоронилась его тетерка, и он опасался, что те, только что отгремевшие, выстрелы снова всколыхнут воздух и прервут, погубят это тайно вызревающее чудо.

В его глазу все сыпались и сыпались острые искры, и он слышал оглушительный, знобко пронизывающий гул. И будто бы снова жгучие когти секанули по груди, по крыльям — сдела-

лось душно, тошно, и все полетело кувырком ему навстречу.

...А было это давно, теплой сухой осенью. В ту пору он часто отлетал жировать на белые, спутанные овсы вокруг нежилого хутора. Гнутые, отяжеленные налитыми метелками стебли тихо шелестели, пахли густо, сытно. И было интересно пробиваться по закрайку под частое потрескивание сталкивающихся колосьев, на ходу выбрасывая точный, прицельный клюв. Зерна легко скользили в тесном горле и плотно ложились в зобу.

Он продвигался в густом сплетении пылящих овсов неторопливо, раздвигая ломкие стебли налитой грудью, высоко поднимая крючковатые лапы, и сквозь обвисшие метелки виделось ему бездонно-голубеющее небо.

Шаги он услышал еще издали. Присев и вытянув голову, замер: авось пронесет мимо, выждать надо — такое бывало не раз. Плотный, высокий овес укрывал надежно, и нужно было только набраться терпенья. Шаги ширкали уже близко. И тут он услышал суматошный, панический взлет совсем еще юного петушка — тот плутал, упивался раздольным обилием корма в глубине поля: отчаянно заколотили крылья, зашелестели метелки, над спутанным овсом прошел вихревой ветерок, и Косач увидел, как петушок сломя голову прямо-таки ввинтился в тонкоствольный, охваченный золотым увяданьем лес. Неведомая сила подхватила и Косача. Он взлетел, выбивая кончиками упругих крыльев сыпучие чуткие зерна, и увидел на бровке оторопело застывшего человека. Но человек тут же опомнился, вскинул воронено взблеснувшее ружье — струей брызнули колкие искры, рвануло воздух и удушливо шибануло встречь паленинной и кислятиной. Уже напарываясь на очерствевшие ветки, Косач почувствовал обессиливающие тело жжение и боль. Лес качался, деревья в нем дергались и сплетались вершинами, таращились какими-то невероятно утолщенными и кривыми сучьями, земля внизу перекосилась и то и дело уплывала, терялась холодными провалами. Косач не мог лететь, правое крыло совсем перестало слушаться. Последними изнуряющими усилиями он удержал себя еще секунду и стал падать, сбивая листву и ломая ветви. Земля приняла его мягко, подставив хорошо застланный упругий бок. Он кувырнулся в глубокий, слегка влажный мшаник, но тут же вскочил и, подталкиваемый неусыпным чувством спасения, побежал, неуклюже волоча раскрытое запестревшее крыло, пачкая нежную зелень мха красными полосками крови.

Забившись в широкие шершавые листья папоротника, Косач вслушался. Лес был затоплен привычным шорохом слетающих листьев; нудно дребезжали, переругивались на долговязой рябине с мелкими гроздьями увядших ягод вечные склочницы

трещотки; в буреломнике вскрикивала одинокая сойка. Но как ни напрягался слухом Косач, шаги больше не тревожили знакомый лесной гул. Скривив голову, он посмотрел в гулящие вершины деревьев и почувствовал внезапную их недосягаемость — грудь заняло саднящей тоской, даже боль кровоточащих ран была ничто в сравнении с этой нахлынувшей тоской по утраченному полету. В воздухе еще кружился сизый его пух, и два склеенных пятнистых пера висели, покачиваясь, задев за оранжевую березовую ветку.

Косач потянул поврежденное крыло, оно подалось, но потревоженная рана заныла с новой остротой, и все тело охватило горячечной ознобью. И еще жгло грудь — будто полоснули по ней немилосердные когти отчаянного соперника.

Косач прижался к прохладным листьям папоротника и затих. Уже сгущались сумерки, трещотки наконец замолкли, и только шелестели вокруг облетающие на землю листья.

Ночь он провел в бредовой, ошеломляюще жаркой дремоте. Но все же время от времени, затаив дыхание, он прослушивал ночь, угадывая в ней знакомые мирные звуки. На рассвете Косач выбрался из смятых, окропленных кровью листьев и медленно потащился меж деревьев, ловя клювом густой и крепкий запах мокнувшей осоки. Мох проседал под лапами все податливей, скоро зачмокала, просачиваясь, вода, и вот уже показалось полузакрытое листьями-падалицей блюдце.

Косач, замочив плотную опушь ног, дотянулся сухим горящим клювом, подтопил слипшиеся листья и долго пил, торопливо запрокидываясь головой, отдающую торфом и затхлой прелью воду.

День наступал опять сухой и теплый. Солнце, по-осеннему спокойное и доброе, проглядывало сквозь подсохшую и сильно поредевшую листву и как будто с застенчивой улыбкой ласкало и пригревало землю.

Косач, несмотря на слабость, чувствовал удивительную просветленность и спокойствие утреннего леса. Это бодрило его, придавало силы и уверенности в скором счастье вновь обретенного стремительного полета. Он высоко поднял голову, осмотрелся и, слегка подтянув крыло, пошел, держась тесно стоящих елочек, отдыхая и хоронясь порой под их нависшими густыми лапами. Лес поднимался по ровной солнечной стороне взгорья, просвечивался насквозь, и Косач еще издали мог рассмотреть и кустик плотного можжевельника, и овальный муравейник, и пни, и поваленное дерево — все те знакомые приметы, по которым он определял, в какую сторону двигаться. Он помнил облюбованное еще в начале лета заветное место возле старой

березы, где часто купался в прокаленной трухе, спасаясь от нестерпимого зуда.

Древний сосновый пень истлел, развалился выветрившимися светло-коричневыми головешками. И в легко рассыпающихся под грудью и палящих головешках он и устраивал себе обильные и мягкие купанья, исцеляющие от простудных зимних болячек и вцепившегося в кожу гнуса.

Он прилетал сюда обычно после полудня. Ложился в труху рядом со старой ямкой, взъерошиваясь, раскрывая каждое перышко, загребая крылом, шеей и клювом. Он набивал перья горячим сосновым тленом и, сомлев, закрывал глаз, чувствуя, как смолевой порошок прожигает кожу, утоляет зуд и все тело успокаивается, отдыхает. Так лежал он долго, только изредка встревоживался, трепыхался, подгребая и набрасывая свежей пыли — омолаживал ее тупеющую едучесть. Потом он поворачивался на другой бок, опять поглубже зарывался в сосновые головешки и, млеюще закрыв глаз, вытягивал запыленные желтой трухой крыло и ногу.

Поднимался Косач неуклюже, набитые смолевой пылью перья топорщились, тело было тяжелым, но, тщательно отряхнувшись, он ощущал легкость необычайную. Очищенное перо льнуло прохладно и плотно, окрепшая кожа туго стягивала грудь, а крылья чувствовали уверенность и резвую силу...

Где-то на середине взгорья он увидел в широкий прогал знакомую березу с огромным черным наплывом у комля, гладкие бугорки в окружении кустиков усохшего калгана и, спотыкаясь, обрадованно заспешил под эту березу.

Перетертая в порошок труха слегка зачерствела, покрылась крупчато-желтоватой корочкой, но и сейчас Косач чуял, как неистребимо пахло от нее вековым духом истлевшей сосны. Он выбрал самое мягкое место развороченного тлена, прилег на здоровое крыло и стал потихоньку втираться в податливое крошево, перемогая нудное нытье ран. Ему удалось утопить тело почти полностью. Полежав недвижимо, он, поводя взад-вперед клювом, осторожно набил трухой перо больного крыла. Крошево было сухое, но уже прохладное, плотное, и боль все еще кровоточащих ран, густо присыпанных смолевой, утоляющей жар пылью, сразу отпустила, и Косач облегченно вздохнул.

После лечения он долго сидел, нахохлившись, в кустах, но к вечеру почувствовал голод и вновь решился идти на овсяное поле. Выйдя к полю, он прошелся закрайком леса, чутко вслушиваясь при каждом шаге. И в овес вошел крадучись, пригнув голову, и не набросился с ходу на свисающие молочно-желтые сосочки — сдержался, и, только отойдя далеко в глубь поля, остановился, и принялся с прищелкиванием цапать зерна.

Так прошла неделя. И каждый день он купался в живительной, подбирающей мокроту и рубцующей раны пыли. Тело его быстро крепло и набирало резвости. И всю неделю стояла солнечная и тихая погода, а когда похолодало и накатил обложной мелкий дождь, Косач, спасаясь от него и суясь под ветки, вдруг почувствовал, что может летать, и, осторожничая, поднялся в воздух и сел в глухую крону старой ели.

Назойливый гул трактора приближался. И вот уже в прогале среди густо зеленеющих еловых лап вспыхнул его красный бок. Мужик стоял на сеялке вертляво, то и дело перехватывал поручень, потом принимался ходить по подножке от одного колеса к другому и, вытягивая шею, поглядывал по сторонам, и трепаное ухо его шапки болталось как-то бесшабашно и глупо.

Трактор выехал к полю и остановился. Почти следом подъехал еще трактор — синий, на разворотливых высоких колесах, с груженой тележкой. Мужик в шапке забрался на тележку, стал сбрасывать на землю мешки. Он кидал их с какой-то злостью, поддавал вслед коленкой и даже не смотрел, как они падали. Один мешок лопнул, и на солнце взблеснули рассыпавшиеся зерна.

Синий трактор уехал, а мужик все так же бесцеремонно, резко вытряхивал мешки в сеялку, просыпая на подножку, на землю живые, текучие семена.

Трактор тронулся по полю, и тут же невесть откуда налетели грачи, закружились, загалдели. Мужик что-то кричал им, показывал кулак — грозил. Но птицы бесстрашно парили над машиной, садились на тяжелую, еще не проветренную землю, важно вышагивали.

Терпенье мужика лопнуло быстро, уже на втором круге. Он схватил ружье, оперщись об ящик, изладился и бабахнул. Грачей сдуло как ветром — поднялись разом и, горланя и перегоняя друг друга, рванули к лесу.

Косач сидел на суку, им владела теперь какая-то вызывающе-упрямая терпеливость. Он смотрел на трактор презрительно и смело, не забывая все время при этом затаившуюся в ольховнике тетерку. Он словно бы понимал, что ее покой, безопасность зависят сейчас от этой его бесстрашной выдержки, терпенья и что взлет его послужит ей сигналом пришедшей беды.

К обеду, когда трактор уже обкатал почти все поле, из леса со стороны деревни вышла с раскорякой-меркой на плече молодая простоволосая женщина в глухой, плотно обтягивающей грудь кофте.

Трактор остановился и, отрыгнув черное облачко, смолк. В воздухе разлилась тишина, и все вокруг словно бы просветлело. Тракторист подошел к женщине, нескладно переставляя

длинные затекшие ноги. Нехотя прикосолапил и мужик в шапке.

— Похлебкин, зачем ты Пушка-то убил, помешал, что ли? — с укором, расстроенно спросила женщина.

— А-а! В душеньку их мать, развели — житья нету! — сказал мужик, сплюнул и отвернулся.

— Бабушка-то Параша голосит на всю деревню, вот обожди — задаст тебе жару. И с ружьем ездишь — зачем? Штрафу захотел? Гончаров увидит — пропишет сразу...

Косач, по-прежнему хоронясь в еловых зарослях, слушал разговор людей внимательно, будто понимая их странный язык.

— Штрафу! Штрафу! Конешно! — зло закрутил головой мужик.— Вам-то што — посылаете! А како тут, а? Этти горлодеры — грачи-то почтенные — того и гляди, в рот навалют! На, смотри, нюхай! — Он сдернул шапку и сунул ее в лицо испуганно отпрянувшей женщины.

Тракторист заржал, вытягивая и без того длинное худое лицо, дрыгая подгибающимися коленками. Женщина воткнула мерку в землю, прошлась полем, остановилась на обочине.

— Похлебкин, ты поаккуратней загружай-то, смотри — насыпал, давай подгребай... А почему ты без респиратора сеешь? Где он?

— Намордник-то? А ты сама напяль, поработай. Душит! Совсем невозможно!

— Как ты не понимаешь, Похлебкин, семена-то протравлены — это же яд! Надышишься, а нам отвечай. Надень, надень.

— А-а, в душеньку мать, ни хрена не сделатца! У меня, чай, нутро луженое,— и мужик захохотал, захлопал нетерпеливо ладонями.

— Надень, надень, Похлебкин, шутки плохи.

Мужик досадно махнул рукой, однако полез в карман, достал свернутый резиновый колпак, долго, нескладно натягивал его на лицо, хлопая резиновыми тесемками. Надев, повернулся туда-сюда, развел недовольно руки. Круглые стекла колпака блестели, ястребино горбатилось железное переносье, над подбородком висела, как кляп, массивная в дырочках шайба.

Тракторист, взглянув на мужика, опять заржал, задрыгал коленками:

— Ой, напугаешься! Как шкелет — страшилище! Так и ходи вот, не снимай!

Заулыбалась и женщина. Но мужик быстро сдернул колпак, взъерошив жидкие, слипшиеся волосенки.

— Ну невозможно же, какую душегубку придумали!.. Того бы запихнуть, кто делал! — сердито сказал мужик, засовывая колпак в карман.

Женщина не стала больше настаивать. Прошагала поле вдоль и поперек меркой и скрылась в лесу.

Скоро уехал и трактор, но еще долго держался над полем, стлался в воздухе тяжелый запах угарного газа; он тянул на лес, но набухшие ветки, сочная хвоя, восходящие токи преющей падалицы спасительно обрывали его, глушили, и уже за первым рядом деревьев и кустов прочно стояла свежесть молодой весенней земли.

До вечера Косач сделал вокруг заветного куста два-три неторопливых круга. Тетерка сидела плотно, он слышал иногда лишь осторожное шуршание крыла и сразу чувствовал застойность потного пуха — тетерка, видимо не вставая, поднимала, топорщила уставшее перо и рылась в нем своим коротеньким проворным клювом. Косач поднимал голову, наставлял ноздри и с трепетом вдыхал спокойный запах подруги.

В прелых листьях он находил мягкие и неповоротливые белые личинки червячков, и ему так и хотелось позвать тетерку, но все та же сила свершающейся тайны удерживала его. Он медленно, придирчиво расклевывал личинку и проглатывал ее нехотя.

На закате Косач вышел к полю и встал под широкий ветвистый еловый сук, косясь на изборожденную, охваченную закатной розовостью землю. Чадный дух уже выветрился, и тянуло с поля пресното́й расщевеленной почвы.

Набравшись решимости, Косач взлетел, пересек поле, сделал большой круг над лесом, над огнищем — размялся перед сном — и возвратился на закраек поля. Его взяла легкая одышка, и он некоторое время стоял с раскрытым клювом, часто вдыхая сырой и резкий воздух.

Окропленная первой зеленью луговинка, на которой он стоял, была истоптана, смята ребристыми колесами и еще пахла затхлостью мешковины. И рассыпанные по луговине пузатенькие зернышки белели всюду среди травы, словно выпавший град.

Косач хорошо помнил эти слегка сплющенные, гладкие, покалывающие язык семена и знал их вкус — нежно пригарчивающий, сытный. Неторопливо, делая паузы, как бы продлевая удовольствие утоления голода, он клюнул раз, и другой, и третий и сразу почувствовал неладное. Зерна легли в зобу, но он чувствовал их горячий след — язык и горло щипало, клюв наполнился едким холодом, и в обильно подступившей слюне он ощутил привкус дикого чеснока, на который его порой поманивало в конце благодатного лета.

Растерянно вытянув голову и щелкая мокрым клювом, Косач услышал приближающийся плеск крыльев и, повернувшись,

увидел в густеющем сумраке воздуха тетерку, она уже опускалась, трепеща пером и раскрыв перед ним маленькую овальную грудь.

Ужас охватил Косача. Заманивая подругу, он побежал к лесу, но, увидев, что она осталась стоять, недоуменно дергая головой, вернулся и стал торопливо, жадно хватать ясно белеющие на темной луговине зерна. Тетерка, насторожась, подходила, и он вдруг понял, что склевать все семена, очистить луговину ему не успеть. Тогда он выпрямился и бросился тетерке навстречу. Он ударил ее грудью и больно клюнул в спину, выдрав клок перьев. Тетерка, взмахнув крыльями, отлетела, повернулась к нему боком и, обиженно сжавшись, присела. Но он не оставил ее в покое и снова налетел, с исступленной яростью колотя клювом и крыльями. Тетерка поняла: он гонит ее — и, увернувшись от его нового наскока, поднялась на крыло.

Косач трудно дышал. Какое-то время, расщеперив крылья, он медленно ходил по луговине, но одышка не проходила. Наоборот, она становилась все сильнее, он чувствовал секущую боль в груди, горло жгло и сушило, а с широко раскрытого клюва капала слюна. Нестерпимо хотелось пить, и он решил было слетать на ручей, но только с тоской посмотрел в зеленеющее, с наклюнувшимися звездочками небо — крылья обессиленно вздрагивали, не слушались. Пошатываясь то и дело и, чтобы не упасть на бок, опираясь о землю крылом, Косач побрел по полю.

Ему казалось, что он тащился целую вечность, измученно передвигая ноги в проседающей липкой почве, пачкая распущенные крылья, а отошел от закрайка совсем недалеко. Тяжелый комок глины встал на пути, и Косач, одолевая его, тыкался грудью, царапал судорожно скрючивающимися лапами. Но ему суждено было остановиться, остановиться уже навсегда. Он упал, подмяв запачканное крыло, уронив голову на влажную землю, неподвижно прижавшись спиной к холодному спрессованному комку глины. Но еще долго, медленно угасая, светилось, мерцало в его крупном застывшем глазу прозрачно-зеленое остекленевшее небо...

Юрий Трифонов

СМЕРТЬ В СИЦИЛИИ*

Что можно понять за несколько дней в чужой стране? Можно ли догадаться о том, как живут люди? И как умирают? Вот уже неделю я разглядываю Сицилию как в увеличительное стекло. Я мог бы сказать: Сицилия — это жаркая комната с окнами на море, где с раннего утра надо опускать жалюзи, иначе скоро нечем будет дышать. Но с полудня в Сицилии вполне терпимо, потому что солнце уходит на другую сторону дома. Ночью в Сицилии неумолчно грохочет море, оно рядом, под балконом, под скалами. Сначала от шума моря не спишь, потом привыкаешь. Труднее привыкнуть к треску рыбачьих лодок, они почему-то особенно бойко и оглушительно трещат по ночам, носятся вблизи берега, но жители не протестуют. Они любят есть рыбу. А без ночного треска моторов рыбы, видимо, не бывает. Часов с шести вечера в Сицилии устанавливается замечательная прохлада и ясность в воздухе — отчетливо виден весь громадный сине-голубой залив, керамический склон горы на противоположной стороне и отдаленная вершина на горизонте, белеющая треугольником, как парус. Жители Сицилии разговаривают на английском и немецком языках, ходят по вестибюлю босиком, в купальных халатах, показывая голые, не очень красивые ноги: в большинстве они люди пожилые. Ночью над морем встает красная луна, и тогда вспоминаешь, что рядом Африка.

Говорят, что сезон кончился. В августе здесь было все подругому. Здесь было много людей, шумно, дорого, мучительно жарко, невыносимо. Я удивляюсь: еще более мучительно?

В Монделло, рыбацкой и одновременно курортной деревушке в двенадцати километрах от Палермо, происходит встреча писателей, присуждение местной премии, так называемой премии Монделло, и дискуссия на какую-то импозантную тему. Что-то вроде о горизонтах прозы. Я упал в эту жаркую комнату с потрескивающими жалюзи — когда их поднимаешь, они, слегка

потрескивая, почему-то медленно, но неуклонно сползают вниз, вызывая впечатление неведомого живого существа, может быть, таинственной рыбы с океанского дна, выброшенной на берег, прибитой к моему окну и доживающей здесь последние минуты,— я упал сюда прямо с московского аэропорта, где было холодно, хмуро и лил дождь.

Когда писатели собираются вместе для разговора на возвышенные темы, например, о том, что есть искусство и зачем оно нужно, они обычно говорят общеизвестное. Редкие ценные мысли, которые есть у каждого, они стараются приберегать для бумаги. Я тоже говорил общеизвестное. Насчет того, что роман не умер и не умрет никогда. Писатели пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов на всех своих встречах защищают роман, это своего рода писательская молитва, обязательная, как «Pater noster» перед сном для католика, и я решил не отставать от других. Плохо представляя себе, кто именно нападает на роман и грозит ему гибелью, я твердо и недвусмысленно заявил злодеям, что они этого не дождутся. Роман будет жить! Нельзя допустить, чтобы роман исчез из нашего обихода. А как же люди будут убивать время в промежутках между телевизионными передачами? И еще сказал, что люди, объявившие о кризисе романа, представляют себе это чем-то вроде нефтяного кризиса: как нефть иссякает в недрах земли, так воображение иссякает в умах человечества. Пришлось встать на защиту не только романа, но и человечества. Я сказал, что воображение людей не иссякнет. Со мною не спорили. Все говорили примерно то же самое. Напоследок я заметил, что меня интересуют не горизонты прозы, а ее вертикали.

Вечером, спустившись от нашего отеля, который стоит на взгорке и на мысу, по узкой набережной к площади, где все освещено, как в праздник, где кусками продают осьминогов, где шатается бездельная толпа, где робко гудят автомобили, застревающие в толпе, как в варе, где плотно висит в воздухе острое зловоние рыбы, как в гастрономе у «Сокола», когда туда привозят в грузовиках-холодильниках сырую рыбу и пьяненькие рабочие толкают по желобу в подземелье тяжелые ящики, в которых трепыхаются хвосты, а хозяйки с сумками уже выстраиваются в очередь возле прилавка,— и вот, гуляя по набережной, где ничто, кроме запаха рыбы, не напоминает улицу возле метро «Сокол», я думаю о том, о сем, например, о приятном единстве, которое царит между писателями: никто друг с другом не спорит и все говорят общеизвестное. Я *стараюсь* думать о том, о сем, но на деле меня томит одна подлая задняя мысль. Решение примут через день. Премия Монделло вручается ежегодно за лучшую книгу иностранного автора. В прошлом году здесь

вышли две мои книги: московская трилогия «Долгое прощание» и «Дом на набережной». Ну и отлично. Зачем же еще премия? То, что книги вышли, это и есть премия. И то, что я упал на этот остров вблизи Африканского побережья, тоже премия. Не надо о ней думать. Она не нужна. То есть нужна, разумеется, но в то же время не нужна. Нужна и не нужна вместе, одним слитком. Глупо о ней думать. Человек не может себя заставить не думать о глупостях. Какой-то бред: идешь прекрасным тропическим вечером в толпе близ моря, среди запахов сырой и жареной рыбы и не в силах отвязаться от глупостей! Ведь ты на острове финикийцев, карфагенян, римлян, арабов, остготов, норманнов, Рожера Спуллийского, кровавой «Сицилийской вечери», но не можешь ни на чем сосредоточиться, тебя разбирает мытуха, ты маешься из-за пустого, и ты несчастней любого в этой толпе, кому ничего не грозит. Но дело вот в чем: они меня заманили. Сказали, что премия обеспечена, но надо непременно сюда приехать. Боже, да я бы поехал с радостью без всякой премии! Она не нужна мне даром. Я их ненавижу. Всякая премия вздор. Однако подлость в том, что вздор — неотвязный. Теперь одни меня поздравляют, другие шепчут, что они из кругов, близких к жюри, узнали, что премия будет дана чеху, который живет в Париже, а третьи смотрят на меня с молчаливым и тайным состраданием, как на больного, который обречен, но еще не знает своей судьбы. Все нервничают гораздо больше, чем я. Я не понимаю, как надо себя вести. Вероятно, я должен себя вести как человек, который напряжен и взвинчен до крайности, но мужественно владеет собой. Еще бы, дело идет о премии Монделло — не шутка! Здесь, в Монделло, эта премия звучит громко. Правда, в Риме о ней мало кто слышал.

Меня окликает человек по имени Мауро. Он из римской газеты. Он тоже смотрит на меня как на больного, о котором только что узнал плохое от лечащего врача, но врач велел не показывать виду, и Мауро весело спрашивает: не хочу ли я стакан вина? Мы садимся за столик под открытым небом. Мауро невысокий, плечистый, короткошеий, улыбающийся, с астматическою одышкой. Он спрашивает: что меня интересует в Сицилии? Не собираюсь ли я поехать в Сиракузы? В Агридженто? Посетить катакомбы капуцинов в Палермо, где покоятся совсем как живые набальзамированные мертвецы? Там есть девочка двух лет, Розалия Ломбардо, она поражает изумительно живым лицом. Я понимаю Мауро. Он добрый человек. Но в Сицилии меня интересует другое — мафия. И это как раз то, чего нельзя ни узнать, ни увидеть. Тут не любят говорить о мафии. В Палермо я пытался разговаривать с разными людьми: они отмалчиваются или сообщают что-нибудь всем ведомое. По

их намекам выходит, что мафия существует, но выродилась, и разговаривать о ней неинтересно. Мауро, задыхаясь, посмеивается.

— Почему вы ищете ее здесь? Да она повсюду. И в науке, и в литературе. И в составе жюри. И вы сами мафия! — Он ткнул в меня пальцем и подмигнул.

— Нет, — говорю я. — Я не мафия.

— Нет? Ну ладно. Тогда не вы, а я. — Он ткнул пальцем в себя. — Я мафия.

Мы говорим по-английски и понимаем друг друга, потому что оба говорим плохо. Мимо проходит женщина в черном шуршащем платье, в кружевном черном платке, скрывающем лицо — я замечаю лишь длинный нос и мелькнувший в синеватом белке черный, показавшийся мне огненным, глаз, — и делает Мауро приветственный знак рукой, небрежно, как хорошему знакомому. Женщина удаляется, покачивая бедрами. Вероятно, она молода, красива. Мауро вскочил и побежал ее догонять. Он догнал ее возле автомобиля. Они разговаривают. Женщина оглядывается на меня. Я вижу худое, со впадинами лицо старухи и острый, сверкающий взор. Автомобиль стал продавливаться сквозь толпу, вырулил с площади, исчез.

— Я не знаю, — говорит Мауро. — Она тоже пишет книги — истории о драгоценных камнях. Своего рода thrillers. Я брал у нее интервью для газеты три года назад.

— Она не имеет отношения к мафии?

— Возможно. Все имеют отношение к мафии.

Он издевается. Но вдруг говорит серьезно:

— Знаете, что такое мафия? Она — как эти горы. Вы сейчас их не видите, они скрыты темнотой, но вы знаете, что они есть. Они окружают город.

Я смотрю туда, где должны находиться горы, там непроглядно черно, без огней, без звезд.

На другой день Мауро говорит, что вчерашняя дама — ее зовут Маргарита Маддалони — приглашает нас на чашку кофе к пяти часам. Она любит русскую литературу, сама говорит по-русски. И вообще она русская. В знойное послеобеда, когда комната с опущенными жалюзи напоминает душную, непригодную для жизни камеру, я лежу пластом голый во мгле и не могу ни читать, ни спать, приезжает на своем арендованном «фиате» непонятный Мауро — зачем он со мной так возится? Я прыгаю под душ, быстро одеваюсь, и мы едем в горы. Надо проехать километров пятнадцать на запад. Море лежит внизу слепящее и пустое. Редко кое-где белеют лодки. Неужели на этой обугленной керамической скале можно прожить всю жизнь? Синьора Маддалони живет в старинном замке, который, разу-

меется, перестроен и приспособлен для жизни. Его основали норманны, потом он был разрушен, восстановлен, опять разрушен, опять восстановлен, наконец, тотально разрушен во время последней войны и полностью отстроен покойным синьором Маддалони, промышленником и судовладельцем. Синьор умер одиннадцать лет назад. Вот с тех пор от тоски и ужаса перед одиночеством она стала писать книги и написала восемь романов. Ее всегда интересовали драгоценные камни, но не как богатство, а как мистическая сила, повелевающая судьбами людей. Каждый знаменитый алмаз таит удивительные сюжеты, с ним связанные. Один из романов посвящен России, императрице Екатерине и графу Орлову.

Мы сидим на веранде на теневой стороне дома. Смуглый, с курчавыми бачками, в белых перчатках, Сильвио прикатил тележку с напитками, фруктами и печеньем. Я попросил бокал сока. Я не понимаю, зачем меня пригласили. Затевается разговор о горизонтах прозы. Синьора Маддалони говорит, что диктует романы на диктофон, потом их немного правит. По существу, они пишут втроем: она, Сильвио и диктофон. Сильвио записывает текст с диктофона, она редактирует, на всю работу уходит полтора месяца. Зато какой адский, подготовительный труд! Приходится ездить в библиотеки? В Палермо? В Неаполь? Нет, не приходится никуда ездить, у нее прекрасная библиотека, приобретенная мужем в сороковых годах. Все, что нужно, под руками: справочники, словари, книги по истории, географии, минералогии, оккультным наукам, алхимии, мореплаванию. Кстати, меня как русского интересует, наверно, революционная тема: муж собрал бездну книг по истории карбонарского движения, по анархизму...

Мы спускаемся на нижний этаж. Сильвио идет следом, неся поднос с напитками. Библиотека помещается в круглом зале, посредине стоит громадный старинный глобус, о котором я узнаю, что он из Венеции, XV век. Здесь прохладно. Мы садимся в кресла, а Сильвио стоит рядом, держа поднос. Его смуглое лицо неподвижно. Ни он, ни Мауро не понимают, о чем мы говорим. Но Мауро изо всех сил старается хоть что-то понять, он глядит на шевелящиеся губы синьоры Маддалони, на мои, его лицо выражает немое и почтительное восхищение.

— О, я ничего не понимаю!— вскрикивает он радостно по-английски и хлопает себя по коленям.— Но мне нравится русский язык!

Синьора Маддалони говорит по-русски чисто, но с примесью двух акцентов: южнорусского и итальянского, который выражается скорее в интонации, чем в произношении. По-южнорусски она хакает и говорит «библиотэха», а по-итальянски мягко, на-

певно прогибает середину фразы. Почему-то я долго не решался спросить: кто она такая и как попала сюда? Мне кажется, это нескромно. А она не заговаривает. Как будто обычное дело: встретиться двум русским в Сицилии в каком-то пиратском замке...

Когда синьора встает и куда-то удаляется в сопровождении Сильвио, Мауро, наклонившись ко мне, шепчет:

— She is very rich!

— Really?

— O!— Он поднимает большой палец.— О-о-о-о-!— Мауро обнимает голову ладонями и покачивает ею, давая понять, что богатство невыразимое, фантастическое. И после этого с потерянным видом машет рукой и вздыхает: — О!

Синьора возвращается. Сильвио торжественно, приподняв, несет в обеих руках две сумки из плотной бумаги, наполненные чем-то тяжелым. Это подарки мне и Мауро: в каждой сумке по стопке книг в ярких обложках, запечатанных в целлофан. Мы получаем по пять романов Маргариты Маддалони. Синьора помолодому забирается в кресло с ногами, ее поза свободна, движения изящны, линия бедра крута и выпукла, она держит чашечку тонкой рукой, но лицо синьоры — высушенное, коричневое, в сетке морщин, и только глаза сияют. И вот она спрашивает: откуда я? Из Москвы. Она не была в Москве. Так жаль, такая обида: повидала весь мир и никогда не была в Москве. Жила в Ростове, в Новочеркасске, уехала в двадцатом, ей было тогда семнадцать лет и она была красивая. Поэтому все страшное было еще страшней. Прекрасно помнит те годы. Отец был степной помещик из казаков, мать — актриса. На юге в девятнадцатом кипела какая-то нелепая веселая жизнь, туда съехалось много интересных людей, артисты, писатели, выходил журнальчик «Донская волна». Рестораны в Новочеркасске были полны. Все уже трещало и рушилось, но люди не понимали...

— Помню стихи тогдашнего поэта Виктора Севского из «Донской волны». Господи, шестьдесят лет прошло, а чепуха помнится! Когда-то повторяла с восторгом... Хотите, прочту?— И, не дожидаясь ответа, с воодушевлением:

О детях Дона сейчас влюбленно,
Как из бидона, стихи пролью,
О детях Дона, сын Аполлона,
Прошу пардона за прыть мою.
В стране Маори я жил в фаворе,
Забывши горе и жизни вздор,
А тут в терроре, в кровавом море,
С покоем в ссоре таюсь, как вор...

Пародия на Бальмонта. Вы знаете, конечно, это имя? Дальше, прошу прощения, быть может, вам будет не совсем приятно слу-

шать, но все это было так давно, не правда ли? Дальше что-то такое:

Как жизнь свирепа в стране совдепа,
Жизнь хуже склепа! Над жизнью креп.
Жизнь зло-нелепа, два сорок — репа,
Жизнь — три копейки, тринадцать — хлеб.
А там как в сказке, в Новочеркасске!
В лазурной краске волшебный быт!
Хлеб — мягче ласки, мутнеют глазки,
Там жизнь без тряски и без обид.
Мечта поэта! Рулет! Котлета!
И сигареты! И что-то еще...

Потом мы перебрались в Ростов. И не успели бежать, когда отступала армия. Мама еще надеялась как-то приспособиться к новой власти. Папа погиб в восемнадцатом. Но приспособиться не удалось. В меня влюбился один грек и увез нас в Крым, оттуда в Батум. Мама умерла от тифа. С греком я уехала в Константинополь, потом в Салоники, потом оказалась в Берлине — уже без грека,— в тридцатых годах жила в Париже, а с сорок пятого здесь, вот уже тридцать три года...

Я слушаю в ошеломлении — Ростов? Новочеркасск? Двадцатый год? Миронов? Дуненко? Генерал Гнилорыбов? Это как раз то, чем я теперь живу. Что было моим — прамоим — прошлым. И эта казачка, превратившаяся в старую, кофейного цвета, синьору,— каким загадочным, небесным путем мы прикоснулись друг к другу!

— Мой отец из Новочеркасска,— говорю я.— Дядя учился в Атаманском училище. Был военным комендантом Новочеркасска в двадцатом году. А тетка прожила там всю жизнь.

— Да что вы! На какой же улице?

— На Красноармейской. Раньше называлась Ратная.

— Ратную прекрасно помню. А в каком доме?

— Я был у нее лишь однажды, после войны. Какой-то ветхий флигелек, на втором этаже, а когда-то весь дом принадлежал архитектору Кокореву Сергею Васильевичу, теткиному мужу. Он, между прочим, достраивал собор...

— Я училась с его племянницей в гимназии. Он умер, конечно?

— Умер трагически. Был уже старик, не мог двигаться, остался в городе при немцах. Его оклеветали. Там целая история. Знаю лишь, что женщина, которая его оклеветала, сама обнаружилась предательницей и была расстреляна.

— Боже мой!— шепчет синьора.— Как бы я хотела одним глазком...

Ее лицо сморщивается, углы рта опускаются, и я вижу —

секундно — на этом индейском лице-маске давний, неисцелимый след горя. Она вновь поспешно уходит, приносит старую, дореволюционного вида папку, развязывает тесемочки, руки ее дрожат.

— Все, что осталось от мамы...

— Можно?

— Посмотрите...

Две пожелтевшие фотографии: на одной молодая дама с девочкой в белом платье. Знаком девочкин черный пронзительный взор. На другой та же дама, красавица, в театральном наряде, с пышной высокой прической. И какие-то бумажки, вырезка из газеты. Можно прочитать? Конечно. Это последнее предприятие в Ростове, перед тем как уехать в Крым. Три бумажные древности: «Постановление. Декретом СНК от 15 апреля 1920 г. отменены все действовавшие до издания декрета постановления, распоряжения и правила о выдаче бывшим владельцам принадлежащих им ценностей из ссудной казны и сейфов, а самые ценности объявлены государственной собственностью»; «Заявление. В сейфо-ломбардную комиссию. На квитанции ящика сейфа Общества взаимного кредита за № 1025 у меня находятся: один серебряный сервиз и один кулон с бриллиантом. Я артистка музыкальной драмы и оперетты, и вещи эти дороги мне как бенефисные подарки, а при необходимости как средства для существования жизни, а посему покорнейше прошу выдать мне их. Артистка и действительный член профсоюза Е. С. Малышева»; «Свидетельство. Мне известен кулон с бриллиантом, с одним маленьким подвеском, который был поднесен в г.Тифлисе в 1916 г. в день бенефиса Е. С. Малышевой в летний сезон в т-ре Артистического Общества. Артист кооперативной художественной оперетты Давид Софронович Давыдов».

— Милый мой,— синьора Маддалони накрывает мою руку сухонькой ладошкой,— ваш папа был на другой стороне. А дядя, комендант Новочеркасска, может быть, преследовал моего брата. Все это история... И она мало кому интересна — мне, вам... Но самое страшное знаете что?— Она смотрит в глубь меня пронизывающим бессильным оком.— Смерть в Сицилии...

Ртутным блеском горит черная звездная ночь.

Я опять не сплю из-за треска рыбачьих лодок. На другой день за завтраком знакомый поляк, который всегда навеселе, радостно бросается ко мне: «Я вас поздравляю!» Через час становится известно: премию получил чех из Парижа. Мы садимся в автобус и отправляемся в Палермо на прием к мэру. После мэра поедем смотреть мертвецов в катакомбы капуцинов. Здесь все гордятся этими катакомбами, где мертвецы стоят в позах живых людей в своей истлевшей одежде. Бедная попытка обма-

нуть смерть. Но нельзя обмануть то, что самое страшное в мире,— смерть в Сицилии. Автобус достигает белых домов в Палермо, они кажутся слепыми из-за опущенных желтых жалюзи. Автобус поворачивает на улицу, обсаженную пальмами. Солнце плавит асфальт. Мауро, который сидит рядом, придвигается и шепчет:

— Посмотрите на эту улицу внимательно. Где-то здесь лежит Роберто Маддалони. Я вчера не сказал?— шепчет совсем неслышно.— Ее муж был одним из главарей мафии. Одиннадцать лет назад он исчез. Говорят, лежит здесь, под асфальтом этой улицы. Но, впрочем, никто точно не знает.

Анатолий Шавкута

ВОЗВРАЩЕНИЕ*

Их было шестеро, и каждый хотел только одного: быстрее закончить работу.

База, которую они строили, находилась в таежном поселке, в трехстах километрах от места их постоянной командировки, и эта двойная неустроенность, длившаяся вот уже около полугода, угнетала их больше всего остального. А остальным было: каждодневные сорокаградусные морозы, самое худшее общежитие из всех, где им приходилось жить, отсутствие приличной столовой и редкая даже для этих глухих мест слабость строителей — тех, кто готовил им фронт работ. Все это, вместе взятое, давно бы выбило из колеи нормальных оседлых людей, но они были представителями кочевой профессии, а значит, способными вынести все, что им подсунет командировка. Холодно в общежитии? Нет проблем! Час нетрудной знакомой работы — и вот уже печка-«буржуйка» с длинной трубой дымохода, выставленной в окно, в жестяной квадрат фрамуги, весело трещит и накаляется, радуя тех, кто сидит возле нее. Плохо с продуктами? Но тайга вокруг, а значит, в поселке охотники, и нет ничего проще, как договориться мужику с мужиком, таким же хватким и сноровистым и таким же в своей основе простым, независимым и приспособленным к жизни в любой точке этой планеты. И женщины вились вокруг них, крепкие, звонкоголосые, искони любопытные — по молодости лет, по неудовлетворенному брожению крови — ко всему, что отличается от привычного, скучного быта, влюбчивые и жалостливые, готовые пойти вслед за своим расцветающим, праздничным чувством хоть на край света. Все это было, как и в любой предыдущей командировке. Но теперь им хотелось только одного: уехать отсюда как можно быстрее туда, где их ждали такие же женщины, но свои, прикипевшие к сердцу, и точно такие же мужчины, но родные, по избранному делу, по судьбе, по шумному табору

* © «Знамя», 1981 г.

крупных строек, туда, где была их личная, все их существо себе подчиняющая, жизнь.

Всего лишь месяц назад у Ластовенко родился сын, и он ездил домой — какое там ездил! — летел, бросив все, позабыв обо всем, а возвратившись, счастливый, радостный, оживленный, несколько дней рассказывал, что сын у него — три кило восемьсот, мужик настоящий, наследник, похож на него, крикун... Всем о нем рассказывал, и теперь каждый вечер, засыпая, представлял себе крохотное это создание, настоящее чудо творения, собственного своего сына Алешку, хрупкого, трогательного в своей беззащитности, с поразившими его игрушечными, миниатюрными ручками. «Надо же! — думал с восторгом.— Пальцы такие маленькие, в микроскоп их рассматривать, а по форме как у взрослых людей, как у него, у Ластовенко, точный слепок... Чудо, ей-богу, чудо!»

Федорова ждала невеста. Познакомились год назад, на танцах в Доме культуры. Обычная история, разговор ни о чем, он только что вернулся из Средней Азии, о тех краях и рассказывал, какая там летом жара — бетонные плиты положат, и за лето эти плиты, всего за три месяца, белыми становятся, выгорают... Виноградники вспоминал: какие они бесконечные — до самого горизонта, кисти — по три килограмма каждая, сорт «люстровым» называется, потому что, как люстра, висит, нависает над головой, если упадет, запросто покалечить может... Историй, конечно, тут же сообщил великое множество и казался себе при этом бывалым, неотразимым парнем, так что, прощаясь, без колебаний обхватил ее, облапил, снисходительно поцеловал... Но она — и как это ей удалось? — каким-то не то что умом, а женским, природою ей отпущенным сверхтонким чутьем сразу увидела за всем этим шумом и самоуверенностью здорового рабочего парня всю его неприспособленность к быту, все его не осознаваемое им самим одиночество, усилившееся до самой своей крайности после недавней смерти матери. И жгучее его желание поверить во что-то прочное, крепкое, не меньшее, чем любовь матери, чистое и навечное... Почувствовала, поняла его, полюбила и привязала к себе крепче самой крепчайшей нити.

У каждого были свои резоны быстрее попасть домой. И горькие причины тоже. У Абсалямова болел отец. У тщедушного, хилого, болезненного Чеплакова загуляла жена. Как тут домой не стремиться?

Работали они по двенадцать часов подряд. Выходили из общежития рано, задолго до медленного двухчасового рассвета. Быстро проходили по вымершим улицам поселка, добирались до стройки, разводили огромные дымные факелы и отогревали

заиндевевшие механизмы. Гром и стук ожившего железа радовал сердце и как будто бы согревал. Начиналась работа. Они собирали резервуар для бензина. Работа велась по русскому способу, изобретенному вскоре после войны. Заключался он в том, что на стройплощадку привозили большие стальные рулоны, ставили их на попа и раскручивали, накрывая сверху треугольными щитами кровли. Способ отличный для северных мест, быстрый, в несколько раз быстрее, чем прежний, когда емкость собиралась из отдельных небольших листов и окружалась строительными лесами, чтобы с них подгонять и варить стыки. Им, шестерым, он подходил как нельзя лучше.

Шел декабрь, двадцать девятый его день, и еще день оставался, чтобы закончить последний резервуар из десяти, собранных ими, сдать заказчику и подписать акт приемки работ. Они спешили. В случае удачи каждый из них получал премию размером в трехмесячный заработок, и они уезжали отсюда, а так как дела у них складывались хорошо, то никто и не сомневался в удаче.

Загорался рассвет. Молча монтажники хватали трос и, оскальзываясь, танцующей походкой бежали к отвесной громаде рулона. Солнце вставало оранжевым столбом, и справа и слева от него поднимались трехцветные обрывки радуг. Начинался день. Птицеголовая стрела крана волокла по воздуху над их головами щит. Прихватчики торопливо поднимались наверх по стремянке, тракторы вертелись вокруг рулона, раскатывая его, и бригадир оглушительно свистел и ругал зазевавшихся грозными словами. Работа близилась к концу, и каждый был счастлив от этого.

И вдруг случилась авария. Поднимая последний щит, крановщик услышал встревоживший его, неприятный посторонний стук в двигателе. Стук разрастался, терзал ему душу — плавился подшипник коленчатого вала. Крановщик выключил мотор. Кран, добрый и верный, всегда согревавший хозяина теплом кабины, слушавший каждое малейшее движение его руки, стоял теперь мертвый, и тепло уходило из стального громадного тела. Крановщик чуть не заплакал.

Монтажники окружили его, глядя с надеждой, но всем было ясно, что кран больше не заведется.

— Все? — спросил бригадир, просто так спросил, для других.

— Все, — ответил крановщик виновато. — Кончен бал... — Он безнадежно махнул рукой. — А как ты хочешь? Год без ремонта...

— Щит на место поставишь?

— Рядом положу, Петрович. — В голосе крановщика не было

твердости. Он как бы просил понимания, не за себя просил, за мотор своего крана.

— Ладно,— сказал бригадир.— Опускай его рядом.

Треугольник щита — лепесток, на котором без труда разместилась бы волейбольная площадка, висел высоко над кровлей, раскачивался, колеблемый воздушными течениями, парил. Но не щит привлекал внимание бригадира. Шахтная лестница, стоявшая в стороне на снегу,— пятнадцатиметровый вертикальный цилиндр с маршами лестниц внутри — вот что его беспокоило. Замыкающий вертикальный стык резервуара нужно было варить с этой лестницы, поставив ее на фундамент, но ставить ее теперь было нечем.

Уже смеркалось: короток северный день зимою — в три часа пополудни наступает вечер. Закат догорал. Тихонько задувал ветер, перегонял с места на место жестко шуршащие снежинки, резал огрубевшие от мороза лица. Щетинилась вокруг по холмам заснеженная тайга, далеко простиралась на запад и на восток, на юг и на север. Розовый дым поднимался над поселком, откуда они, чужие в этих краях, только что были полны надежд уехать.

— Ладно,— сказал бригадир, что-то уже обдумавший и, верно, нашедший выход, как и положено ему, бригадиру.— Сеня, бери лебедку, да вон там уголки лежат у склада, натаскивай щит на место.

— Есть!— обрадовался Федоров. Он повернулся и, взрывая валенками снег, двинул по целику к складу — за уголками. Ластовенко, низенький, коренастый, в черной шубе до пят, присланной родителями со Ставрополья, неторопливо пошел за ним следом.

— А ты, Степаныч, ставь указатель уровня. Сегодня чтобы закончил.

— Закончим, чего там.— Чеплаков потому и держался в бригаде, что при всей своей болезненности и малосильности мастер был отменный, и самая тонкая работа поручалась всегда ему. На душе у него отлегло: что бы там ни было, а работа всегда отвлекает. Обо всем остальном пусть бригадир думает, у него голова большая, пятьдесят девятого размера шапку носит, вот пусть и думает.

Оставшись один, бригадир долго стоял у стыка, обдумывая положение. Тронутая легким налетом изморози, стенка резервуара выгибалась круто и, выгибаясь, исчезала из поля зрения справа и слева, как бы убегая от взгляда. Стык уходил вертикально вверх от самой земли и до крыши резервуара. Он как бы склеивал кромки развернутого полотнища: отсюда начали раскручивать рулон, здесь и закончили. Оставалось всего ничего:

подобрать недоделки, заварить этот стык и тем самым поставить точку. И вот тебе — незадача.

Как хорошо сделать работу всю, целиком, от первого ее тревожащего мгновения и до последней радостной операции. Совсем ведь недавно ставили первый щит. Днище было развернуто и свободно пузырилось, как следует еще не прижатое к песчаному основанию. На нем в центре — стойка, высокий столб с короной наверху, и с краю, метрах в пятнадцати, рулон с раскрученным полотнищем. Щит соединял их, как мост временной какой-то переправы. Он никак не попадал ловителями на стенку, и бригадир с Федоровым, самым отчаянным парнем из всех, провели наверху, наверное, полдня, то опуская щит, то опять поднимая и болтаясь на нем, как при качке. А затем дело пошло. Рулон скользил по промерзшему днищу легко и красиво, щиты ложились на редкость удачно. Любо-дорого было смотреть на работу и на лица ребят...

Кто-то гулко ударил кувалдой по кровле, и металл загремел, отозвался на этот удар каждой своей частичкой. Бригадир огляделся. Что ж, придется идти на поклон к заказчику. Не оставлять же ребят без премии. Сумма большая, не только им радость, но и на участке многим заплатят — к Новому году, к празднику. Все зависит теперь от заказчика. Подпишет — не подпишет...

Снег, мороз, бесконечность тайги... До чего же охота уехать отсюда. Просто сил никаких не осталось.

В конторе у заказчика тепло и светло. Чисто, покойно в конторе. Самый главный заказчик — Мальцев, рыхлый, безвольный, стареющий, в этот день наверху блаженства.

— Брось! Не говори об этом! — журит он кого-то по телефону.— Ты же знаешь: я о работе сейчас ни-ни, брат! ни слова. Я в отпуск ухожу, да! В санаторий поеду... У тебя жена есть? Привет жене! А дети? Ну-ну. В общем, давай... ага... до свиданья... вот-вот... спасибо... хо-хо-хо... поправляться, говоришь?.. до свиданья, до свиданья, того, значит...

Хорошо в конторе. Фикусы поблескивают жестяными листочками. Фотографии висят на стене привлекательные — жаркие страны на них отпечатаны. Теплом от батарей пышет. Если с мороза посидеть там часик, запросто можно заснуть. Впрочем, Мальцев, тот и не с мороза спит. Старый человек, выслуги лет ждет, чтобы уйти на пенсию. Дело за него решает Теплов, точный, расчетливый инженер, строгий парень. Вот и сейчас отфутболил Мальцев бригадира к Теплову: пусть он решает. Подпишет акт — хитрый Мальцев пенять ему будет: «Опять недогля-

дел, Андрей Макарович!» Не подпишет, тоже хорошо. Так и так хорошо.

Теплов выслушал бригадира — нахмурился, пальцами по столу забарабанил.

— Заварите стык — акт подпишу. Не заварите — не обижайтесь.

— Но ведь люди...— сказал бригадир не очень уверенно, понимая, что прав Теплов. Мало ли что, только отпусти поводья, быстро на шею сядут.— Премия к Новому году...

— Вот что, Петрович,— рассердился Теплов.— Не морочьте мне голову. Премия, она ведь за дело дается. Это вам не тариф, не оклад: лишь бы время прошло.

— Ладно,— сказал бригадир, выходя из конторы.— Заварим мы вам этот стык. Придумаем что-нибудь... Обойдемся!

Разозлившись на себя, он сразу стал уверенней, подумав, что так оно, впрочем, и лучше вышло: не зависеть ни от кого и не оставлять недоделок, чтобы сюда до лета, до испытания резервуаров, не возвращаться.

В этот день они работали допоздна, при свете прожекторов, и Теплов, задержавшийся в конторе, с удовольствием понаблюдал за ними, перед тем как уйти домой. Больше всего на свете его радовала хорошо организованная работа строителей, он и чувствовал-то жизнь по-настоящему только на стройке, где труд реален, где он не спрятан в хитрых бумагах, где на глазах все растет и приобретает законченный вид. Он отдыхал здесь душою. И высоко ценил умение бригадира поставить работу красиво. Но баловать их не хотел, не было в этом нужды.

Вечером в общежитии у монтажников разговор все время возвращался к работе. Как заварить этот стык? Все знали, что сварщик Сергеев боится работать без надежной опоры с тех пор, как три года назад разбился, упав с установки. Знали и не хотели судить его. Но и смириться не могли с неудачей.

Желчный Чеплаков, поигрывая желваками скул, на чем свет стоит клял строителей, не сделавших вовремя фундамент под лестницу. На что надеялись, зачем тянули? Давно бы стояла лестница на месте. Дубины стоеросовые! Только о себе и думали. Все сейчас только о себе думают. Эпидемия пошла такая. Да и Теплов тоже хорош. Долбак! Поборник справедливости! Такую работу сделали! Как негры пластались — десять резервуаров за полгода раскрутили. На чистом месте, где раньше тайга стояла да волки бегали. А теперь из-за пустяка дерьмового лишать их заслуженной премии? Совести нет у него и у Мальцева. Перестраховщики! Души чернильные!

Всех помянул Чеплаков. В бога и душу. Об одном умолчал: сварщик Сергеев, сидящий с ним рядом, мог заварить этот стык

с люльки. Мало ли что он боится! Все мы боимся, на то здесь и монтаж, работа на высоте, не пансионат благородных девиц... Может, и думал об этом, но смолчал. Пожалел Сергеева. Слишком хорошо помнил, что случилось с ним. Разве забудешь такое?

Тогда, три года назад, упав с высоты и чудом оставшись в живых, Сергеев долго не мог вновь подняться наверх, а потом втянулся и снова стал работать там, как и прежде. Но, видимо, поторопился. Однажды в пылу работы он взобрался на самый верх установки — на восемьдесят шестую отметку, но не по лестнице туда поднялся, а по стремянке, если правду сказать, так просто по пруткам, приваренным косо к вертикальной балке,— лестницы там еще не было поставлено. Влез, оглянулся назад... и не смог сдвинуться с места — оцепенел, задохнулся от испуга. Снимали его затемно, подогнав стотонный кран с длинной стрелою. Подняли плиту железобетонную, из тех, что кладут на перекрытия в пролетах зданий, положили на эту плиту Сергеева, а сверху лег на него бригадир: придавил и держал, пока опускали... С тех пор, после вторичного своего потрясения, Сергеев стал бояться подниматься туда, где нет ограждений и надежной опоры для ног. Чеплаков знал об этом, да и все это понимали, и никто не решился бы осудить Сергеева.

Лишь Федоров, улучив момент, когда ребята вышли из комнаты, пододвинулся к Сергееву и жарко зашептал:

— Слышь, Серега? Вот бы ты не боялся, а? Ведь деньги, сам знаешь, тю-тю... Да и задержат нас здесь, ей-богу! Если на следующий год останемся, хоть на день, хана нам будет, вот увидишь: вмиг работу найдут. Я уж знаю! Не подведи, Серега!

В последней его фразе, сказанной со всем пылом, так что даже рыжие усы встопорщились и глаза, и без того круглые, округлились еще больше, столько было горячей просительности, что Федоров, наверное, и сам не понимал, что он сейчас расписывается за свои будущие поступки в такой вот, как эта, трудной ситуации. А если бы и знал, так что? Он за ребят всегда все отдаст. Федоров — парень честный.

Бригадир вошел, обнял Сергеева за плечи.

— Не переживай, Сергей! Где наша не пропадала!— Голос у бригадира мягкий, глухой, улыбка на усталом лице ободряющая.— Знаешь, что я придумал? Я сам его буду варить. С люльки. Скорость, правда, не та. Но за праздники управлюсь.

Сергеев посмотрел признательно. Молодец бригадир. И берет на себя, хоть и варит впятеро медленнее.

— Нет, Петрович, я сам заварю. Я вот и Федорову уже обещал.

— Живем!— радостно закричал Федоров и подбросил к потолку подушку.

— Уймись!— сказал бригадир.

— Есть уняться!— Голос Федорова звенел, и лицо светилось. Молод... Громкая у него радость...

— Мороз очень сильный,— озабоченно произнес Сергеев.— На пределе.

— Да, мороз не дай бог. Просто ужас...

Гудела, раскаляясь, печка, тепло шло от нее по комнате волнами. Велся перед сном неспешный разговор. Говорили обо всем сразу, как это обычно бывает: начнут с одного, а кончат другим, даже не задумываясь о связи разговора.

— Он, слышь, Гагарин,— слышался восторженный голос Ластовенко, любящего отыскивать в жизни высокие примеры духа.— Гагарин перед полетом как лег спать, так и уснул сразу. Доктора под окнами у него ходят, целых восемь докторов спать не могут, приборы разные смотрят: как там пульс, кровяное давление... За него, значит, волнуются, а он хоть бы что, будто и не ему лететь...

— А за что кальмару любить человека?— слышался через пять минут едкий голос разуверившегося во всем Чеплакова.— Человек, он что, кальмару добра много сделал? Мы его баловали, спасали?

Обычный разговор, нормальный. За полгода привыкли к такому. Столько переговорили, ни в какой книге не записать. Садились вот так возле печки, когда не было иных дел, чаще всего в непогоду, и говорили, спорили, рассуждали... Шесть человек, шесть характеров, у каждого свой подход ко всему, свое представление о жизни.

Сергееву стало грустно. Сделалось жаль этих длинных вечеров, этих бесед у пылающей печки. Вот и еще полгода их жизни ушло, промелькнуло. Как быстро время летит, как безвозвратно... Так ли мчалось оно в больнице?

Пятеро давно уже спали, кто на боку, кто укрывшись с головою, кто похрапывая или посвистывая носом, кто видя сны или без них, в темной пропасти ночного забытья. А он лежал с открытыми глазами, весь во власти воспоминаний. Память болела, не давала ему заснуть...

Он упал с тридцать второй отметки, но налетел на кислородные шланги, натянутые от колонны к колонне, разорвал их и этим погасил скорость падения. Нейрохирургия, сложнооскольчатый перелом позвоночника, сотрясение мозга...

Первые дни он не помнил себя, а когда пришел в сознание, горько ему стало. Лежал он в белой тесной палате, на высокой кровати, концы которой поднимались и опускались винтами, лежал на деревянном твердом щите, тела своего ниже пояса не чувствовал вовсе. Через каждые три часа переворачивали его

и перекладывали неподвижные ноги. Массажист приходил, работал над ним до потери сил, говорил, что надежда есть, просто нерв прижало осколками при переломе, а если точнее, то не нерв, а спинной мозг сдавило.

Боль была ужасная. Но что она в сравнении с тем, что он остался калекой навеки?!

Он то падение свое с высоты вспоминал до мельчайших подробностей, то прежнюю жизнь. Зачем жил, не знает. А зачем человек вообще живет? Умрет, ничего не останется. Мысли такие, хоть в гроб с ними. Но жить хотелось, ах как хотелось жить! Словами той жажды не выразить. Перед этой жаждой двигаться, смеяться, дышать взахлеб, быть здоровым меркло все иное. Жить — вот что главное. Остальное можно потом решить. Больной человек никаких других вопросов не решает, он жить хочет. Он мучительно хочет жить. Все: и богатство, и власть, и знания — теряет здесь силу. Все, кроме любви и сострадания.

Сергеев детдомовцем был. Он не надеялся на чью-то любовь и жалость. У каждого свои заботы.

То, что к нему тогда приходили монтажники, удивляло его, и он думал, что все это временно. Но дни шли, а они о нем не забывали. То бригадир забегал, то крановщик Абсалямов. Он счастливо жил, их крановщик. Трое детей, тихая, заботливая жена — пирожки Сергееву, ватрушки разные присылала. Его, Сергеева, оказывается, помнили многие. Мысль эта помогала ему.

Вскоре сестры и нянечки расположились к нему. Сергеев не скандалил, не требовал к себе повышенного внимания и заботы. Иногда о нем забывали, не переворачивали вовремя, и тогда он молча перекатывался с боку на бок через живот и терпеливо ждал, когда к нему подойдут и перевернут безжизненные его ноги. При обходе врачей он не задавал лишних вопросов, не вылезал со своей болезнью, не канючил: «Доктор! Скажите, я буду ходить?»

Он молча смотрел на врача, но глаза его загорались такой надеждой, что врач отводил взгляд, не в силах ответить ему, как другим, полуправдой-полуложью. «Стоящий парень! — сказал о Сергееве хирург.— Хорошо, если ему повезет».

«Стоящий парень»,— говорили о Сергееве сестры и нянечки.

Они понимали, конечно, что не все люди одинаково устроены и не все одинаково могут переносить боль и мысли о смерти, разная жизнь у людей, разные причины болезни. Но им, близко и ежедневно видящим смерть, сделавшимся к иной, несмертельной, боли бесчувственными, им легко было отличить мужество и силу от слабости. Тот, кто борется сам со смертью, кто не

сдается ей, не полагается на других, не выливает свою боль и тоску на окружающих, тот поневоле становился объектом их забот и сочувствия, хоть как раз на сочувствие не рассчитывал, не домогался его и не требовал.

К Сергееву подходили все, кто оказывался с ним рядом. Тот подушку или постель поправит, тот напиться подаст. Чтобы он не завалился случайно на спину, под лопатки ему положили ряд плотных высоких подушек, следили, чтобы они не сбивались, оттирали затекшие места, делали из марли тугие кольца и подкладывали ему под пятки, так как именно пятки быстрее всего отмирают при неподвижном лежании.

Прошло три с половиной месяца. Сергеев боролся за жизнь, но ему это сделалось не под силу. Он знал: если все идет нормально, через полтора-два месяца после травмы у такого, как он, больного в пораженных местах появляются первые признаки жизни: ноги начинают дергаться, резкая боль пронизывает их от пятки до бедра, больной кричит иногда от боли, хоть это и есть сигнал о спасении. Но время шло. Месяц прошел, второй и третий — ноги оставались безжизненными. Сергеев отчаялся ждать. Пережив самую жгучую, неутолимую и неутешную тоску, он понял, что положение его безнадежно, и, осознав это, вдруг успокоился. Он что-то придумал такое, что не спасает от смерти, но и не подчиняет ей, не повергает сердце и ум в постыдный животный страх, а помогает человеку остаться человеком. Он примирился и сделался еще более тихим, спокойным, задумчивым.

Однажды, недели через три после самых тяжких своих раздумий, Сергеев лежал, рассматривая, по обыкновению, ветви дерева за окном и кусок голубого неба, как вдруг острая боль пронзила все его тело; непроизвольно он опустил глаза и увидел, что нога его быстро и мелко дергается.

— Сестра!— закричал он что есть силы.— Сестра! Быстрее сюда! Сестричка!

Испуганная сестра подбежала к нему.

— Ноги!— сказал Сергеев, и слезы заблестели у него на глазах.

— Господи!— сказала сестра с радостным изумлением.— Сереженька! Родной ты наш! Жить ты теперь будешь! Жить!— и неожиданно для себя заплакала.

Наступили мучительные дни преодоления неподвижности; но Сергеев был готов ко всему. Он жил как бы в тумане — в каком-то немыслимом для себя напряжении и подъеме, в побеждающей все решимости. Казалось, скажи ему, что нужно претерпеть самые страшные, самые адские муки для того, чтобы быть здоровым, и он с радостью пошел бы на них.

Каждый день, не дожидаясь прихода врача-массажиста, он растирал ноги, сгибал и разгибал их до изнеможения, до того, что пот застил побледневшее лицо и слабость и тошнота охватывали его. Он отлеживался, отдыхал, слушал, как гудят мышцы, как боль в них сражается с покоем и смертью, и вновь принимался за дело.

Вскоре ему разрешили встать. Держась за кровать, налегая всем телом на руки, он встал на ватные, нетвердые, как у ребенка, ноги и постоял с минуту. Уверенность окрыляла его. Он знал, что будет жить, что будет опять здоровым, как тогда, до рокового падения с высоты. Никакие сомнения не приходили ему в голову. Он отмел бы их с горячностью, если бы они возникли.

Через год он вышел из больницы и, отдохнув в санатории, приехал на свой участок.

Но с тех пор он не мог варить в люльке или повиснув на ремне. Мнилось ему, что он обречен упасть и ничем от этого не спасется. Ну что может сделать человек, если он висит в люльке и оборвался трос? Иное дело — пройти, например, по балке. Там ты волен сделать свой выбор — идти по ней или нет, там ты можешь помочь себе: поставить твердо ногу, сбалансировать руками... А люлька что? Ты сидишь в ней, и вся твоя жизнь висит на волоске троса, и держаться за него все равно, что за ремень своих брюк держаться, проку нет. От чувства беспомощности, от ощущения бездны под ногами мутилось у него в голове, и он ничего не мог с собой поделать.

Наползала ночная жуть, вспоминалась палата, тяжкие стоны увечных. И страшная его тоска, от которой у него до сих пор осталось такое приблизительно воспоминание: будто разбухает он, увеличивается, до потолка достает в нереальном своем разрастании, и ни закричать, ни помощи попросить — кто поможет? Ночь, и вокруг одна боль, одно сплошное страдание, будто и живого мира уж нет, только бред, только стоны и чуткие шорохи.

«Прочь, прочь», — прошептал Сергеев, отгоняя воспоминания. Он давно уже не в палате. Бригада спит рядом крепким, здоровым сном. Остывает раскаленная печка. Кислый запах сохнущих портянок назойливо лезет в ноздри. Вот треснуло дерево за окном — звонко лопнуло от мороза. Вот кто-то всхрапнул богатырски, шевельнулся, разметав одеяло, забормотал во сне. Проскрипели чьи-то торопливые шаги.

Сергеев подумал о завтрашнем дне: «Хоть бы мороз отпустил чуть-чуть», — увидел лицо бригадира, голос его как будто услышал: «Не переживай, Сергей!» — улыбнулся ему признательно и провалился в сон.

Вот и ночь прошла. Закончился отдых. Позавтракав и одевшись как можно теплее, они вышли из общежития.

Сумерки утра окутали их. Мороз резанул по глазам, высек слезы. Застонал под ногами снег, насквозь пронизанный стужей. Поселок дымился от мороза. Там и сям виднелись тревожные огни факелов, согревающих водопроводные колонки. Фантастический лес из светлого мягкого дыма поднимался над домами, разрастался, сплетая кроны, заслонял небо.

Окутанные клубами выдыхаемого воздуха, они добежали до стройплощадки и развели костер. Начался последний день их работы здесь.

Пока заводили трактор и сварочные агрегаты, Сергеев и бригадир нашли и осмотрели люльку. Она лежала в снегу, брошенная за ненадобностью, и, как всякая заброшенная вещь, производила жалкое впечатление.

— Хорошая люлька,— сказал бригадир, вытаскивая ее из колючего жестокого снега и отряхивая рукавицей.— Сам варил, для себя. Отличная люлька!

Он выволок ее к костру, и снег на ней быстро растаял, обнажив заблестевшие темные прутья каркаса.

— Прекрасная люлька!— повторил бригадир, осмотрев ее при свете костра и быстро отпилив несколько плашек от толстой доски для настила под ноги.— Сам бы варил с нее, да грехи не пускают.

Сергеев рассмеялся. Люлька была крепкой, конечно, но такой неказистой, маленькой, неудобной, что, кажется, ни в одной стране не сделали бы ее так — быстро, тяп-ляп, лишь бы прочной была.

Они подтащили ее к стене резервуара, привязали к тросу и подняли трос наверх, к блоку, а оттуда, с крыши, протянули стальную свивающуюся нить каната к трактору, выполняющему роль лебедки,— подъемный механизм был готов.

— Карета подана!— сказал бригадир.— С богом, Сережа!

Сергеев подошел к сварочному агрегату, покрутил регулятор тока, послушал работу мотора: «Ты-то хоть не подведи». Дизель всхрапнул, выдохнул на него теплый воздух солярового своего дыхания, зарокотал успокаивающе: «Не подвед-ду-у!..»

Взяв маску, колчан с электродами и молоточек для оббивки шлака, Сергеев залез в подъемник. Поехали! Трос натянулся, люлька дернулась рывком, оторвалась от земли и пошла наверх, вдоль шва, который ему предстояло заварить.

Небольшая высота, всего с семиэтажный дом, не более, а вот поди ж ты, захолонуло у Сергеева сердце. Он ухватился рукой за трос, сжал его крепко, так что пальцы заболели,— страшно стало. Только отпустил, полез в колчан за электродом, люлька

качнулась — поплыло перед глазами у Сергеева, нахлынуло все, что когда-то измучило,— боль, бессонница, страх искалеченности, самая смерть взглянула опять в глаза неотвратимым своим гнусным взглядом. «Не-ет! — сказал себе Сергеев, встряхнувшись.— Не поддамся! Там не поддался, а здесь и подавно!— Огляделся. Утро было все еще темным, сумеречным, но уже засветились на востоке желтые полосы рассвета, и дым над поселком порозовел.— Скоро солнце встанет».

Вспыхнула ослепительная дуга электросварки, рассыпалась, засияла, оживила все вокруг золотистым своим огнем.

— Порядок, ребята!— закричал бригадир.— Давай все наверх!

И, возбужденные радостно, почти счастливые, они взлетели наверх по стремянке, кто ограждения ставить, кто кровлю поправлять, кто затянуть болты... Заканчивать работу. Скоро стук поднялся и грохот такой, будто их здесь не шестеро было, а целая рота, может быть, даже полк.

И каждый думал потаенно о том, как он приедет домой, какие богатые привезет подарки. Как обрадуются его возвращению те, кто соскучился по нему, кто ждет его не дождется...

Сергеев не думал о доме. Не было у него никого.

Тогда, три года назад, не дождался он своей невесты. Не пришла она в больницу. Долго он ждал ее. Сначала думал, она ничего не знает, ей побоялись сказать. Потом решил, что, наверное, она уехала. Наконец, дошло до него, что она не придет никогда, испугалась его несчастья. И все, что их соединяло, решительно все померкло. Все лучшие его воспоминания. Встречи их, запах цветущих лип, поцелуи под липами... И она в белом платье, с узким синим пояском, чистая, стройная, строгая...

Не было у него никого — ни семьи, ни любимой. И деньги для него ничего не значили. Это в то время, когда он свои далекие планы строил, тогда они были ему нужны. Он счастья хотел: машину купить, и квартиру иметь, цветы чтобы были всегда на столе, музыка чтобы играла. Кто знал, что он выживет и вернется назад и устроит отходную своему несчастью в том самом ресторане, в котором мечтали они когда-то сыграть свою свадьбу. Кто знал об этом? А если бы знали, то был бы он сейчас женат и счастлив и ни о чем бы таком не думал...

Люлька медленно опускалась, тянулся сверху ровный, отливающий маслянистым блеском шов. Плавился электрод, и падала вниз красивой дугой раскаленная лента шлака. Страх, сжимающий сердце Сергеева, отступал постепенно. Всплескивала иногда тревожная волна, туманила голову, леденила душу, но он все так же варил, не отрывая глаз от стыка и ни на секунду

не прерывая работу. Он должен был успеть к вечеру. Во что бы то ни стало.

Багровое, воспаленное солнце поднялось над верхушками елей, над тонкой полосой тумана у леса, тускло осветило здания стройки и темные громады резервуаров. И, странное дело, солнце взошло, а стужа сильней разгорелась. Будто другие здесь были законы физики. Стужа упала на землю дьявольская.

Скоро Сергеев почувствовал холод. Зазябли колени, заныл, замерзая, палец на ноге. Пробрал до костей сквозящий между резервуарами знобящий такой ветерок. Сорвались сверху, с крыши, чуть заметные колючки снежинок и забились за воротник. Началась пытка холодом.

Ребятам было полегче. Они двигались, стучали кувалдами, размахивали руками, спускались на землю, вновь поднимались наверх... Их согревало их собственное движение, так что порою они забывали о стуже. А он висел, неловко согнувшись, прислоняясь невольно к раскаленной морозом металлической стенке, и со всех сторон — сбоку, снизу, сверху — давил на него холод, сжимал в своих твердых объятиях. Инстинктивно он жался поближе к огню электросварки — то плечо подставлял, то грудь, то лицо, но это не спасало: мороз доставал до сердца. «Еще немного,— уговаривал он сам себя.— Еще метр, вот до той зазубрины...» И опять: «Полметра еще... всего лишь полметра... а там отдохну, согреюсь...» Но, согревшись в перерыве у костра, такую почувствовал смертную неохоту снова залезать в люльку, так тотчас же поддался набросившемуся на него морозу, что чуть не застонал от сковавшей тело судороги. Будь проклято все, будь проклят тот день, когда он впервые взял в руки держатель!..

В шесть часов вечера он закончил варить стык. С трудом ступая окоченевшими ногами, оттирая покрывшееся вмиг тонкой коркой льда разгоряченное сваркой лицо, он устало добрел до костра и опустился на услужливо подставленный кем-то ящик. «Все! Можете звать Теплова!» От костра веяло жизнью, блаженством... Не было ни холода больше, ни страха упасть. Только живые языки пламени, желтый свет костра и чувство смертельной усталости. «Зовите Теплова! Пусть приходит и смотрит».

Теплов разговаривал по телефону. Он собирался уже уходить, когда раздался звонок, и, подняв трубку, он услышал взволнованный девичий голос:

— Андрей Макарович?

— Он самый.

— Я не отвлекла вас от дела?

— Да нет.

Каждый день происходил у них этот разговор, в котором так неотвратимо, пядь за пядью, шаг за шагом, сдавала она свои позиции. Каждый день он ждал его с легким волнением игрока и совершенно твердой уверенностью, что никуда она не денется и скоро наступит день, когда она придет к нему, в холостяцкую его квартиру, и останется в ней до утра. Сколько бы она ни билась и ни пыталась отвоевать себе, оговорить заранее какие-то там права, обозначить границы, согласовать с ним совместные чаяния и надежды, сколько бы ни артачилась. Все или ничего... и никаких надежд! А там посмотрим...

Бригадир вошел в середине их разговора. Теплов молча показал ему на стул: присаживайтесь. Бригадир осторожно сел.

— Не помешаю?

Теплов махнул рукой:

— Бросьте.— И улыбнулся трубке:— Нет, миленькая! Мужчине нужна сабля, конь и струна... Зачем ему что-то еще?— Он опять улыбнулся твердо, уверенно.— А женщина для мужчины — перевязочный материал, комната отдыха между боями. Если я не смогу без женщины жить, даже если люблю ее, значит, дела мои плохи и нужно мне идти к врачу.

«Хорошо говорит, красиво... — подумал бригадир, взглянув на Теплова, и вдруг поразился сходству его и Сергеева. Тот же точный овал лица и сжатые узкие губы. Те же серьезные, серые, отливающие сталью глаза.— Однако!.. Как же я раньше этого не заметил?»

— Ну что?— весело спросил Теплов, положив трубку и вставая.— Хочешь сказать, что все закончили?

— Да,— ответил бригадир, тоже вставая.— Теперь можно и акт подписывать.

— Ну это мы еще посмотрим!— все так же весело возразил Теплов.— Это мы еще поглядим!

Клубы пара ворвались в дверь коридора, когда они вышли на крыльцо.

— Мороз!— с радостным удовольствием здорового, крепкого молодого человека воскликнул Теплов.— Однако мороз какой!

Он легко сбежал с крыльца и пошел по визжащему снегу дорожки к резервуарам, отражавшим выпуклыми цилиндрическими боками красноватый дрожащий свет костра. Бригадир поспешил за ним.

Ровной линией тянулся шов по синеватой поверхности металла, не успевшего еще поржаветь. Четкий, хорошо обозначенный, с нужной высотой наплавленного сверху валика.

— Подрезов нет?— спросил Теплов, нагибаясь и всматриваясь в места соприкосновения шва и основного металла.—

А, черт!— он дернул рукой и потряс ею в воздухе. Бригадир рассмеялся: он и сам вчера, забывшись, прикоснулся голой рукой к заиндевевшему от мороза железу.

— Чего смеешься?

— Да так...

— Кровлю всю заварили?

— Всю.

— Не врешь?

— А зачем мне врать? Можно ведь и проверить.

Теплов подошел к стремянке, решительно взялся за пруток, но как будто раздумал подниматься, приостановился.

«Да он робеет»,— догадался бригадир, мигом вспомнив, что и раньше-то Теплов не особенно рисковал собою, еще с лета, когда и скользко не было и металл не покрывался коркою льда, а солнце вообще не заходило, не то что теперь — постоянные сумерки.

— Ладно,— примирительно сказал Теплов.— Ты не обманешь, я знаю.— И, догадываясь, что бригадир заметил его колебание, добавил искренне:— Скользко лезть и темно. А я непривычен...

— Да уж, без привычки тут точно плохо,— согласился бригадир, радуясь искренности Теплова и понимая, что теперь он не станет мучить его и выискивать мелкие недоделки.

— Смотри,— строго сказал Теплов.— Перед испытанием все проверю.

— Ну а как же?— подхватил бригадир.— Кто ж его испытывает, не проверив.

Теплов засмеялся:

— Хитрый ты!

— Да уж куда хитрее!

Посмеиваясь и перебрасываясь короткими фразами, они возвратились в контору.

— А ведь испугался начальник-то лезть по стремянке наверх!— с торжеством произнес молодой Федоров, глядя им вслед.

— Да нет,— равнодушно возразил Сергеев.— Зачем ему лезть было?

— И то верно,— согласился Федоров.— Нужды нет. Значит, работу принял? Можно и собираться?

— Можно. Отчего же нельзя?

Они встали и принялись прибирать инструмент — шланги, резаки, сварочный кабель. Костер догорал, уже не взметывались над ним высокие красные языки пламени, не освещали странным колеблющимся светом лица, предметы, снег за спиною. Подступали из тьмы все ближе и ближе смутные очертания

резервуаров. Будто стадо слонов сгрудилось вокруг — грозное, молчаливое.

— Все, ребята! Собирайся! Домой пора!

Вечером, часам к десяти, за ними приехала «летучка» — с утепленным металлическим кузовом, с сиденьями по бокам и электрической печкой — все, как полагается. Сварщика Сергеева посадили рядом с шофером: он промерз, и его слегка знобило. Остальные полезли в кузов.

Как легка дорога домой! Как быстра она и приятна! Заветный акт лежит в кармане у бригадира, и он в эти минуты счастлив. «А что?— думал он, воодушевляясь.— База сделана, десять резервуаров... Махины какие! С обвязкой, с установкой оборудования — по первому классу! И всего шесть человек работало. Не двадцать и не тридцать, как всегда, шесть. Вот что такое артель! Молодец начальник, что дал нам подряд. Здесь, на Севере, иначе нельзя — ни техники, ни людей...»

Монтажники шумели, переговаривались. Настроение у всех было праздничным. И то сказать, не шутка, такую работу сделали в срок, заработали столько. Будто с ярмарки возвращаются, только бубликов нет и платков кашемировых. Ну да завтра они купят подарки. Федоров невесте — кольцо с аметистом. Ластовенко пацану — импортную коляску. А жене — шубу! Заработала — сына ему подарила! Наследника!..

Машина катила без помех: дорога ровная, зимняя, накатанная. Прозрачная темень виднелась в окошке, прорезанном над кабиной. Ровно гудел мотор.

— А скажи, Петрович,— спросил у бригадира Федоров, продолжая начатый в общежитии разговор,— страшно тебе в море было?

Бригадир, прошлым летом ходивший в Атлантику за сельдью — просто так, чтобы мир посмотреть и деньжат зашибить,— ответил охотно:

— Да как сказать. Боялся, что спишут. Веришь, когда вышли в океан впервые, ни есть, ни пить не мог. Все назад выходило. В самолете летишь — есть ямы. Попадал в них? А представь такие же ямы, только в десятки раз больше. Попадешь в них, все внутри отзывается.

Он сморщился и помотал головой с отвращением: беда как плохо было.

— А потом привык я, заправский матрос, да и только. В шторм попали — двенадцать баллов. Вылезли с другом наверх в рубку, посмотреть. Интересно нам! Азарт! Волна идет метров тридцать высотой, нависает над нами, как гребень, а воду под нее усасывает. И наш кораблик тоже. Ну, думаешь, все, накроет, не выскочим!

— В океане так,— поддакнул Абсалямов, желающий участвовать в разговоре.

— Стой, не мешай!— воскликнул бригадир, увлеченный своим воспоминанием.— Девятый вал, значит, идет — так он называется, даже если там и не девятый, а, скажем, пятнадцатый. Накрывает нас, бьет, ночь наступает темная, все кругом — вода. Нет нашему кораблику выхода. Затопило его, придавило, на дно тянет. Амба! И вдруг, смотришь, выскочили. Вылетели на божий свет, проскочили девятый вал. А там следующий идет, еще страшнее. «Держись, Сашка!» — другу кричу. «Держусь»,— отвечает. Глаза горят, хохочет. Матрос настоящий. А до этого моря в жизни не видел.

— Да-а,— протянул восхищенно Федоров.— Красота!

— Что ты!— воскликнул бригадир.— Стихия! А после шторма тихо так, ласково, вода изумрудная. В Стамбуле особенно было красиво. Вот город! Дворцы, минареты, дома богатейшие. По набережной стулья расставлены плетеные. Садись, отдыхай... В море — яхты. Тысячи яхт. Музыка, смех, песни. Выходной у людей, празднуют... Рыбу мы стали ловить для себя, на ужин, а она вся разноцветная. Вот как в аквариуме, только размером побольше.

— В Стамбуле оно так,— вздохнул Абсалямов.

— Да ты хоть был там?— вскричал бригадир.

— Нет, не был,— сокрушенно сказал Абсалямов.— Я, брат, нигде не был, кроме как в Башкирии.

Все рассмеялись громко.

— Знаешь, у нас как в Башкирии?— сказал Абсалямов.— Речка течет Белая, березы над речкой стоят. Хорошо!..

Все опять рассмеялись. Весело было им ехать.

Сергеев ехал молча. Он вообще очень редко вступал в разговор, такой у него был характер. А тут и вовсе был замкнут. Шофер, наскучавшийся за баранкой по дороге в поселок, попробовал было заговорить с ним, но Сергеев отвечал так скупо и так неохотно, что шофер принял это за пренебрежение и, обидевшись, замолчал надолго. Сергееву после этого стало и вовсе хорошо — никто не сбивал его с мысли и не мешал посматривать в стекло кабины с тем особенным настроением, какое у него возникло после событий дня.

Тусклая зимняя ночь чем-то отличалась от подобных ночей. В небе, он видел, как будто мела поземка, струились серебристые снеги. Затем вдруг мощные прожекторные коридоры света зажглись над землей и уставились в горизонт, медленно-медленно перемещаясь. Пропали внезапно, потускнели, рассыпались, вновь разгорелись. «Откуда такие прожекторы?— недоумевал он.— Зачем они там?» И вдруг понял обрадованно: «Сияние».

— Стой!— закричал он шоферу.

Тот с недоумением взглянул на него, притормаживая.

— Стой, говорю!— вновь крикнул ему Сергеев и, едва дождавшись, когда машина замедлит ход и остановится, выпрыгнул из кабины, забарабанил по кузову.

— Ребята, сияние! Вылезайте, ребята!

Они не поняли сразу, в чем дело, а когда вылезли из «летучки» и подняли головы, то застыли, пораженные тем, что происходило в небе.

Прямо над их головами, над машиной, над близкой тайгой, висел, как огромнейший айсберг, невиданный белый сверкающий куб. Хрустальные его грани позванивали, чуть трепеща, а в центре, немыслимо как глубоко, высоко, отдаленно светилось чистое, вовсе неземное пламя.

— Вот диво-то!— выдохнул кто-то и вновь замолчал, завороженный зрелищем.

— Ладно, поехали!— недовольно заметил шофер.

— Что ж, поехали...

Белое пламя светилось чистым, мерцающим светом, отдалялось, вновь приближалось, освещало их лица трепетно... Постояв еще миг и еще раз взглянув на сияние и запомнив его, они вновь забрались в машину.

— Поехали!

Плавно тронула с места машина, разогналась, набрала скорость. Полетела тайга по сторонам дороги, в тайге — тени деревьев, от сияния почти невидимые, лишь ощущаются незримо, так слабы они на белом снегу, так легки.

Закружил железный ящик по сопкам, загремел на ухабах. Подбрасывает монтажников на жестких сиденьях, мотает из стороны в сторону. Но хорошо им сидеть в теплом кузове, ехать домой...

Вновь интересный пошел разговор.

— А правда, что Сергеев «Волгу» пропил?

— Да нет,— в голосе бригадира послышалась досада.— Вовсе и не пил он тогда. Просто гулянку устроил по случаю возвращения.

— Пир был!— восторженно произнес Абсалямов.— Целых три дня в ресторане одни монтажники гуляли. Никого других не пускали. На всю жизнь запомню! Денег пять тысяч заплачено было!

— Не пять, а две,— вмешался в разговор скептически настроенный Чеплаков — тот, у которого гуляла жена.— Две тысячи рублей, как одна копейка. И то ребята потом их собрали и Сергееву отнесли. Так что и не пропил он их, коли взял.

— А ты попробуй не возьми, если Павлюков тебе их при-

нес,— возразил бригадир.— Павлюкова знаешь? Упрется, хоть кол на голове теши. «Я за справедливость!» Так что взял Сергеев деньги, как не взять. Но не себе их оставил.

— А кому?

— А ты помнишь Белова?

— Ну, помню.

— Вот ему он их и отдал. Туберкулез у Белова начинался, лечиться нужно было. А денег не хватало, семья — четыре человека. Сергеев ему деньги и отдал.

— Чушь какая-то,— передернул плечами Чеплаков.— Зачем тогда было деньги пропивать? Отдал бы их сразу, и все. Результат один и тот же.

— Так ведь жизнь это, а не арифметика.

— Какой пир был!— восхищенно цокнул языком Абсалямов.— Век буду жить, такого не увижу. Праздник был, ей-богу! Человек с того света вернулся!..

Между тем Сергеев, о котором только что неведомо для него говорил бригадир с Чеплаковым, давно уж согрелся и испытывал теперь блаженное состояние покоя. Давно не испытывал он такого охватывающего все его существо чувства. Он понял вдруг, что вновь ничего не боится, и это был не восторг, не внезапный прилив отваги, способный проходить так же быстро, как и возникать. Спокойная уверенность наполняла его, вытесняя то тяжкое чувство зависимости от внешнего мира, которое так терзало его все эти годы. Он будто родился заново. И как-то иначе представилось ему прошедшее, сделанным, все проясняющим чувством уверенности связывалась как-то и память о ней — о предавшей его возлюбленной, без которой так осиротел его мир тогда и жизнь на мгновение вдруг потеряла устойчивость. Отходила эта память в небытие, отрывалась от него навечно. И ему почему-то, впервые за это время, сделалось жаль ее — ту, что его предала. Отстраненно, печально жаль. Чисто по-человечески. Вспомнилось, как она приходила к нему после его возвращения из больницы, как он ее не простил. Да что там не простил! Обида и гнев охватили его. Разве мог он ее простить?

Случилось это на той самой гулянке, о которой говорили бригадир с Чеплаковым. В те самые дни...

Как много он думал в больнице о миге своего возвращения на участок. Как ярко представлял себе этот день и встречу с людьми, дороже которых у него не было. Он жил там когда-то, работал. Там были его друзья. И вся будущая его жизнь была там, на монтаже, среди верных и простых людей...

И надо же было случиться такому, что первым из всех, кого он мог повстречать в день приезда, оказался «полотер» Кудрявцев.

Радость возвращения так преобразила все вокруг, что даже Кудрявцеву он обрадовался.

— Здравствуй, Саша!— сказал он прерывающимся от волнения голосом.— Рад тебя видеть!

Кудрявцев с недоверием посмотрел на него, но, не увидев подвоха, а лишь радость и непосредственность, улыбнулся.

— Здорово, здорово! А мы тебя совсем было похоронили.

Тень набежала на лицо Сергеева.

— Жив я, как видишь.

— Вижу, вижу,— ответил Кудрявцев.— Счастливый. «Волгу» теперь купишь.

— Какую «Волгу»? При чем здесь «Волга»?

— Не притворяйся, какую,— засмеялся Кудрявцев понимающе.— Самую настоящую. Денег-то небось набежало! Пять тысяч, сказывают. Вот ведь как повезло! Счастливый! И жив-здоров, и «Волга» в кармане.

Лицо его засветилось такой неподдельной завистью, что Сергеев только рукой махнул. Забыл, что ли, Кудрявцев?.. «Полотер», он и есть «полотер».

Но чем-то задела его эта встреча, что-то такое застряло — никак не мог освободиться. Будто тянулось его несчастье за ним и даже таким вот образом, в таком искаженном чьей-то глупостью виде, возвращалось к нему.

Тут еще накладка получилась: придя в общежитие, он не застал самых близких своих друзей — разбежались кто куда: тот на свидание, тот по делам... Не знали, что он приедет.

Встретился кое-кто, но из отдаленно, чисто внешне знакомых. Так... узнали... не обрадовались очень уж сильно... и не опечалились, конечно. Два-три вопроса, улыбки. Две-три дежурные фразы. Будто ничего и не случилось.

Он оставил чемодан в общежитии и вышел на улицу. День был зимний, чистый, свежий. Солнечный день был, праздничный. А ему вдруг сделалось плохо. Не посчастливилось ему с возвращением. Думал нагрянуть внезапно, а тут никого... И ее, конечно, не было, просто не могло быть рядом. Тут еще этот Кудрявцев. «Счастливый...» Вся его боль, все мучения ударили ему в голову от этого слова, всколыхнули душу. Он вдруг подумал, что и друзья могут ему не обрадоваться так, как он воображал. Просто сделают вид, и только. И снова он будет один, как и раньше, на всем белом свете.

«Устрою праздник!— подумал он неожиданно и обрадовался.— Отмечу этот день, неделю!.. Нельзя, чтобы он от других не отличался!»

С какой-то лихорадочной поспешностью, боясь упустить хоть минуту, он бросился в общежитие разыскивать нужных ему ре-

бят, лица которых тут же всплыли у него в памяти. «Эти сделают все, как надо». И успокаивался по дороге все больше и больше, как всегда, если вдруг находило решение, снимавшее с души тяжесть.

Закупили ресторан — тот самый, где хотели они когда-то сыграть с нею свадьбу. Оповестили ребят участка: пусть все приходят, Сергеев вернулся, он хочет видеть друзей, он просит их прийти с женами, с невестами, с друзьями, со случайными знакомыми — всех без исключения, до единого всех. Иначе обидится насмерть. Пусть приходят на часик-другой... по желанию. Посыпались гости, разговоры пошли, расспросы, рассказы... Тосты, конечно, шум, музыка, оркестрик самодеятельный. Кто-то платить пытался. Сергеев не дал, не позволил. Кто-то зашумел, охмелев с первой рюмки, ребята его успокоили. Как-то модно все начиналось, с дальним прицелом, с длинной дистанцией. Несуетно, неспешно, не на бегу. Молодые и старые, опытные мастера и начинающие салажата, зеленые, необстрелянные,— все вдруг почувствовали себя свободно, раскованно, выбились из колеи ежедневных забот, расслабились. Им и повода-то не очень нужно было искать в другой раз, с пол-оборота иногда заводились — душу распахнуть, ощутить свое братство... А тут случай такой! Вот он, Серега, живой сидит. С ними со всеми, на равных. Сказочно повезло парню! В кои веки случается так. Вот она, судьба монтажника! «Шампанского! Я плачу!» — «Нет, Серега, позволь! Я ведь такой же, как ты, мы с тобой братья!.. Я, как тебя увидел, веришь, плакать мне захотелось. Я ведь и сам, видишь? — под Наро-Фоминском... Мальчишкой еще был тогда, сосунком... А это уже на монтаже, видишь, вмятина?» — «Здорово, Сережа! Рад тебя видеть на этом свете! Штрафную? А мы с удовольствием! Пей тут, там не дадут. Счастья тебе, Сергей!»

Веселье разгоралось, набирало стихийную силу, выходило из рамок обычной гулянки... Праздник охватил участок. Нечаянный праздник, внезапный, так любимый в народе. Что-то большее было, чем простое застолье. А что, не сказал бы никто. Какой-то гимн товариществу был, общности и причастности к настоящему делу. Радостно было, возвышенно-хорошо. Как будто никто с ним и не прощался навеки, и не разделяли их долгие месяцы, и не уезжали они от него в своих поездах срочных дел и важных событий, а были рядом все время. Как будто домой он вернулся и в этих родных ему стенах забыл все тяжелое и гнетущее душу.

Вот тут и позвали Сергеева и сказали ему, что она ждет внизу, в вестибюле ресторана. Праздник для него вдруг сделался черным, померкло все. Налившись внезапной болезненно-темной тяжестью, он едва смог сказать, чтобы ей передали: пусть ухо-

дит. Передали. Возвратились назад. Отозвали в сторону. Сказали, что ничего она не просит, только плачет там горько и все повторяет, чтобы он ее простил. Не вернулся, нет... не полюбил бы ее снова, подлую... пусть простит, ничего не надо. «Вот что,— сказал он угрюмо.— Оставьте меня в покое. Поняли?» — «Поняли,— ответили ребята.— Чего ж тут непонятного?» И отошли в сторону. Застолье продолжалось.

В получку монтажники собрали по тридцать рублей и принесли эти деньги Сергееву. Сумма получилась изрядная, что-то около двух с половиной тысяч.

Сергеев подумал немного и деньги взял. Ему показалось неудобным препираться с ребятами, которые конечно же стояли бы на своем.

Как раз в это время заболел Белов и нужно ему было ехать на море, в Крым, надолго, чтобы поправить здоровье. Вот к нему и пошел Сергеев и уговорил его взять деньги. Ну хотя бы в долг на неопределенный срок. Скажем, лет на десять — пятнадцать. Белов сначала стал отказываться, но много ли нужно силы убеждения, чтобы уговорить человека принять в дар то, чего ему недостает для самого главного — для жизни. Уехал Белов в Крым, в город Судак. Перед отъездом, прощаясь, плакал.

А вскоре и она уехала, о чем передали Сергееву тут же. Взял он командировку и поехал с ребятами на Север, на отдаленный монтажный участок, чтобы забыть обо всем.

И все это припомнилось ему сейчас, но впервые без боли припомнилось, без чувства обмана и обиды, а так, будто это случилось с другим человеком, очень ему знакомым и дорогим, или как эпизоды безвозвратно минувшего детства. «Кто же знал, что все так получится?» — с грустью думал он и припомнил, что и сам он тогда в больнице решил запретить ей к нему приходить — пусть живет, пусть поплачет и будет без него счастлива там, в прекрасном здоровом мире. Твердо решил, бесповоротно. Разве только хотелось услышать, что приходила она. Так хотелось это услышать!

Горит, горит над их головами белый хрусталь сияния. Все сильней разгорается, пылает неистово, чистым, холодным пламенем. Нависает, тревожит... Для чего это чудо, зачем? Машина под ним — атом, пылинка, мчащаяся без цели. Лучше и не смотреть на него.

А, впрочем, пусть светит.

— Скажи, Петрович,— вновь спросил у бригадира Федоров,— а приходилось тебе падать, как Сергееву?

— Так не приходилось,— ответил бригадир, покачав голо-

вой отрицательно.— Но пережить пришлось. Поседел даже от этого. Вот, осталось с тех пор...— Он прикоснулся ладонью к виску.

— Да-а,— протянул Абсалямов.— Сильно, видать, ты жить хотел, если смерти так испугался.

— А то!— усмехнулся бригадир.— Еще бы не хотеть. Тридцать лет мне было. Жизнь только начиналась!

— А Теплов-то,— вдруг с торжеством сказал Федоров,— побоялся сегодня наверх лезть. Не захотел, страшно стало!

Бригадир сердито нахмурился.

— У него свои дела. Мы их не знаем.

— Эт-то точно! Мы их не знаем.

Машина въехала на гору, и с нее открылся внезапный вид на огни города, подковой опоясывающие залив, смутные силуэты сопок за городом и справа — на плотину электростанции.

— Приехали!— радостно закричал Федоров, выглядывая в переднее оконце.— Дома, ребята! Там, где нас ждут.

— Кого ждут, а кого и нет,— тихо произнес Чеплаков, с тоской вглядываясь в вечернюю зимнюю темень.

Федоров его не слышал. Еще полчаса, и его ненаглядная выскочит из дому, поправляя на ходу полушалок, и, звонко и счастливо смеясь, обнимая его, целуя в небритую щеку, ласково скажет: «Радость моя приехала!» Дома они! Ура!

Все оживились. Ради этого мига встречи пластались они на морозе, совсем не щадили себя. Ради этого и ничего другого. Вот он, временный их дом. Там, в Москве,— настоящий. Здесь — монтажный.

— В Москву махну!— вдруг неожиданно для самого себя сказал Федоров.— А что? Деньги есть. Пусть Анюта Москву посмотрит.

«Точно, Москва,— метнулось у Абсалямова.— Отца туда везти нужно, в спецполиклинику. Вот она, мысль...»

О Москве подумал и бригадир. Слетать, что ли, туда на недельку: к внукам. Счастье его — внуки. Когда-то все дочку хотел. Сыновья подросли, он их почти и не видел — школа, походы, улица. А дочка была бы в радость. Но появились внуки, и только тогда и узнал он настоящее счастье. Наверное, нет большего счастья, чем когда рождаются внуки. Как будто ты сам рождаешься заново. Ведь ты уже даже не в детей переходишь, а дальше еще, в глубь времен...

«Поеду в Судак, к Белову»,— думает Сергеев, и грезится ему почему-то старшая дочь Белова — нежная, милая, податливая. Сергеев отгоняет видение, но она стоит перед глазами; детские припухлые губы, тихие мерцающие глаза. Над прямым пробором вьется нимб тонких, еле видимых волос, нос чуть вздер-

нут, стройная фигура напряжена. «Это она оттого, что я смотрел на нее, напрягалась»,— сообразил Сергеев и радостно улыбнулся.

Вот и город. Свет фонарей, темные фигуры прохожих. Приехали! Монтажники собирают нехитрые свои пожитки и выбираются из машины. Мороз все так же резок, и снег блестит под электрическим светом. Дымится воздух, замерзают ресницы, и давит в груди от холода. Задерживая дыхание, они бегут по визжащему снегу, переливающемуся тысячью искр, смеются, перекликаются, договариваются о празднике, торопятся к себе.

Полночь. Последний день старого года. Хрустальный куб над их головами распался, рассыпался, будто его и не было, и играли теперь над тайгою привычные гармоники полярных сияний.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 2528.
Сдано в набор 17.05.82. Подписано к печати 14.07.82. А02075. Формат 84×108/32. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 15,96. Усл. краск.-отт. 15,96. Уч.-изд. л. 19,22. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1178. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25



Составитель Юрий Федорович Галкин

Редактор *Л. Егоршилов*
Художник *Ю. Боярский*
Художественный редактор *Н. Егоров*
Технический редактор *Л. Дунаева*
Корректоры *Т. Стельмах, Г. Панова*